

Владимир Гусаров

Мой папа
убил
Михоэлса

Владимир Гусаров · Мой папа убил Михоэлса





Владимир Гусаров

**Мой папа
убил
Михоэлса**

ПОСЕВ

© Possev-Verlag, V. Gorachek KG., 1978
Frankfurt am Main
Printed in Fed. Republik of Germany

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПРОЛОГ

В одиннадцать часов вечера — звонок. Пришел участковый Иван Чернявский: «Откройте, у вас живет человек без прописки»... Пытаюсь отговориться через дверь, потом открываю, участковый входит с дружинником. За столом сидят два приятеля и жена, в соседней комнате спит бабка. У всех, кроме меня и девяностолетней бабушки, требуют документы.

— У вас человек живет без прописки.

— Это моя жена. Вот заявление в загс, через три дня регистрация. Вам остается извиниться, поздравить нас с законным браком и удалиться.

— Нет, пойдете в отделение, у нее нет московской прописки.

— Значит, ей на вокзале нужно дожидаться торжественной минуты?

— Пусть дожидается в Киеве, по месту прописки...

После долгих препирательств мне выписывается повестка явиться завтра с объяснениями. В отделении — то же самое: Чернявский сует какие-то параграфы, требует письменного объяснения, затем долго беседует с женой. Жду час, два.

Входят два санитаря, выворачивают карманы, зверски затягивают руки за спиной, с ожесточением заталкивают в психовоз с красным крестом, хотя я не сопротивляюсь ни словом, ни движением.

Пьяный татарин, загадочная девица, какая-то бабуся с надменным птичьим ликом, выкрикивающая несуразности, — ни у кого руки не связаны, только у меня.

Еле держащийся на ногах татарин сует мне в рот папироску, зажигает, я прошу его ослабить веревку — очень больно рукам, — но санитар не разрешает.

Девица полна нежности ко мне: называет меня сыном, обнажает грудь и придвигается ко мне, снимает с себя крестик и вешает мне на шею, хотя связанный сынок годится ей в отцы, затем срывает с себя трусики и швыряет в санитаря. В конце концов и ей связывают руки, она кричит, матерится.

Помещают в 6-е отделение больницы Кашенко, дают какие-то пилюли и проверяют рот. На обходах спрашивают о здоровье, и я не выдерживаю:

— Почему вы спрашиваете о здоровье? От кого вы слышали, что я болен? От участкового? Родители и соседи не жалуются на мое здоровье! Как вам не стыдно! Вы же гиппократову клятву давали!

Мне начинают колоть что-то страшное. От уколов сохнет во рту, дышать нечем, все время хочется пить и спать. Не могу выйти на свида-

ние — через две минуты прощаюсь. Жена плачет, мечется, но меня продолжают колотить, чтобы я учтиво отвечал на вопросы врача Владимира Михайловича.

Кончатся юбилейные торжества, посвященные 50-летию Октября, кончатся и уколы. К декабрю меня выписывают.

На станции метро «Сокол» марширует с детским ружьишком тридцатилетний дурачок Миша — высоко поднимая ноги и громко командуя. Я говорю жене:

— Я в больнице, а Миша здесь... Я занимаю его место...

О ГОМЕРЕ

Кроме дарования, Гомер превосходил меня тем, что «спорили пять городов о рождении славном Гомера». Отвечая на вопрос о месте моего рождения, могу назвать лишь три города — Царицын, Сталинград и Волгоград. Родился 15 сентября 1925 года. С пяти лет живу в Москве, в поселке Сокол, на улице Чайковского, теперь Саврасова, дом 6, квартира 3, в почти отдельной квартире с садиком и некрашеной калиткой. Гусаров Владимир Николаевич. Русский, беспартийный, даже военнообязанный. На всякий случай пишу в анкетах, что награжден двумя медалями, хотя они давно затерялись. Одну получил за доблестный труд в Молотове (Перми), вторую за сокрушение фашистской Германии. Далее Го-

мера я в своем рассказе касаться не буду, лишь мимоходом упомяну Лопе де Вегу и Сергея Михалкова — дабы не угнетать читателя слишком большой ученостью.

Буду доволен любым гонораром.

ОБ ОТЦЕ

Хотя мой отец и является кавалером трех или четырех орденов Ленина (и обладателем других подобных сувениров), известен он лишь в правящих кругах: широкая публика больше знакома с Геннадием Гусаровым, футболистом из «Динамо» (а может, «ЦСКА», не уверен). Отец был «хозяином» Пермской области — с момента ее основания и до конца войны, — а затем инспектором ЦК или, как он любил называть свою должность, «личным представителем Сталина», а с 47-го года по 50-й — первым секретарем ЦК КП Белоруссии (больше помнят его предшественника Пономаренко и пришедшего после него Патоличева).

Именно в годы правления моего отца в Минске был убит Михоэлс. Подробности этого убийства мне неизвестны. Вполне возможно, что его убил не папа, а министр МГБ Цанава, племянник Берия, а может, и еще кто, но дело не меняется от этого. Сам я в Белоруссии никогда не бывал, мы уже не жили с отцом, но и я причастен.

До суда я не доживу, хотя мог бы представить приличное алиби: с 52-го года меня таскают по тюрьмам и сумасшедшим домам...

Мой отец ничем не хуже и не лучше тех, кто сейчас помахивает ручкой с мавзолея, или составляет «среднее звено», или уже разводит розы и пишет мемуары, или сам попал под колеса победоносного локомотива истории.

Когда я пишу об отце, я пишу о выдвигенцах 37-38 годов. Предшественники обладали иным запасом прочности, хотя их гибель и была жалкой.

ДО СЕМНАДЦАТОГО ГОДА

Кажется, до сих пор отец пишет в анкетах: «До революции — батрак». Правда, он, как и многие другие, забывает, сколько лет ему было до революции. Гимназий они, конечно, не кончали, а бездельничать родители не позволяли — отсюда горькая батрачья доля.

Я спрашивал у бабушки, какая нужда заставляла отца батрачить, но бабка, до сих пор не освоившая классовый борьбы законов, всякий раз с недоумением отвечала:

— Что ж ему было — по улицам гойкать?

Мальчиком папа умел и напоить лошадь, и запрячь, и гусей пас, и, не будучи осведомлен в вопросах угнетения трудящихся, часто сам вызывался что-то сделать. Вначале жил у кума на харчах, стал постарше — и пахал, и боронил, и в

кузнице работал, и хоть порой тяжело было, но — во все времена подростки хотят быть как взрослые, а других взрослых, кроме крестьян и ремесленников, видеть ему не приходилось. Пионерских лагерей тогда не было — что верно, то верно. Иногда трудился за одни харчи, иногда пудик муки получит... бабка — бедная вдова, отца своего папа и не видел, дома своего не имели, однако, схоронив мужа, бабка на восемь месяцев отправилась паломницей в Палестину, оставив ребенка на деда — гробовщика и горького пьяницу.

По отцовской линии все у нас в роду были неграмотны, а бабка, «хохлушка», урожденная Осьмак, кончила три класса приходской школы. В этой же школе она работала уборщицей, а когда брат-учитель запивал, то и учительницей. Свекру она красила гробы, снимала мерку с покойников, даже в рифму эпитафии писала, но, главное, шила.

Отца ждало ремесло столяра, или жестянщика, или того же гробовщика, в самом лучшем случае он мог стать сельским учителем, как дядя Георгий Петрович, по совместительству старшина малороссийской любительской труппы. В австрийском плену дядя учил пению детей офицера.

И у отца был приятный голос, пел он — вначале в церковном хоре на левом клиросе, затем в Красной армии, в кавалерии, где был запевалой.

Жизнь почему-то складывается не так, как в сказке сказывается. В «Любови Яровой» у Тренева Швандя объясняет старушке: «Если хороший хозяин — ищи у белых, а голодранец — у красных». У моей мамы было два брата: бедный Григорий и богатый Василий Алексеевич Тюняев, агент швейной компании Зингера. Старший, богатый, в германскую войну был фельдфебелем, а в гражданскую командовал полком II Красной армии, был смертельно ранен и скончался на руках ординарца. Младший же, вечно нищий, затюканный Григорий, подался к Деникину, правда, потом тоже перешел к красным. Когда выводят исторические законы, с фактами не считаются. В 30-м году дядю Гришу исключили из партии, хотя он и до того не скрывал, что наслушался на митингах и надел погоны Родину-мать спасать, потом о мамане стал тосковать и сбежал. Он жив и теперь — бывший рабочий, а ныне пенсионер и народный заседатель.

Кроме братьев, были у мамы и сестры, старшие, Таня и Зина. Таня — белошвейка, грамотная, книги читала, а это до добра не доводит. Когда проклинали в церквях «болярина Льва Толстого», Таня, стоя среди народа во время службы, крикнула: «Да здравствует граф Толстой!» Стала интересоваться полиция, Таня отравилась нашатырным спиртом и умерла.

Моя мама в детстве усердно молилась и постилась до обмороков. После революции перестро-

лась и повелела иконы в доме убрать, а сама с головой ушла в комсомольскую и пионерскую работу. В дальнейшем кончила три института и раз десять законспектировала «Краткий курс», добросовестно перечитывая каждый раз с начала и до конца. Любовь Фоминична Жаворонкова, жена министра, за полгода до маминой смерти принесла ей почитать «Секретаря обкома» Кочетова, я же, запямятовав, чья книга, отдал ее отцу (он был незадолго перед тем секретарем Тульского обкома), потом спрашивал его, говорит, прочел, понравилось, а по глазам вижу — не читал.

Сохранилась мамина фотография в шинели и папаче, я же застал ее уже за письменным столом, даже красную косынку помню смутно. Она была зав. районо, директором школы, даже секретарем райкома — то ли по кадрам, то ли по пропаганде, я их всегда плохо отличаю, как и партийную работу от советской.

В Сталинграде мы были соседями Поскребышева. Помню маму в каракулевой шубе, хотя она ее носила неохотно, сохраняя аскетизм 20-х годов. Отец же всегда шел в ногу с веком.

ДЕТСТВО

Рассказывают, что в грудном возрасте орал непрерывно, заговорил поздно и очень невнятно, чертя при этом в воздухе пальцем, был неусидчив, переминался с ноги на ногу, будто по-

стоянно хотел опи́саться, что часто случалось во сне, чуть ли не до седьмого класса. Взгляд бегущий, застенчив, напорист.

Родители хотели дать мне имя Будимир, еще Спартак, помирились на вожде мирового пролетариата. Впервые помню себя во Владикавказе, помню песню про подруженьку и девицу, гулящую. Няня как-то повела меня во Дворец культуры, там в фойе под пальмами спали нарядные дяди, очень грузные и серьезные, они вернулись с хлебозаготовок и теперь отдыхали в цветах, под музыку...

Внизу под нами жил владелец магазина шляп, магазин был с витриной, а у хозяйского сына был велосипед.

Жил я во Владикавказе у тети Зины, маминой сестры, которая жива и теперь. Под влияние «Апрельских тезисов» она никогда не попадала, но и в церковь не ходила, предпочитая танцы и гулянья, за что была много бита покойной бабушкой Машей.

Первый муж Зины был нэпман, но умер, оставив после себя лишь моторную лодку и ружье. Его сын, Слава, номенклатурный работник, оставит гораздо больше, хоть и платил алименты в два места. Во Владикавказе у тети Зины был другой муж, осетин, дядя Юра Цагалов, с устрашающей бородой. Он лупил нас со Славкой «как сидоровых коз». Иногда он менял методу, ложился на кушетку и умирал со словами: «Не слушаетесь, тогда умру». Весь дом слышал наши душераздирающие вопли, особенно Славкины:

«Дядя Юра, не умирай!» При этом мы отчаянно тормозили хитрого кавказца, чтобы оживить.

Цагалов убил свою первую жену — вместе с любовником — в своем служебном кабинете, но его не посадили, а лишили партбилета и должности, принимая во внимание национальный темперамент и то, что жена использовала служебное помещение и письменный стол не по назначению.

А отвезли меня во Владикавказ (в то время, когда дяди-Юриной женой была уже моя тетка), надеясь путем перемены климата спасти мне жизнь. В поезде маму чуть не высадили из вагона, думали, что она везет мертвого ребенка.

«Птичка ты моя, кошечка моя, собачка моя», — причитала тетя Зина, лаская меня, и, говорят, я ей ответил: «Лосадка ты моя»...

К осени 30-го года мы с мамой переехали в Москву, на Сокол, где я и пишу свои мемориалы в ожидании благих перемен.

С вокзала мы долго ехали в трамваях, я смотрел в окно и поминутно спрашивал: «Это чей дом?» — «Наш», — отвечал отец, и я не уставал удивляться, что мы едем от нашего дома куда-то прочь.

Вскоре к нам переехали и тетя Зина со Славкой. Дядя Юра дал ей пощечину за нецензурное выражение, она обиделась и уехала, а дядя Юра взял да и умер по-настоящему, и на этот раз я не ревел, редела тетя Зина, уже собиравшаяся вернуться к «этому феодалу». Влияние кузена сказало в том, что он научил меня шахматным ходам и мальчишескому греху, с которым он по-

знакомил меня с большим рвением. Когда тетя Зина переехала на Арбат, выйдя замуж за доктора Ротшильда, я не без тоски расставался со старшим братом, хотя он и колотил меня ужасно. Сейчас это деятель с отдельным кабинетом и правом вызывать машину — бог! Лет восемь назад он опять сильно избил меня — он бывший боксер, бросил бокс после ранения — я по пьянке обозвал его сталинским опричником.

В Москве отцу предложили квартиру из трех комнат, но от одной, маленькой, теневой, он отказался, мать потом всю жизнь мучалась от соседства Серафимы Ивановны Халяминой, сотрудницы НКВД (намек здесь нет, просто две женщины в одной квартире часто не ладят, а мать еще и ревновала Симу к отцу неизвестно отчего). Сейчас Халямина на пенсии, много лет провела за границей, «построилась» и живет в отдельной квартире на Красной Пресне.

ИДЕОЛОГИЯ

Многие дети в раннем возрасте очень впечатлительны, но моим «букой» сделался жандарм, в воске запечатленный в музее Революции, куда отец исправно таскал меня — на свою голову. Едва начав говорить, вместе со стихами о Шарике, я произносил наизусть такие вирши:

Ганди с фабрикантами
Кается-братается,
И творит Британия

Свой кровавый суд,
Но пока по жилам
Кровь переливается,
Баррикады Индии
Знамя не сдадут!

Детства с Фенимором Купером, Жюлем Верном, Вальтером Скоттом почти не было, и это уже невосполнимо, зато о Парижской коммуне я прочел почти всё, вплоть до Скворцова-Степанова, рисовал тоже, в основном, Парижскую коммуны. В фильме «Остров сокровищ» меня устраивали революционные поправки к Стивенсону, а уж фильм «Новый Гулливер» был целиком посвящен классовой борьбе.

В Детском театре я по многу раз с удовольствием смотрел «Негритенок и обезьяна», «Эмиль и его товарищи», и возмущало меня лишь то, что играют не мальчишки, а загримированные тетки. В кино такого не случалось. «Красные дьяволята», «Арсен», «Броненосец «Потемкин», «Чапаев», «Карл Брунер», «Болотные солдаты», «Мы из Кронштадта»; даже непонятный фильм «Три товарища» был хорош тем, что в нем пели военную «Каховку», значит, хоть в прошлом они были героями... Многовековая мировая история замечательно пригодилась для иллюстрации классовой борьбы.

Соответственно заучивались стихи Пушкина, Лермонтова, Некрасова и внушалось, что Пушкин называл Пугачева разбойником по цензурным соображениям.

В 35-м году, на клубной сцене Авиационного института меня принимали в пионеры, и не было никого на свете счастливее меня и несчастнее Карлуши Агапова — его приняли позднее. У Агаповых было четыре ребенка: Владимир, Карл, Роза и Майя, а в Свердловске у начфина обкома Поспелова рос довольно шкодливый и трусливый отпрыск по имени Интернационал (сокращенно Интер, во дворе его звали Пойнтер). Тогда бытовал анекдот: мать решила назвать дочурку трибуной, но отец вдруг запротестовал: «Не хочу, чтобы все на нее лазали»...

Я не собирался смеяться над Трибунами, Утопиями, Лагшмидтшварями, бесконечными Вилорами, Виленами, Сталиными и над другими приметами эпохи. Если получается — извините.

ПЕРВЫЙ УКЛОН

В третьем классе я неожиданно включился в активную антисоветскую деятельность. В Первой ударной школе, в Чапаевском переулке, наряду с хороводами-стенками «Бояре, а мы к вам пришли» или «А мы просо сеяли-сеяли», еще в нолевке я слышал такую дразнилку:

Ленин, Троцкий и Чапай
Ехали на лодке.
Ленин, Троцкий утонул,
Кто остался в лодке?

Если кто отвечал: Чапай, его принимались щипать — щипай! щипай! Я поинтересовался у товарища: «Кто такой Троцкий?» — «Матрос». В лодке явно не хватало матроса. Чапушка засела в голове, и спустя два года, уже в 48-й школе на улице Врубеля, на уроке рисования я решил похвастаться своей эрудицией, изобразив октябрьскую баррикаду, над которой развевались три знамени: на одном была надпись «Да здравствует Ленин!», на другом — «Да здравствует Троцкий!», на третьем здравствовал Чапай.

Отца вызвали в школу, показали рисунок и тут же разорвали — уже был убит Киров. Дома отец испуганно смотрел на меня и пытался осторожно выяснить, каким источником я пользовался для воплощения темы Октября.

Хода этому криминальному делу не дали, и я спал ночь спокойно. Как отец — не знаю. Паутина моей провокационной деятельности начинала сплетаться.

ПАПИНЫ ДРУЗЬЯ

Папа читал мне детскую книжку «Возьмем винтовки новые» еще при жизни поэта, он же сообщил мне о смерти Маяковского, еще он водил меня на каток, а всю семью на «Мятеж» Фурманова (для бабушки более подходящего спектакля не подберешь!). Кроме театра помню шахматную лекцию доктора Григорьева и сеанс Ильи Капа в МАИ, где тот учился по зову партии вме-

сте с М. Янгелем, М. Пашининым и В. Федякиным — все они часто ночевали у нас, спали прямо на полу. Папа был редактором многотиражки «Пропеллер» и одновременно (а может, несколько позднее) парторгом института. Бывал у нас и комсорг Авиационного института Гильзин, единственный из взрослых, кому удавалось обыграть меня в шахматы. Помню институтских шахматистов Голубовского и Дзагурова — Вася Смыслов еще ходил в школу. Учился с ними и Косыгин, про которого отец говорил, что он не принимает участия в общественной жизни. «Не люблю таких людей — берут от советской власти всё, не отдавая ей ничего». Не лучше, хотя в другом духе, отзывался он и о Сулове: «Подхалим!»

Большим другом семьи был Михаил Кузьмич Янгель, много лет занимавший скромное положение. Теперь они с отцом поменялись ролями. Отец не называет его больше Мишей, ныне Янгель кандидат в ЦК, член-корреспондент Академии, засекреченный ракетчик. Сын его не столь засекречен и выступает в телеиграх КВН капитаном команды Днепропетровска. (На испытании ракеты Янгеля погиб, по собственной неосторожности, маршал Неделин.) Бабка, та до сих пор нет-нет да и вспомнит Янгеля:

— Пошла в ванную затереть за этим детиной, а на полу ни одной капли — будто девушка мылась.

А недавно она сказала отцу:

— Солженицын? Он больше Янгеля!

Витя Федякин умер директором авиационного завода в Горьком, Пашинин давно профессор, жил в Лондоне. Один отец теперь горюет, что не дали ему доучиться — видно, не очень-то уверенно он себя чувствует, а двоих детей еще надо до ума доводить.

Учились парттысячники не по-школярски — по пятам ходили за профессорами, и дров нарубят и привезут, а душу вынут: объясни! В институт отец пришел с багажом знаний приходской школы, про кислород и бином ему на курсах рассказали, но какие произведения написал Пушкин, а какие Лермонтов — так и не довелось узнать. Он хотел стать авиаконструктором, но партия решила иначе: послали его в Казахстан (в совхоз «Чалобай», потом «Черный Иртыш») начальником политотдела (опять парттысяча!); проводы отца — мое первое детское горе, маму я, видно, любил меньше.

Когда потом отец стал большим «бугром», я уже мало испытывал к нему любви и уважения, но пока он ходил в косоворотке и пел хрипловатым тенорком «Далеко, далеко степь за Волгу ушла» — очень даже любил.

ЖАЛОСТЬ

Какой-то пролетарий из барака напротив прибил топором мою собаку Джимку — укусила она его, что ли. А бабушка — которая тоже народ — удушила окровавленную собаку на высокой зеле-

ной ограде сарая. У меня был грифель и черная тетрадь, в которой я обычно рисовал и писал: «Точка, точка, запятая, минус — рожица кривая» и т. д. Я не видел гибели Джимки, но узнав о ее кончине, плакал, спрятавшись ото всех, и писал белым грифелем: «Положив свои белые лапки...» — и еще пуще заливался слезами. Так же горько я оплакивал Кирова, а прочитав последнее слово Бухарина, носил в себе какую-то смутную тяжесть (я никому об этом не рассказывал — не потому, что знал, что жалеть его не положено, а просто стыдился, да и родители были далеко, в Казахстане).

Бабушка пыталась воспитывать меня с понятием о Боге, но это было делом безнадежным — я твердо знал, что Бога нет, и если просил перед сном о Нем рассказать, так только, чтобы она подольше не тушила свет.

Я тяжело переживал московские процессы, невыносима была мысль о неизбежной гибели подсудимых — ведь они же признались, обещали исправиться!.. Я сам сколько раз давал подобные обещания, и меня прощали... А может быть, троцкистам объявят, что их помиловали, а потом незаметно выстрелят из какой-нибудь дырки в стене, когда они будут спать, чтобы им не было страшно... А может, совсем не расстреляют — спустят в подземелье и будут кормить пирожными, конфетами, апельсинами, грушами. И Сталин потихоньку будет приходить к ним, и будет советоваться с ними, и они вместе будут

пить чай со всякими вкусными вещами, смотреть кино, только чтобы никто не знал, что они живы...

В «Правде» писали:

У Гимmlера сегодня в сердце ранка,
И жалости полна фашистская охранка.

Не отдавая себе в том отчета, я попал в компанию к Гимmlеру.

Наша страна самая лучшая, самая справедливая, у нас нет буржуев, и бедных почти что нет, хоть еще и не все живут одинаково...

У хромого Володьки Неделина забрали отца, героя гражданской и недавнего участника испанской войны. Много лет спустя, при реабилитациях, семья узнала, что с обыском к ним пришли уже после того, как он был расстрелян... И я вспоминал, как Володька хвастал, что на перилах их балкона делал стойку командарм Якир. (А может, и приврал о балконе, недаром его теперь охотно печатает и «Литературка», и «Иностранка».)

С Лейпцигским процессом я познакомился, едва научившись читать, помню и папанинцев, и полет Леваневского, о котором радио внезапно перестало говорить. Джазы Утесова и Цфасмана, тайное обожание польского революционера Домбровского, модные песенки «Скажите, девушки», «Сулико» (анекдот даже был: мужчина на пляже заигрывает с грузиночкой, дело доходит до формального знакомства, она представ-

ляется: «Сулико». — «Сулико? Лежишь тут блядуешь, когда тебя вся страна ищет?!»

ВСЯ СТРАНА

Прибыв из Казахстана, отец повел меня на торжественное собрание в Большой театр, посвященное XX-летию НКВД. Он был приглашен вместе с директором Московского авиационного института Беляевым. Мы опоздали, пришлось сесть на галерке, зато концерт потом смотрели из десятого ряда. Доклад читал А. Микоян, одетый в темную кавказскую рубашку с поясом. Слов я разобрать не мог, наверно, из-за того, что говорил он с сильным акцентом. Сталина в президиуме не было, Буденный появился с большим опозданием, и заседание было прервано овациями, какая-то женщина даже что-то прокричала. Потом снова вспыхнули овации — это Сталин возник в ложе — и не прекратились, пока он не скрылся. Но, пожалуй, самые бурные приветствия достались «любимому Сталинскому наркомуну» Ежову. Ежов стоял потупившись — густая черная копна волос — и застенчиво улыбался, словно не был уверен, заслуживает ли он таких восторгов.

Потом в концерте Образцов показал «Хабанеру», «Налей бокал» и что-то еще. Пели «Метелицу» и ту же «Сулико», вторым отделением выступал сводный певческий полк комбрига Александра.

Много позднее я узнал, что Микоян на этом вечере назвал НКВД организацией, «наиболее близкой партии по духу», но тогда я этого попросту не расслышал, да и вообще доклад не шел ни в какое сравнение с «Калинкой-малинкой».

Во время концерта Сталин опять обозначился в глубине ложи (пели грузинские песни), номер пришлось прервать, зал аплодировал и кричал, пока вождь не исчез.

ВСЕХСВЯТСКОЕ И СОКОЛ

Всехсвятское теперь именуют Соколом, а там, где действительно был поселок Сокол, у развилки Ленинградского и Волоколамского шоссе, вот уже несколько лет возвышается и отделяется стеклянный небоскреб, и остановка называется Гидропроект. Если ехать из Химок или Щукино к центру, то по правую руку еще можно отыскать наш Сокол, одно из самых своеобразных мест Москвы. Вокруг него всё сжимается удавное кольцо застройки, но часть некогда большого зеленого массива с остроконечными — не то немецкими, не то голландскими домиками — стоит. Здесь кончил свои дни друг Льва Толстого Чертков, и хотя я плохо знаком с историей живописи, но, кажется, с него Репин писал Ивана Грозного. Когда его, укутанного пледом, вечерами катали в кресле по улицам поселка, я пугался его рачьих глаз — пристальных и мертвых.

К Всехсвятскому храму я вместе с другими сорванцами бегал бить стекла. Храм старинный, в нем захоронены все Багратионы, кроме Петра Ивановича, останки которого перенесены на Бородинское поле, почивает там и князь Цицианов, а во дворе сохранилась могила грузинского царевича. Церковь построена грузинами, после того как они добились аудиенции у русского царя — шли в вассалы, разгромленные турками. Старухи болтают, что после войны Грузия прислала пять миллионов в необратимой валюте на ремонт храма, правда ли, нет ли — не знаю, но дощечку приколотили: да, дескать, памятник архитектуры, и от властей номер дома с фонарем. Нет только грамоты о принятии на социалистическую сохранность, и флаг, кажется, не вешают по праздникам.

Как-то Миша Янгель прокатил меня на велосипеде, и только мы свернули к дому — вижу, с неба падают какие-то белые лоскуты. Я закричал: «Листовки! Листовки!», а это были обломки двух самолетов — нашего первого воздушного гиганта «Максима Горького» и другого, с которым он столкнулся. Самый крупный обломок врезался в дом на улице Левитана — две минуты назад мы проехали там на велосипеде. Место катастрофы тут же оцепили, так что больше я ничего не видел.

Однажды бабуся все-таки затащила меня в церковь — где-то на Сретенке или на Покровке, точно не помню. Там не было ни шахмат, ни шашек, ни стенгазет, только худые дяденьки

глядели со стен да свечи мерцали как-то страшно. А тут еще бабка ни с того, ни с сего как-ак хлопнется на колени! Я был мал и очень испугался, вырвался на улицу и едва не потерялся в людском водовороте, насилу она меня отыскала.

Старуха она была бойкая и за ребятами, которые меня обижали, гонялась бегом. Говорят, отца она в детстве крепко лупила, даже язык иголкой накалывала за то, что матерился, а меня трогать не решалась, наверно, потому, что я милицией грозился — хоть и писался еще, а права свои понимал.

Бабуся сшила мне пальто — длинное, на вырост, из старинного гладкого материала. Из-за этого пальто меня стали дразнить попом. Пока родители где-то вдалеке поднимали сельское хозяйство на новой основе, бабушка как могла подымала внука — обшивала (всё на мне было «с иголочки»!), обстирывала, обхаживала. Так я и дожил до тринадцати лет. Мое воспитание бабка себе в заслугу не ставит — «ты мне ничем не обязан, мне отец обязан». Все-таки я по мере сил стараюсь выказать ей свою благодарность — ее «батюшкино благословение» висит у меня в комнате на видном месте, и лампадки горят днем и ночью (при отце с матерью ничего такого не дозволялось, молилась старуха, уткнувшись носом в тумбочку). Правда, должен признаться, я от них же, от этих лампадок, прикуриваю — но только когда она не видит.

РАЗДУМЬЯ

С любым вопросом, при любом недоразумении — даже если трамвай сходил с рельс — обращались к авторитету Сталина, он самый главный. Еще дошкольником, гуляя с папой, я пытался уяснить себе структуру общества:

— Кто главнее — Молотов или Калинин?

Отец объяснял долго и непонятно, и я опять спрашивал:

— А кто главнее — Ворошилов или Молотов? Бедный папа!

Однажды, внушая мне, что нехорошо таскать сахар из буфета, отец закончил свою речь фразой:

— Как ты на это реагируешь?

Я еще плохо говорил, но «отреагировал»:

— Я не слушаю...

Теперь отец частенько, увлекшись, начинает называть меня на «вы» — будто на партийной конференции выступает...

Однажды к бабушке пригласили профессора для консультации (через два года ей стукнет девяносто, но, сколько я помню, она всегда считалась при смерти). Профессора привезли на директорской машине и после, в передней у вешалки, сунули ему не то 50, не то 100 рублей. И долго потом говорили не о медицинских советах знаменитости, а об этих деньгах. Деньги, и вправду, были для нас большие, но боюсь, что в других семьях такая сумма казалась вообще сказочным состоянием — те, кому хватало на молоко и масло для детей, считались сверхобеспе-

ченными, пирожное, даже в нашем доме, было настоящим праздником, а уж конфеты и апельсины ели только буржуи.

Между тем я знал, что где-то возле Аэропорта есть просмотровый зал, где бесплатно показывают кино и стоит стол с апельсинами и пирожными, подают чай с лимоном и конфетами (сладкую жизнь для Бухарина и Каменева я придумывал, наслушавшись об этой роскоши). Бесплатные пирожные как-то не вязались с голодным обмороком, случившимся у рабочего Василия, и с карточной системой, и с тридцатью тысячами недоедающих, о которых я прочел в газете. И совсем не задумываться об этом как-то не получалось.

МАЛЬЧИК С КРАНТИКОМ

Кроме политических забот, существовали еще и другие: цари, рыцари, «Человек-невидимка», которого я боялся, инженер Гарин с его гиперболоидом и, конечно, постыдная и жгучая тема полов.

Славка очень подробно проинструктировал меня, и я проделывал под одеялом то же, что и большинство мальчишек, но не имея для этого никаких физиологических предпосылок.

Пока отец не стал первым коммунистом Пермской области, у нас постоянно останавливались его друзья: круглолицый, черный Саша Аракелян (он как-то привез кожаный бурдюк с вином),

уполномоченный НКВД Виктор Васильевич Давыдов, подаривший мне «Девяносто третий год» Гюго в иллюстрированном детском издании, до сих пор помню: Симурдэн, Говэн... Однажды Давыдов приехал с молодой женой Ритой, и родители уступили им свою кровать. Я услышал звуки, каких прежде никогда не слышал — был однажды случай, что родители подрались ночью, вернее, мама побила пьяного отца, но такого... нет, никогда не было. Да ведь это то самое, чем хвастаются ребята. Они говорят, что делают это с самыми симпатичными и неприступными девчонками из класса... (Еще в 1-й ударной школе был педологический кабинет, и медицинский тоже, там мальчикам задавали вопрос: «Девочек портил?» Красивый, матово-бледный Олег Дубровин, по собственному признанию, ответил: «А как же!» А нам уточнил: «Два раза». Другие утверждали, что у них это случалось и четыре, и даже пять раз...)

Скрип кровати прекратился, чиркнула и заглась спичка — Виктор Васильевич закурил, они зашептались, а потом опять резкое поскрипывание сетки и прерывистое дыхание... И так, кажется, всю ночь... Наутро я вглядывался в обоих: Давыдов как будто побледнел, а Рита... Мальчишки говорят, девчонку после этого можно узнать по тому, как она ставит ноги, но что-то ничего не заметно...

Был у нас приبلудный, неученый бульдог Чан, часто портивший маленькие подушечки — у него мокрая, красная морковка выскакивала, когда

он становился на задние лапы, он лез ко всем, и его за это били.

Ни в одной школе никогда я не видел таких красивых девочек, как в нашей московской. Ослепительно хороша была Эдда Таракьян, мало уступали ей Майя Орлова и Фая Фискинд, и совсем не уступала чешка Неля Крживанек. Однажды, бегая по улице, я вдруг увидел маленький, но совсем как взрослый велосипед «Украина», поднял галаза выше — на велосипеде сидела в сереньком халатике Нина Анисимова, отличница из нашего класса, жила она в семнадцатом корпусе домов НКВД.

Велосипед был такой, что его хотелось чистить, смазывать, хранить, оберегать — в общем, иметь. Поскольку он был неразделим с его наездницей, то пусть и она всегда будет при нем. Он будет стоять в комнате, а она... Ведь спят же папа с мамой... Я буду сдерживать дыхание, тихо целовать ее и нежно прижиматься — очень осторожно, чтобы не разбудить... Господи! Если Ты есть, сделай так, чтобы Нина Анисимова стала моей женой!.. Детей, конечно, у нас не будет, лучше будет много игрушек и одинаковые велосипеды. Всякие гадости, как делают взрослые, мы делать не будем — мало ли что это считается необходимым и даже приятным, но как же я смогу после этого любить ее? обойдемся без детей и без этих гадостей, я буду ее обнимать и целовать, и сердце мое будет так же сладко замирать, как сейчас, когда я обнимаю и прижимаю к себе подушку, как будто это Нина — тихая, пепельная,

с таким аппетитным «ш»... А вечерами мы будем кататься по бору на одинаковых велосипедах, у меня мужской, с прямой рамой, у нее женский, с выгнутой. Если бы можно было уже сейчас ехать рядом — у меня правая рука на руле, у нее левая, а свободные вместе, ее ручка в моей...

Однажды я притащил домой мокрую грязную полупрозрачную продолговатую резинку — подобрал на улице. Бабушка вырвала ее у меня, бросила эту «кишку» в печку и при этом испуганно спросила: «Ты знаешь, что это?», но ничего не объяснила...

В журнале «Костер» я прочел повесть «В лагере». Мальчик поцеловал девочку (а, может, наоборот), и они тут же разбежались в разные стороны, а наутро уехали и расстались навсегда. Нет, они должны были ждать (ждать почему-то необходимо), но зато потом уже не расставаться, пока врачи не изобретут бессмертия.

Нину нельзя было осквернять, ей невозможно «раздвинуть ножки», как «солнышку» в анекдоте, ее не должен коснуться ни один мальчишка своим створоченным концом, не должен никто унижить нелепым, грязным действием.

Детская мучительная постыдная и тайная тайна заполняла все мое существо и терзала ежедневно, а Нина Анисимова — пепельная фея — неслась на двухколесной «Украине» и знать не знала, что я знаю...

От казахских баранов отца почти без перехода взяли в ЦК и весной 38-го года в составе группы А. А. Андреева избрали третьим секретарем Свердловского обкома. Трудящиеся Надеждинска одновременно избрали его депутатом Верховного совета РСФСР. Отец уехал, а мы с мамой заканчивали учебный год (она была заведующей районным отделом народного образования), потом мы поехали к отцу, и нас сразу же повезли на дачу в двух километрах от сказочного, колдовского озера Балтым.

У первого секретаря обкома Валухина была отдельная дача, у председателя облисполкома Семенова — тоже отдельная, а «второй» и «третий» — Медведев и Гусаров — помещались вдвоем. Рябая официантка Юля принесла на подносе в трех супницах три разных супа — на выбор.

Бабка в Москве всегда спрашивала меня:

— Что ты будешь есть?

Я в свою очередь интересовался:

— А что есть?

Выяснялось, что имеется каша (или картошка), но всегда что-нибудь одно, никаких разносолов, так что сам вопрос: «Что ты будешь есть?» оказывался чисто риторическим. А тут — три первых! Что я выбрал, не помню, но так громко выразил свое изумление, что Юля снисходительно улыбнулась. Со вторым блюдом повторилось то же самое.

Несколько семей владело (правильней сказать — пользогалось) большим дачным хозяйством: лодочной станцией, купальней, громадным садом, даже моторная лодка с мотористом была в нашем распоряжении, причем мы только паслись на этих угодьях, никого не помню с лопатой или граблями в руках, — для этого существовали специальные люди, старавшиеся не показываться нам на глаза.

В центре внимания была семья «хозяина» области, Константина Сергеевича Валухина, бывшего начальника Омского НКВД. Начальник дач, рыхлый пожилой мужчина, стоял перед Валухиным, словно дневальный роты перед маршалом. Константин Сергеевич что-то цедил сквозь зубы, катая бильярдные шары, не глядя на вытянувшегося и одеревеневшего человека. С непривычки было неловко.

При жене Валухина, красивой нервной даме, проживали папаша Мефодий Федорович, провинциал в соломенной шляпе, никогда не покидавший бильярда, и туберкулезный брат, питавшийся по собственной системе, но, разумеется, из того же котла. У Валухиных было два сына — идиот Вадик двенадцати лет, в раннем детстве переболевший менингитом, и второй, помладше, нормальный, зато злой и капризный. Он бил Вадика, снимал с него трусы, учил выражениям, которые родители потом выбивали из дурака смертным боем. Вадик любил глядеть на автомобили, при этом он загадочно улыбался и без остановки повторял: «машина-ма». К дачам

подъезжали разные машины, но чаще всего «ЗИС-101». Еще Вадик говорил: «Солнце смеется и показывает». Эту фразу он тоже мог повторять часами, на разные лады, с разными интонациями. Все старания научить его чему-нибудь, кроме «машины» и «солнца» (и нецензурных слов) оканчивались неудачей.

ЧЕРНЫЙ КОТ КАБАКОВА

Километрах в десяти от наших дач стояли дачи НКВД. Оттуда несколько раз приезжали гости: Викторов и Варшавский, без семей и всегда «на взводе», это замечал даже я, тринадцатилетний мальчишка. Помню, как они сидят за столом, — толстый черный Викторов называет Варшавского своим учеником, а тот, рыжий и обрюзгший, беспомощно улыбается и засыпает.

Однажды Валухин ушел на охоту и пропал — одну ночь не вернулся, другую. Не знаю, были ли тогда телохранители или нет, но милицмейские посты в подъездах были точно, не говоря уж об охране дач. Явился Викторов и принялся страшно орать на охранника, открывавшего и закрывавшего ворота:

— Вас тут вместо стенок поставили, ... вашу мать!

Полуштатский привратник тянулся и ел глазами темпераментного начальника с ромбом в петлице, а тот все возвышал голос, выкрикивая одну и ту же фразу:

— Ты здесь вместо стенки поставлен! (и снова мат).

В детстве меня мат ужасал, особенно стыдно было слушать при родителях, но тут я понимал — случилось что-то самое главное в жизни, наверно, связанное с происками таинственных врагов, тут и ругань уместна. Валухин, в конце концов, вернулся цел-невредим и приволок не то лося, не то косулю, бок у нее был изодран, вытерт. Сам он похудел, зарос. Тушу свежевали возле кухни без него.

Валухин был моим партнером по шахматам. Играл он слабо, с шахматной литературой не был знаком даже по обложкам, — я в то время уже листал Майзелиса и только что получил билет 4-го разряда с автографом Рюмина, — но Константин Сергеевич давил меня пешками как Филидор. Я то и дело предлагал сыграть, и он никогда не отказывался.

Осенью я поступил в 6-й класс. Девочки Урала поразили меня своей бесцветностью и непривлекательностью, и вообще школа (где я учился из рук вон плохо) мало запомнилась.

Дворец пионеров в Свердловске стоял напротив дома, в подвале которого была расстреляна царская семья (включая детей). «Дом-музей» я не посетил ни разу, а во Дворец ходил играть в шахматы.

Поздней осенью до моих ушей дошла новость, что начальника НКВД Викторова расстреляли, а его «ученику» дали 25 лет. А может, наоборот.

Я спросил:

— За что?

— Варшавский до революции был бундовцем, а Викторов об этом знал, но от партии скрыл.

— А-а-а!.. Тогда конечно, — протянул я понимающе и отправился во Дворец пионеров.

Той же осенью папу назначили первым секретарем вновь созданной Пермской области, они с Валухиным спорили за миллиардом, чья область лучше.

— Мотовилиха не меньше Уралмаша!

— Да там одни бабы работают!

Валухинская область, действительно, была по-лучше, но недолго он радовался — его сняли. Узнав об этом, я отправился к нему на третий этаж. Дверь открыл он сам, небритый и осунувшийся, как после давешней охоты. В квартире пахло горелой бумагой. Родственники исчезли, хотя несколько дней назад, когда я заходил за пропуском в театр, все семейство было на месте. Я предложил сыграть партию, он и на этот раз не отказался, я проиграл и ушел, и больше никогда Валухина не видел.

Мама не стала ругать меня за этот визит, даже не упрекнула. Много позднее, уже в хрущевские времена, она приняла, и весьма уважительно, высленного из Москвы Шепилова.

У Медведевых был черный кот Арсик, каждую неделю его возили на дачу, он спокойно спал всю дорогу. Прежде этот кот принадлежал семье Кабакова — делегата всех съездов. Кабакова забрали, а кот перешел к новому секретарю Сто-

ляру, который тоже вскоре сгинул. Валухин от «наследственного» кота отказался, и тот достался Медведеву, «второму».

Вернувшись однажды с сессии Верховного совета СССР, отец сказал матери:

— Знаешь, кого я встретил среди депутатов?

— Кого?

— Валухина! Знаешь, кто он теперь — директор свиноводческого совхоза!

Валухин был награжден золотым оружием за Гражданскую и еще в те времена был кавалером ордена Ленина, но теперь приходилось радоваться, что он жив и работает директором захудалого совхоза. Правильно сделал, что отказался от кота! Правда, что случилось с Медведевым, я не знаю, никто никогда о нем не упоминал.

Нового секретаря Андрианова я видел лишь мельком, запомнил только потертый каракулевый воротник.

Однажды еще летом мы посетили пустовавшую дачу Кабакова, находилась она на необитаемом острове посреди озера, вокруг плавали дикие лебеди, а проехать можно было только на газике. В роскошном двухэтажном особняке была специальная бильiardная зала — не то что у Валухина, какой-то один бильiardный стол! За домом была масса подсобных помещений, но всё стояло заброшенное...

Под Новый, 39-й год, мы выехали в Пермь — в отдельном вагоне, везя с собой фикус, пальму, три чемодана и бабушку Машу.

ПЕРМЬ, ОНА ЖЕ МОЛОТОВ

В Перми мы поселились не в гостинице, а сразу в Доме чекистов, на пятом этаже, в пяти, только что отремонтированных, комнатах. Долго пахло краской, сторона была несолнечная. В подъезде специально из-за отца поставили милицейский пост. Хотя здесь «дома были пониже, а асфальт пожиже», чем в Свердловске, зато в Перми папа был самым главным.

В Перми жил и благополучно скончался герой гражданской войны Акулов. Его именем названа центральная площадь города. Еще был какой-то Легоцкий, оказавшийся врагом народа буквально в ночь перед выборами, — срочно пришлось расклеивать новые листки с портретом Викторова. Спустя год Викторов последовал за Легоцким, и кандидатом стал мой папа, благополучно «оправдавший доверие избирателей», ибо он принадлежал к новому поколению и не принимал никакого участия в страстях революции и гражданской войны. Папа, например, очень удивился, когда я лет пятнадцать назад назвал Троцкого создателем Красной армии. Когда он служил, имя Троцкого из устава уже было изъято.

Увы, в Перми я тоже не увидел таких девочек, как на Соколе, за исключением одной Светланы Римской. Я втайне уважал ее и ее соседа по парте за то, что они сидят рядом не по распоряжению классной руководительницы. Почему-то никто не решался сказать про них: «Тили-тили-тесто, жених и невеста»...

До Урала меня стригли наголо и одевали в короткие штанишки. В санаторий на станцию «Жаворонки» папа приехал в белом кителе.

— Твой отец моряк? — восторженно спрашивали ребята.

— Нет, он редактор газеты «Пропеллер», — извинялся я.

— А, значит, летчик, — утешали меня.

В Перми уже никто не спрашивал — кто твой отец...

Возможно, в Москве были выше требования, но в Перми я учился гораздо лучше. Скорее всего, мне просто не решались ставить двойки — по политическим соображениям. Учительница немецкого языка Киселева прямо-таки восхищалась моим произношением. (В Москве немецкий нам преподавала Лина Петровна Кепе, никто не сомневался, что она настоящая немка, и лишь когда началась война, выяснилось, что она эстонка. Правда, и народный артист республики Борис Юльевич Оленин, до войны писавшийся немцем, должен был долго и обстоятельно объяснять где следует, что никакой он не немец, что его родители просто принял в свое время лютеранство, и, таким образом, он то, что в России называлось «выкрест».)

В Перми я получил возможность чаще видеть своего могущественного папу, и медленно-медленно в душу мою стало закрадываться сомнение — чем же он так замечателен, отчего подчиненные так восторгаются им? Дома восторгаться было вроде бы нечем: отец часто пил, в нетрезвом

виде подолгу гонялся за кошкой, требуя, чтобы ее положили ему в постель, что бесило маму, и издавал непристойные звуки.

ОН И ОНА

Власти дедушек и бабушек не было, напротив, молодые угнетали стариков, пренебрегали их верованиями и нравами — это положение еще вернется, и нам будет еще обиднее, что никто не хочет извлекать уроков из прошлого. Молодым помогал новый режим, опыт старших был обесценен и высмеян. Старикам оставалось только бормотать себе под нос: «При царе пуд муки стоил...» Не всё ли равно, сколько он стоил, если при коммунизме этой муки будут горы — не меряй и не вешай!..

Родители были красивы. Я тоже, вроде, не урод, но если судить по фотографиям, уступаю обоим. Уступаю я им и во многом другом — в настойчивости, в умении жить, что поделаешь — судьба единственного ребенка из привилегированной семьи... Отец — рубаха-парень, душа общества, заводила, хвастун и фантазер. Мама — замкнутый, настороженный, педантичный человек. Полностью я не наследовал ни того, ни другого.

Возможно, они и физически не подходили друг другу. Мама как-то жаловалась, уже после войны, моей подружке Жене Васильевых: «Ты его обнимаешь, целуешь, а он лежит, как бревно...»

Отец же, в свою очередь, рассказывал мне: «Чего она от меня хочет? Даже жеребец, и тот сначала поиграет, а потом только А она ходит как мумия, ко всем ревнует, вечно слезку утирает — где моя машина стоит, а еще после этого хочет, чтобы я ее обнимал».

С раннего детства меня пытали обе стороны: «С кем ты хочешь жить?» Я отвечал всегда одинаково: «С тобой и с папой». (Или: «с тобой и с мамой», в зависимости от того, кто спросит.) Однажды, гуляя с мамой в сосновом бору, я неожиданно, неспровоцированно, сказал: «Мамочка, люби папу!» — и уже принятое (по ее словам) решение было отброшено.

Сколько я мог наблюдать родителей, они всегда были холодны друг с другом. Лишь раз, уже почти взрослым, я видел, как отец обнял маму и его рука скользнула ей на грудь — это я приезжал на побывку с фронта.

Сам уклад жизни был таков, что даже в театре он должен был появляться в окружении «соратников». Была ли жена у Сталина, никто не знал, если он являлся народу, то только окруженный соратниками и неизвестными штатскими. Приходилось выдерживать этот стиль и секретарям обкомов, крайкомов и ЦК республик. Отец ходил в полувоенном костюме, в фуражке-сталинке, только усов не носил, как, впрочем, и остальные.

Когда в Москве Литвинов, а затем и Молотов появились на трибуне в шляпах, все были шокированы, правда, быстро догадались, что это по дипломатическим соображениям — чтобы усыпить

бдительность мировой буржуазии. Но в провинции такую идеологическую неустойчивость мог себе позволить лишь крупный профессор, да и то беспартийный.

Итак, мы с мамой сидели в партере, в первом ряду, а отец в левой обкомовской ложе, откуда смотреть было не так удобно, но где его не могла достать рука террориста.

В гостях отец тоже предпочитал бывать один — подальше от ревнивого и критического взгляда матери. Не помню, чтобы и дома они вели какие-нибудь беседы.

ТЕАТР

Мне случалось бывать в театре и в Москве, но либо по школьной программе, либо по случайной родительской инициативе. Слепой, который пел под гитару «Соколовский хор у Яра» в Арбатском дворе, произвел на меня впечатление несравненно более сильное, чем спектакль детского театра «Эмиль и его товарищи», на который папа по ошибке сводил меня два раза. Театральное представление от клубного я мог отличить лишь по деньгам, отпускаящимся на мороженое.

Сладким ядом театра я стал регулярно травиться уже в Свердловске и Перми (семьи ответственных работников проходили бесплатно, это правило распространялось и на кинотеатры). В Свердловске я услышал впервые «Фауста»

Гуно — вынужден признаться, что Гёте я не раскрывал ни разу и по сей день. «Евгения Онегина» знаю тоже по опере Чайковского, а не по Пушкину. Но гораздо больше нравились мне «Сильва» и «Роз-Мари» в Свердловской музкомедии с несравненным — как там говорили — комиком Дыбчо и героями Виксом и Высоцким. Один раз я даже сполз от смеха со стула на пол — благо сидел в первом ряду. Артисты, знавшие Дыбчо, рассказывают, что он и партнера мог довести до полной потери самообладания. У Ярона физиономия, может быть, и достаточно глупая, и смешная, но у Дыбчо вид был настолько замогильно-серьезный, что это доводило до колик. (Говорили, что в жизни он, как и Зощенко, был меланхоликом.)

Постепенно мне посчастливилось поднабраться кой-какой духовной культуры. Что-то в душе развивалось, не стараниями семьи и школы (школу до сих пор не могу вспомнить без отвращения) и даже не под влиянием литературы (тут, очевидно, тоже нужен руководитель, а подле меня не было неграмотного повара Смурого, влюбленного в книгу. Я читал «Как закалялась сталь», но ее нельзя читать без конца). Музыка тоже не оказала на меня сколько-нибудь заметного благотворного влияния, хотя отец любил петь, особенно частушки. Вот его любимая:

С неба звездочка упала
Прямо на нос петушку —
Петушку неловко стало,
Он вскричал ку-ка-реку!

И дальше припев:

Что ты, что ты, что ты, что ты!..
Я солдат девятой роты!

Так что моим воспитателем стал театр, на посещения которого к тому же и денег не требовалось, даже если бы я не ходил, наши места все равно пустовали бы. (Мимоходом замечу, что материальный уровень нашей семьи настолько возрос, что о какой бы то ни было экономии не вспоминали.)

Первым «небожителем», которого я мог видеть вблизи, был артист вятского, а затем пермского драмтеатра, ныне народный артист Грузинской республики, Иван Николаевич Русинов, чтец Московской филармонии. Он и сейчас удивительно красив, а лет 35 тому, мог соперничать с самим Аполлоном. Классический герой, он был бы украшением лучшей московской сцены, если бы не родился сыном павло-посадского священника, за что не раз подвергался репрессиям — ибо «сын за отца не ответчик». Уже после войны, работая в Малом театре, он получил пять лет ссылки (нужно знать тогдашние сроки, чтобы не усомниться — Ваня просто не донес на кого-то, на кого должен был донести, потому что анекдот, рассказанный тобой самим, весил уже десять лет, и не ссылки, а лагеря).

«Собаку на сене» с Русиновым в роли Теодоро я выучил почти наизусть, не пропуская, по возможности, ни одного спектакля. «Собака на сене» не делает особой чести моему вкусу, но

по сравнению с «Сильвой» это был уже немалый прогресс.

При доме пионеров открылся кружок художественного слова. Узнав, что им будет руководить Русинов, пошел туда и я — вместе с бойкими пионерскими исполнителями «паспартины» — и потянул за собой отличника из нашего класса Павлика Седых. У Паши я списывал контрольные, он подсказывал мне на уроках, но я уже был авторитетом по части шахмат и изяшных искусств. Павлик жил вдвоем с бабушкой, а живы ли его родители, они не знали. Он о них никогда не вспоминал.

Русинов был для меня солнцем на небе: всегда празднично ясный, подтянутый, и я подражал ему, как мог, в походке, в одежде, в выражении лица, в единственно-верных интонациях.

А что он читал? Читал то, что требуется, хотя попадались и Пушкин, и Гоголь. Применимо ли к артисту-исполнителю — «жить не по лжи»? Если ты сегодня играешь Чацкого, а завтра тебе предложено исполнить парторга или передовика производства, так ведь и ты на производстве, в штате, и не можешь сказать, что не будешь играть по нравственным соображениям. Можно не лезть со своей «инициативой», как это делают многие писатели, можно не носиться, не «болеть» за образ коммунистического ратора, но отказать — нельзя.

И я под руководством Русинова читал по радио «В сто сорок солнц», «Товарищу Нетте» (ну, тут еще ладно — все-таки погиб служащий

при исполнении обязанностей) и прочую галиматью, как до сих пор Иван Николаевич читает Сергея Васильева.

Летом Русинов уехал в Ростов-на-Дону, к Завадскому, а я, проведив первого учителя, от навалившейся тоски бросился в воду и два раза переплыл Каму, все время бессмысленно повторяя строчки его монолога:

«В такой потере горя мало,
Теряют больше иногда!»

ДРУГАЯ БАБУШКА

Моя бабушка осталась сторожить московскую квартиру и жила с нами лишь в годы войны, а на Урал взяли Марию Андреевну — мамину мать.

Мария, Маша, в детстве переболела оспой и осталась рябой. Отец, не надеясь уже, видно, сбывать дочь с рук, повез ее в монастырь, но по дороге, на постоялом дворе, какой-то пьяный мужичонка — по пословице «нам с лица не воду пить» — поставил магарыч и сосватал за себя рябую девку, после чего она из Смирновой сделалась Тюняевой и с его помощью произвела на свет шестерых детей (а может, и больше), во всяком случае, когда супруг преставился, на руках у нее осталось шестеро мал-мала меньше. Хоть в петлю лезь. Баба Маша именно это и надумала сделать, но ее вовремя сняли. Вот эта бабушка и вела на Урале наше хозяйство. Рели-

гиозной она не была, хотя любила повторять присказку, якобы от лица немца: «Смотри, Иван, хорошо, если Бога нет, а когда узнаем, что есть, что делать будем?»»

Баба Маша всегда беспрекословно подчинялась маме и трепетала перед папой, но уж перед другим зятем, Евгением Ивановичем Ротшильдом, она просто благоговела: он врач и единственный интеллигент в семье на ее (да и на нашем) веку. Сама она когда-то была санитаркой, хранился у нее даже толстый медицинский справочник, хоть грамоте она научилась поздно, а тут дочка вышла за врача — высший авторитет! Да какой же обходительный! С утра до ночи они здоровствовались, одна беда — комната на Арбате 10 квадратных метров на всех, включая Славку.

Как-то новогодним ранним утром баба Маша (спала она в сырой коммунальной кухне) пошла в уборную и застала там дорогого зятя, он забыл запереть дверь. Баба Маша любовно посмотрела на доктора, беспомощно и смущенно восседавшего на шатком унитазе, и сказала:

— С Новым годом, Евгений Иванович!

СОРАТНИКИ

Усилиями бабы Маши в Перми поили и кормили любую ораву, состоявшую, главным образом, из членов бюро обкома — пяти секретарей, председателя облисполкома, начальника НКВД, не-

скольких директоров крупнейших заводов и еще множества московских гостей.

Во время войны число секретарей перевалило за двадцать, по количеству отделов, среди них был и Пысин, ныне высокая номенклатура, и Сычев, сейчас начальник Лечсанупракремля. Облздравотделом руководил Белецкий, позднее министр здравоохранения РСФСР, но поскольку в те времена он в Бюро не входил (так же как и Пысин с Сычевым), то и в дом вхож не был. Изредка приглашались директор авиационного завода Солдатов и директор Мотовилихинского артиллерийского завода герой соцтруда Абрам Исаевич Быховский (шахматный мастер — его сын). А вот Аркадий Дмитриевич Швецов, авиаконструктор, не бывал у нас никогда (он разделил печальную судьбу композитора Прокофьева — скончался в один день со Сталиным, и советский народ не обратил на их смерть никакого внимания). Местные артисты, поэты, писатели не приглашались, хотя среди них был и Вас. Каменский, друг и соратник Маяковского, а между эвакуированными и прибывавшими на гастроли попадались настоящие знаменитости — Уланова, Ботвинник, Мессинг, Каверин, Тынянов, Завадский. Завоблторготделом И. В. Яговкин привечал людей искусства, приглашал к себе А. Мариенгофа, Л. А. Ходжу-Эйнатова, композитора А. А. Д'Актиля, гости посвящали ему кое-какие «стансы», но в нашем доме этого не понимали. Вот когда пожаловал наркомлес Н. М. Анцелович (давно снятый, но почему-

то не посаженный), то он был принят с почетом.

Не по «чину» в доме бывал только Георгий Тимофеевич Вигура, директор небольшого заводика. Пропуском ему служили веселый нрав, карточные фокусы и красавица-жена. Как-то уже после войны я попал на концерт Якова Флиера и увидел там Вигуру с женой. Вигура пригласил меня к себе отужинать, и когда мы уже сидели за столом, пожаловал сам Флиер, посидел, исполнил импровизацию на темы Вертинского. (Значит, можно.)

В нашем доме останавливался Ворошилов — с адъютантами и телохранителем майором Сахаровым, Шверник, вице-президент Академии наук СССР И. П. Бардин, обедали у нас Ширшов, Вахрушев, Шахурин — да разве всех упомянешь! Одно могу сказать точно: интеллигентов, если не считать Бардина, не бывало.

В конце войны в доме появилось «трофейное» пианино, но играл на нем лишь однажды и то задом (перепив) заведующий отделом искусств С. И. Гительман, ныне директор Пермской драмы, да еще кошка ходила иногда по клавишам, и я одним пальцем пытался подобрать песенку герцога «Сердце красавицы».

Во время войны настырные эвакуированные ленинградцы (кировцы) пробились-таки на прием к отцу, медоточиво восторгались его сходством с Кировым, но был ли им от этого какой прок, не знаю. Что касается местных деятелей культуры, то им и вовсе ходу к властям не было. Од-

нажды, правда, я сам, по собственной инициативе, организовал «встречу» с артистами театра Драмы, а «советниками» моими были заслуженный артист республики А. Г. Шейн и артист помсостава Володя Макаров, мой шахматный кумир. Не знаю почему, но Шейн не пригласил заслуженного артиста М. Н. Розен-Санина, старик, узнав, что он обойден, от волнения заболел — решил, что попал в опалу. А отец-то и знать не знал о «приеме» и вернулся домой уже в одиннадцатом часу. (И то хорошо, тогда было принято и в четыре утра приходиться ответственным работникам.)

Среди гостей был артист Бронштейн, игравший Сталина и потому ставший Броневым (Полный смысл этого переименования до меня тогда не доходил.) Голодный, как и все остальные артисты, Бронев быстро «перебрал», «бегал в Ригу» и ушел раньше всех, крайне смущенный и огорченный.

Забыв пригласить несчастного Розен-Санина, мы однако не забыли позвать парторга театра К. А. Гурьеву, которую в театре все боялись и ненавидели. Никому, ни мне, ни хлопотливому Володе Макарову, ни независимому Шейну просто в голову не пришло, что можно обойтись без нее. (Кстати, много позднее я работал с Гурьевой во Фрунзе, там она тоже была парторгом и тоже симпатиями не пользовалась.)

Уже после войны, в Москве, папа поддерживал некоторое время знакомство с Г. М. Нэлеппом и, уезжая в Белоруссию, пригласил его на проводы.

Говорят, что просить певца в гостях петь, это все равно, что генерала — «пострелять немножко», но я уверен, что не из этих деликатных соображений гости и хозяева предпочитали слушать похабные частушки в исполнении министра здравоохранения Белецкого (первый солист Большого театра удостоился чести ему аккомпанировать).

НЕУЧ

До обысков и изъятий у меня хранилась фотография, сделанная школьным приятелем Женей Абрамовым — я, стриженный наголо, одетый уродливо и неряшливо, в пионерском галстуке со скрепкой и с книгой в руках. Книга настолько захватила меня, что я не расставался с ней ни на минуту, даже в гостях. Называлась она «Неуч», автор — Глеб Алехин. Герой произведения — рабочий парень Глеб — в эпоху пятилеток и вредительств поллюбил дочь бывших дворян Верочку и женился на ней (любовь зла!). Глеб подвергается ядовитым насмешкам тестя и тещи. Но на заводе у него есть парторг дядя Миша, в профиль похожий на Калинина, «динамитчик и родная мать» со стажем политкаторжанина. Дядя Миша советует Глебу прочесть всего Ленина, и хотя это было очень трудно, но произошло чудо: стихия вошла в гранитные берега. Преодолевший Ленина Глеб посрамил своих злых родителей, а заодно помог разоблачить гнусную и весьма

искусно маскировавшуюся шайку спецов-вредителей. И двинулся навстречу светлому будущему.

Почему меня увлекала эта галиматъя? Наверно я, как и другие в этом возрасте, искал своего героя, человека, способного преодолевать любые трудности, свой катехизис. О Мартине Идене тогда не слыхивали, а сорок томов Ленина и у нас, разумеется, имелись.

Была и другая фотография, сделанная преподавателем физики Григорием Исаевичем Шухманом (позднее погибшем на фронте). Я в позе мыслителя готовлюсь к ответу на экзамене. Рядом сидят сын рабочего Борисов и сын нашей «немки» Боря Киселев — оба в приличных пиджаках, на мне же выцветшая и мятая «сталинка» с накладными карманами. (Питался я много лучше остальных, но это никому в глаза не бросалось.)

Я дружил с сыном начфина обкома Колей Чернышевым и с Ледькой Гурвичем, тоже чьим-то сыном. Оба были старше меня на класс. Гурвич мог играть в шахматы вслепую, а я нет. Я замечал, что даже Чернышевы живут гораздо беднее нас, во время войны Колина мать ходила к нам «помогать» убирать особняк. Обе семьи — и Чернышевых, и Гурвичей — приехали из Свердловска, Чернышев-старший перевозил нас в служебном вагоне. Чужие в Перми, Колька и Ледька умели, однако, постоять за себя и с успехом защищались от других ребят Дома чекистов. (Этот дом называли так еще и в пятидесятых годах, разумеется, неофициально.)

Мое невежество никем не могло быть замечено — все мы были одинаковые неучи, что дети, что родители, что преподаватели — но всеобщий восторг перед умом и талантами отца на меня как-то не распространялся. Хотя именно отец, лишенный в своем тяжелом детстве и книг, и «Севильского цирюльника», и ферзевого гамбита, искренне восхищался моими познаниями.

В школе на уроках я слушал рассеянно, не веря, что пойму и запомню, а в седьмом классе страх перед неуспеваемостью превратился в настоящую манию — целыми днями я мог долбить немецкую фразу, чтобы потом без всякого смысла помнить ее всю жизнь. Хуже меня учился один Юрка Яговкин (в дальнейшем он превзошел меня и в пьянстве). Даже в любимых шахматах я не желал мыслить, изучать и преодолевать, просто смаковал выигрыши и тяжело переживал поражения. Обеспокоенная всем этим мама пригласила ко мне профессора-психиатра Э. М. Залкинда. Профессор счет мою нервозность и слезливость возрастной, но предупредил, что в жизни мне следует воздерживаться от алкоголя. Как показали дальнейшие события, это был очень дельный совет.

22 ИЮНЯ 1941 ГОДА

Начало войны ознаменовалось для нас тем, что мы с Колькой Чернышевым шли по улице и встретили школьного стихотворца Николаева.

Дружно, не сговариваясь, мы не поздоровались с «изменником» (ходили слухи, что он назвал гитлеровскую армию самой сильной в мире). Отец моего возмущения не поддержал, он не был кровожаден.

— Мало ли что можно сказать, не подумав! Любят раздувать.

Несколько позже, когда немцы приближались к Москве, я сам начал бормотать что-то о «профессионализме немецких штабов», но Чернышев дал мне резкую отповедь.

Свердловская драма свернула гастролы — народу мало. Из Киева бежал артист Шейн, прежде игравший в Свердловске Ленина, — появился он с двумя чемоданами и шестой женой А. М. Чупруновой. При своем могучем телосложении она тем не менее играла инженеру в Свердловской музкомедии и говорила: «Я умлу словно сяйка на зеленой лузайке, тлепыхаясь у всех на виду». В зале это вызывало бурю смеха.

Срочно стали показывать «Болотных солдат», «Профессора Мамлока». Последнюю пьесу поставили и в драме, с участием Шейна. Театр находился в Мотовилихинском дальнем районе, а трамваи ходили редко, поэтому публика ринулась к галошам, не дожидаясь выстрела. Шейн опустил наган, уставился в зал и с бешеством произнес: «Хорошо, я подожду», и стоял так, пока не наступила мертвая тишина. Тогда еврей-профессор рассчитался с жизнью.

ЭВАКУИРОВАННЫЕ

Из Москвы приехала тетя Зина, там она работала секретарем Папанина, начальника Главсевморпути, а тут устроилась секретарем начальника МГБ майора Поташника. Ларису, мамину племянницу, как менее смышленную, определили на завод. Впрочем, вернувшись в Москву, она тоже пробилась в «органы», где получала в два раза больше, чем ее муж-инженер, начальник цеха, хотя ничему не училась и ничего не умела. Наша соседка Халямина хотя бы владела машинописью и стенографией. Лариса просто поздно возвращалась домой — и все. Однажды в середине ноября 42 года я ночевал у нее на Покровке и она под секретом сообщила мне, что ноябрьский военный парад отменили потому, что 6-го какой-то автоматчик на Красной площади стрелял по машине Микояна (перепутал), отстреливался и под конец подорвал себя возле памятника Минину и Пожарскому. В начале пятидесятых годов Ларису уволили из «органов» из-за глупой привычки брать фамилию мужа, а мужем ее на сей раз оказался Адольф Матвеевич Кампель.

Евгений Иванович Ротшильд, тети-Зинин муж, вернувшись из армии, тоже не смог устроиться в Москве на работу, хотя когда-то был председателем (или председательствовал) на съезде терапевтов (это подтверждают еще не изъятые фотографии).

Из Сталинграда эвакуировались комсомольские дружки отца Сулицкий и Заленский. Зален-

ский жил у нас, пока ему не дали комнату. Сулицкий был рангом повыше и сделался одним из секретарей обкома. После войны его произвели в дипломаты, хоть он и не рвался и заявил Молотову, что предпочитает партийную работу, на что Молотов возразил: «А я не на партийной работе?» Потом Сулицкий все-таки добился своего и много лет прослужил в качестве парторга Министерства иностранных дел.

До войны одним из секретарей Пермского обкома был Г. А. Денисов, любивший выпить и поколачивавший свою темпераментную супругу, его потом сделали послом в Венгрии. Сельхозотделом заведовал нынешний редактор «Правды» Зимянин.

В первые дни войны я попал в истребительный батальон при авиационном заводе, где готовили для фронта без отрыва от производства. Мне было 15 лет, я гордился батальоном и его комиссаром, нашим секретарем райкома, все время иступленно рвавшимся на фронт. Мы изучали винтовку, «Максим», ППШ, хотя это мало кому помогло, в том числе и самому комиссару...

Папа ревниво следил, чтобы я не оставался в городе, когда школьников бросали на стройки и погрузки — это в его глазах было важнее батальона, которому некого истреблять. Впрочем, и борцам с диверсиями доставалось чистить подвалы и строить бараки для беженцев.

Еще до войны классная руководительница без всяких разговоров приказала мне вступить в комсомол: «пиши заявление». С отцом я бы еще по-

спорил, а тут не решился. Раньше я был членом учкома, теперь стал членом комитета комсомола, и едва не сделался комсоргом школы. Тут я не выдержал: я представил себе Лемкина, нашего комсорга, худого, косоглазого, с зеленоватым лицом — да разве я смогу так, как он, часами читать мораль своим товарищам? Мне сделалось так скверно, что я буквально заболел. В школе разговаривать было бесполезно, я пошел к секретарю райкома Максимову (в дальнейшем тоже дипломат) и взмолился не выбирать меня. В душе презирая, он отпустил меня с миром, и комсоргом стал Игорь Кузнецов, ладный парень, чемпион города по легкой атлетике (это он сидел на одной парте со Светланой Римской). Так что ему пришлось восклицать в положенное время: «Да здравствует товарищ Сталин!» и получалось это у него так неловко, что оставалось только радоваться, что это делаю не я.

Я прекрасно понимал, что так надо, так принято, но сам почему-то предпочитал другую общественную работу — читать со сцены Гоголя, играть Чацкого, на худой конец, даже пленного командира, которого пытаются. Эти пытки устраивали меня больше.

Однажды в класс пришел новый историк, старичок из числа эвакуированных, и принялся так интересно рассказывать о Петровских реформах, что по окончании урока мы устроили ему овацию — не упомяну такого в школе ни до, ни после. Но очень скоро старик исчез, кто-то сказал — документы у него не в порядке. На собрании

я послал из зала записку нашей директрисе М. В. Боковой: «Почему убрали Сергея Петровича?» Мария Власовна ужасно разгневалась: «Кто послал эту хулиганскую записку?» Я промолчал. Было обидно и за себя, и за учителя. По какому праву его выгнали? Если преподаватель умеет так говорить, это лучше всяких документов...

Из Ленинграда приехали Театр оперы и балета и многие писатели, а в конце года пожаловал Вольф Мессинг со своими психологическими опытами. «Чекистка» тетя Зина устроила мне встречу с ним. Я пришел и обомлел — на втором этаже гостиницы меня ждал загадочный человек с высоченным лбом и ликом дьявола. Я смотрел на него как за гипнотизированный. При виде Завадского я тоже испытывал трепет — лицо Завадского было словно вылеплено из слоновой кости, но то был трепет почтения, а не страха. «Дьявол» повел меня наверх и втолкнул в небольшую комнатку, где сидели два обыкновенных еврея. Один из них — маленький, суетливый, с бегающими глазками, и был Мессинг («дьявол» оказался его администратором), другой был дирижер Кировской оперы Шерман. Шерман явно был подавлен только что состоявшимся разговором. Мессинг утешал его и говорил, что предсказывать одно хорошее неинтересно. (Через два месяца у Шермана умер отец, но если это случилось в блокадном Ленинграде, можно было предвидеть несчастье и без особого дара.)

Шерман ушел, а Мессинг, вспомнив о тете Зине в связи с какой-то курицей (до чего же сестры были не похожи!), усадил меня и стал скручивать папиросу, заворачивая табак в нарезанную бумагу, явно слишком плотную для курения. Мне он тоже протянул кусок такой бумаги. «Напишите четыре двузначных числа». Я написал. Он велел зачеркнуть любые три. Я зачеркнул, ни секунды не задумываясь, в полной уверенности, что и пишу, и зачеркиваю, что хочу. Одно число, скажем, 76, осталось. Мессинг предложил мне перевернуть листок, я перевернул — там его рукой было написано 76. Я глянул недоуменно и испуганно, глаза Мессинга мгновенно расширились, меня как током дернуло. Я мысленно приказал ему снять с вешалки оперную зимнюю шапку, положить на кровать и накрыть всеми пятью подушками с двух кроватей, что он и сделал, слегка, правда, замешкавшись у вешалки. Когда он после некоторого колебания ухватился за эту шапку, я воскликнул: «Правильно!» Он резко оборвал меня: «Я сам знаю, что правильно». Потом он объяснил, что не понимает многих русских слов, а на вешалке были и летние, и зимние шапки, и для этой, шалыпинской, видно, у меня самого нет точного названия.

По линиям моих рук он определил, что я склонен к недоверию, независимости, причем выражал это так образно и подробно, что я был потрясен. «Вот вы смотрите на педагога, а про себя говорите: ну чему ты можешь меня научить при своей тупости?» Затем он предсказал мое

будущее: «Вы станете трагическим актером с богатой внутренней жизнью, как Михозэлс». Под конец мне были обещаны многие лета.

Пока что мне 44 года — много это или мало, затрудняюсь сказать, но не думаю прожить еще долго. Как актер я вряд ли кому известен, трагические роли играл только в жизни. Что касается независимости, то она может выглядеть таковой лишь по соотношению с эпохой, в которую мне довелось жить.

Вскоре Мессинг уехал из нашего города, пообещав, что «война скоро кончится за нашей победой», и, действительно, так и случилось через три с половиной года.

В июле сорок первого года лектор в клубе уверял, что через месяц-другой немецкие танки останутся без бензина, а в ноябре Сталин говорил: «Еще полгода, годик».

После встречи с Мессингом я стал частенько бывать в комнате, где был представлен «дьяволу» — там обитал чекист С. Ф. Пивоваров, у него я познакомился с А. Д'Актилем, И. Луковским, М. Козаковым, С. Розенфельдом, композитором Л. А. Ходжа-Эйнатовым.

С. Розенфельд написал книгу «Доктор Сергеев», где отобразил моего отца, разговаривающего по прямому проводу со Сталиным. При мне отец удостоился разговора с вождем только один раз. Это было осенью, очевидно, Иосифу Виссарионовичу не спалось. Он сказал: «В ваших руках судьба Москвы». Остаток ночи отец не мог

успокоиться — ходил до утра по квартире в подштанниках и повторял услышанное.

Дважды я встречался и разговаривал с Каверинным, но с перечисленной богемой он близок не был, хотя и враждебен ей не был, как, например, М. Слонимский.

Особенно бросалась в глаза даровитость Д'Актиля, он сочинял стихи на ходу, за чашкой чая, и тут же забывал их, записывая лишь те, которые давали хлеб насущный. Как-то при мне Пивоваров подарил ему коробку папирос, Анатолий Адольфович тут же принялся декламировать:

Закуриваю сладостный «Зефир» (так назывались папиросы),

Дым тает в воздухе,
И кажется, что таю
И я с ним вместе...
Долгожданный мир
Нисходит на душу,
Я обоняю розы, я мечтаю,
Я весь в далеком... Я Вильям

Шекспир...

Дальше не помню, стихотворение вертелось вокруг папирос и щедрого дарителя. До сих пор можно услышать «Марш энтузиастов», наверняка написанный где-нибудь впопыхах на подоконнике, когда-то были популярны песни из фильма «Моя любовь», джазовый «Пароход», добрая половина утесовских текстов написана Д'Актилем, известен он и как переводчик.

Умер он в одночасье осенью сорок второго года в Перми. Как версификатор он мог соперничать с Маршаком, может, из него и получился бы второй Маршак, если бы он любил сидеть за столом и был бы ловчее приспособлен к политическим требованиям. Возможно, и обстоятельства виной тому, что настоящего поэта из него не вышло, однако блокадники еще помнят щиты с его четверостишиями:

Не отдадим фашистам Ленинграда,
Ни площадей, ни скверов, ни палат!
Ни Пушкиным прославленного сада,
Ни возведенных Росси коллонад!

Мне удавалось, и довольно часто, играть в сеансах с Ботвинником, а один раз я даже сделал ничью — он давал сеанс на 17 досках. Эта ничья была единственная и последняя партия сеанса, разменный вариант испанской партии. В общении Ботвинник напоминал Каверина — рационализированное поведение, разговоры о труде («гений на 99% состоит из потения» и т. д.) Жена Ботвинника, Гаяне Давидовна, танцевала в кордебалете, была она женщиной выдающейся красоты и безграничной преданности, последнее, как подсказывает мне мой личный опыт, не так часто встречается у армянков...

Болтаясь среди ленинградцев, я впервые услышал о Гумилеве и тогда же впервые прочел «Письмо незнакомки» Цвейга. Открыл книгу я просто так, — весь день я таскал доски, и

теперь строчки плясали у меня перед глазами, — а закрыл среди ночи, потрясенный.

Общение с писателями и композиторами, конечно, не могло довести до добра. Гуляя с отцом по берегу Камы — в кои-то веки! — я вдруг истерически на него накричал, обозвал невеждой и убежал. В другой раз у нас возник диспут о Ленине — оба мы знали его сочинения только понаслышке, но я нагло ссылаясь на авторитет основателя, отец был убежден, что Ленин такого сказать не мог, я заскандалил, потом оба долго думались, до самого моего ухода на фронт. Кто был прав, осталось невыясненным, теперь уже и не помню, о чем был спор.

КОМИССАР ЗАВИРОХИН

В батальоне все держалось на комиссаре Завирохине, ведь бойцы работали на заводе по 12 часов. Я не раз замирал от страха, когда тщедушный секретарь райкома выдавал мат. (Вымышленных имен и фамилий у меня нет, это я говорю на всякий случай любителям аллегорий и ассоциаций.) Никто не сомневался, что Завирохин первым бросится в любое пекло. Маленький, худенький, он первым летел на лыжах, первым топал в походах, да и к ночи не всегда топал домой. Есть такие люди. Сейчас я дружу с Володей Гершуни — если его не убьют и не сгноят в тюрьме, то он, я уверен, умрет на ходу, на бегу — кувырк и готов!...

Завирохин был невежествен, груб, читая в оперном театре очередную приветственную телеграмму, он закончил: «Смерть немецко-фашистским варвара́м!» Когда в зале загудели и засмеялись, он сверился с текстом и повторил точно так же. Из президиума махнули: валяй дальше — после объясним!

Беспощаден он был, невзирая на лица. Когда мать решила уйти из райкома в школу, он злобно ее обматерил, а на мою маму и отец не решался повысвить голос.

Время от времени Завирохин выстраивал нас и командовал: «Желающие на фронт — два шага вперед!» и распекал несчастных, не сделавших двух шагов. Сам он засыпал всех рапортами и письмами с просьбами об отправке на фронт (где такого фанатика-смертника могло спасти разве что чудо. Чуда не случилось). От окружающих он требовал, чтобы все как один были как Дзержинский и комиссары Гражданской — никак не меньше. Под его командованием я часами шагал в строю, два раза нас водили на стрельбы в обком, где отец запевал:

Слушай, рабочий,
Война началась,
Бросай свое дело,
В поход собирайся!

Строй подхватывал обещание «умереть как один», и хотя отец помнил всего два куплета, но его хрипловатый тенор никому не надо-едал.

В батальоне были отслужившие, они пели «В гавани», «Три танкиста», «Если завтра война», где на моей памяти слова «и железной рукой нас к победе ведет Ворошилов» изменили, втиснув в текст и нового наркома:

С нами Сталин родной,
Тимошенко — герой,
С нами друг боевой — Ворошилов!

Так, еще до войны, стихотворцы оттяпали Ворошилову железную руку.

ДРУГ БОЕВОЙ

Перед майскими праздниками 42-го года я проснулся утром, как обычно спрыгнул на пол, но обычного стука босых ног о линолеум не последовало — перед моим диваном лежал ковер. «Что это?» — спросил я, удивившись. «Тс-с-с!.. Тише! Это отец с матерью тут спали — в спальне Ворошилов!»

Никто такого визита не ждал и не готовился, но Ворошилову, видно, надоело ночевать в вагоне. Утром я его не видел, ушел в школу, но он пожаловал к обеду — лицо почти шоколадного цвета, на портреты не похож. Сопровождали его два рослых, немолодых уже полковника и заспанный майор с ромбом, как у нашего Поташника. Адьютанты гвардейской выправкой напоминали денщиков, а Сахаров — телохранителя, хотя и носил ромб, что соответствовало

генерал-майору. Он следил, чтобы Ворошилова не убили, а главное, не отравили — бабки наготовили яств, но их запретили подавать к столу, из ресторана были доставлены особые кушанья, и стоило Ворошилову нацелиться на какое-нибудь блюдо, как туда мгновенно втыкалась вилка Сахарова, обязанного умереть прежде маршала.

Я тогда еще не пил, так что могу с полной ответственностью засвидетельствовать, что все сидящие за столом пили наравне, но если остальные к концу обеда совершенно осоловели, восторженно улыбались и готовы были задремать, то маршал, наоборот, как бы протрезвел и приободрился — он пришел усталый, несколько часов носился по вагонам и распекал офицеров всех рангов — могильщики! Не научили солдат окапываться и маскироваться, как положено! Теперь его взгляд становился все тверже, яснее и на лице появилась вовсе не свойственная пьяным презрительно-ироническая гримаса.

Разговаривать экс-наркому было не с кем и не о чем, но положение спасала баба Феня да я, грешный. Бабку он спрашивал:

— Чи не забува ще українську мову?

— Ни, не забува!

— А сын?

— Ты какой же вин хохол? Вин перевертень!
— и так далее.

Я рассуждал на более серьезные темы:

— Сколько вы ни посылайте Батурина в Италию, Шаляпина из него все равно не выйдет! — и напоминал, что Шаляпин мог краснеть и

бледнеть по ходу действия, а это не всякому драматическому актеру дано.

— Ну и что? — отвечал Ворошилов. — Так значит, сидеть сложа руки в ожидании гения? И Шаляпин много трудился! Я-то знаю, сам видел! — и рассказал, как, усердно трудясь, Шаляпин выпивал перед спектаклем стакан водки. — Ты вот у бабушки спроси: досталась ей в жизни хоть одна копейка даром?

В пылу спора мы стали орать друг на друга, Ворошилов сорвался с места, подскочил ко мне и принялся тузить кулаками, я ответил ему тем же, он не обиделся и еще несколько раз подбегал — то обнять, то пихнуть меня в сердцах.

С адъютантами я разделался в шахматы в один миг, но сам маршал играть отказался.

— Будешь потом всю жизнь хвалиться — у Ворошилова выиграл! — для всей жизни такой чести, пожалуй, маловато, Ворошилов — это не Ботвинник.

Вечером мариинцы-кировцы устроили в честь маршала концерт, мне пришлось идти со своим батальоном в патруль — охранять высокого гостя, а если бы не это, то я наверняка бы в качестве лучшего друга сидел на концерте с ним рядом.

На следующее утро я стал проситься на фронт, но Ворошилов моего порыва не поддержал и сказал, что отец правильно делает, что не пускает.

— Я вот Тимура Фрунзе отпустил, знал, что больше недели он не провоюет, так и вышло — на пятый день погиб. Теперь поставят ему па-

мятник, а памятник по сравнению с жизнью — тьфу! Ерунда это по сравнению с жизнью... — и все отправились на дачу, где стали играть в бильярд.

Я назвал удар отца «плебейским» — шар долго качался у лузы и, наконец, нехотя в нее плюхнулся, Ворошилов тут же отреагировал на мое «барское» замечание:

— Плебейский?! А ты кто такой? Господин! Плебейский удар ему не нравится! Ты должен гордиться своим происхождением! — и пошел ораторствовать, разъяняя, что немцы пришли отнять у нас наши социальные завоевания — хотят, чтобы судомойка всегда оставалась судомойкой, а помещикам и капиталистам можно было жить, не трудясь. Из его слов следовало, что Гитлер не может простить нам, что в семнадцатом у нас Рябушинского обидели.

Я внимал этим разглагольствованиям с полным доверием. (Что ж, Кочетов и Шевцов и теперь страшат нас, что вот вернутся купцы и промышленники и заберут под банк и ресторан резиденцию нашей родной Лубянки...)

Уезжая, маршал лишь со мной одним попрощался за руку. Однако папа был не спокоен: «Что тебе Ворошилов — мальчишка? Боксом с ним драться...» По городу поползли слухи, что гусаровский сын совсем свихнулся, зарвался окончательно. Но через неделю Ворошилов позвонил отцу и передал мне привет. Тогда у папы отлегло от сердца.

Кто уж действительно свихнулся, — даже я не мог не заметить этого, — так это бывший каторжанин, видный профсоюзник, а затем наркомлес, Наум Маркович Анцелович. В свои шестьдесят лет он пытался плясать вприсядку, отняв у бабки кухонный нож, зажал его зубами и исполнил лезгинку, хвалился, что в царской тюрьме нассал на голову надзирателю (мог приберечь свою шутку до лучших времен), а своему адъютанту кричал, брызжа слюной: «Вы говно! Что?!» Все это не мешало отцу принимать его с полным почтением. Большинство соратников Анцеловича сгнуло без следа и памяти, а он все еще ходил живой и даже с депутатским значком.

Однажды отец принялся рассказывать Анцеловичу дурацкий антисемитский анекдот. Мне было ужасно неловко, и я попытался потом наедине вразумить папашу, что это некрасиво. Он сконфуженно возразил: «Да что ты? Анцелович — поляк».

Впоследствии я понял, что юдофобство отца такого сорта, что своих знакомых-евреев он за евреев не считает. О директоре Мотовилихинского артиллерийского завода Быховском он говорил: «Абрам Исаич? Нам, русским, еще у него поучиться! Да он в свое управление еврея ни за что не возьмет. Наш мужик!» (Гительман, тот, что задом играл на пианино, тоже, несомненно, был «наш».)

Может быть, под влиянием Анцеловича отец переменял свое решение не пускать меня на фронт (со времени отъезда Ворошилова прошло не больше двух месяцев). По «казацким обычаям» (о которых отец мог знать разве что понаслышке), мне сшили форму, подарили наган, портупею, автомат — только коня не отвалили. Анцелович еще погостил у своей эвакуированной жены, заодно пробил что-то для сто тридцатой стрелковой дивизии (впоследствии гвардейской), написал на бланке, что я являюсь политбойцом, и увез с собой.

Вначале я жил в Москве, в его квартире в Доме правительства («Допр'е», как его называли), где кинотеатр «Ударник», а теперь еще и Театр эстрады. Несколько позже я узнал, что большинство советских граждан расшифровывает «Допр» не как Дом правительства, а как Дом предварительного заключения. Так же впоследствии я узнал, что обитателям Дома правительства были известны оба значения аббревиатуры — в доме едва ли оставалась квартира, не познавшая арестов и обысков. Анцелович был чуть ли не единственным счастливым.

В библиотеке Анцеловича я «позаимствовал» две книги — Станиславского «О работе актера над собой» и томик Надсона. И хотя я умудрился потерять всё — от автомата до комсомольского билета, но Станиславский прошел все дороги, все гауптвахты и теперь — нетронутый и во время обысков — лежит у меня в комнате на полке. Анцелович, узнав, что я стащил книги, не

сердился, только попенял, что ж я у него не попросил, он бы мне их надписал. Но я и в юности не любил, чтобы Ласкера мне надписывал имярек-даритель, а сам Станиславский уже лет пять к тому времени как ничего не надписывал, не говоря уж о Надсоне.

Вскоре мне пришлось оставить квартиру в Доме правительства, так как там поселились две молоденькие «боевые подруги» и Анцелович грозно втолковывал им: «Я — тоже человек! Что?!» Я струсил и перебрался в комнату тети Зины на Арбате.

В Москве, где я проболтался месяц, работал один-единственный театр. Я пошел на спектакль, чтобы увидеть собственными глазами легендарную Валю Серову — единственную женщину, которой в двухсотмиллионной державе посвящались лирические стихи. До этого я видел ее в фильме «Весенний поток». В помещении филиала МХАТа ставили «Русских людей». Сафронова играл Аржанов, Глобу — Д. Н. Орлов, Васина — Р. Я. Плятт — тогда еще без всяких званий, а Валю — Серова. Ни сама она, ни ее игра не произвели на меня впечатления, поэтому, когда по окончании спектакля театралы ринулись к рампе, я остался стоять в своем ряду и вежливо хлопал. И тут она заметила одинокого безусого солдатика в португее и с наганом, улыбнулась нежно-патриотически и низко-низко, до самой земли поклонилась воину. С этой минуты и до самого эшелона я дежурил у театрального подъезда. Серова всякий раз замечала меня и улыбалась, но

однажды подъехала машина, и мне было видно сквозь заднее стекло, как она целуется с Симоновым. Я продал билет и целый вечер сам не свой бродил по улицам...

Я попробовал еще однажды, днем, зайти к Анцеловичу, но присутствие «боевых подруг» заметно ощущалось — я застал его включенного, с помятым лицом, в халате, на столе громоздились бутылки. Я поскорей распрощался и поехал на Арбат, хотя он уговаривал меня остаться и выпить.

НА ФРОНТ

Наконец, в августе с колонной грузовиков и профсоюзной делегацией на легковушках (возглавляла делегацию Клавдия Ивановна Николаева), мы двинулись на Северо-Западный фронт. Мне определили место в кузове, и хотя еще стояло лето, я узнал, что такое мерзнуть.

Проехали Калинин — пустые коробки вместо домов, жители лишь изредка попадались на окраинах, потом такие же Торжок и Осташков. Ночевали в машинах, только один раз на нашем пути попался одинокий двухэтажный дом, где жили старик со старухой, привыкшие и к темноте, и к тараканам.

В составе делегации была красивая брюнеточка с матовым лицом и в ладно сидящей шинели из офицерского сукна. Офицеры увивались вокруг нее и весело беседовали. Меня же ни один чело-

век не удостаивал своим вниманием, даже словом перемолвиться было не с кем. Я хотел спеть куплеты Трике из Онегина, но надо мной только посмеялись — сказали, что у меня ни голоса, ни слуха. Я понял, что тут совсем нет понимающих людей.

В Перми осталась Зина Петрова. Хотя в Москве я каждый вечер дежурил возле театра, с трепетом ожидая мимолетной улыбки Серовой, но Зинина карточка бережно хранилась «в кармане маленьком моем». А тут, в пути, я и про Зину забыл. И потом, вернувшись в Пермь на побывку, ни разу к ней не зашел. А ведь как прощался! Не стесняясь присутствием матери, пел со слезами: «Легче с маменькой расстанусь...» (С маменькой я всегда расставался легко и мужественно, если не считать последнего расставания...)

ФРОНТ

На передовой во время боя я никогда не был, но и во втором эшелоне, и в штабах вшей была тьма-тьмушая, и сражаться с ними было не легче, чем с немцами.

Еще не добравшись до своей дивизии, мы уже знали, что Маша Поливанова и Наташа Ковшова, москвички-поварихи, ставшие снайперами, погибли. Одну немцы закололи, другая застрелилась. Чтобы посмертно наградить их орденами, политотдел послал в Москву материал, но оттуда запросили дополнительные данные и

присвоили им звание Героя Советского Союза.

Фронт был спокойный — стоял на месте, но немцы рвались к Волге и на Кавказ, и мы должны были «отвлекать» их — ценой невероятных, и как потом выяснилось, совершенно неоправданных жертв. Одной из задач было перерезать горло Демьянского котла, которое, кстати, и без того простреливалось нами, поэтому немцы все равно вынуждены были снабжать свои окруженные части самолетами. Когда нам оставалось, чтобы соединиться, несколько сот метров, немцы бросили авиацию и бомбили нас целыми сутками. Я залез под нары в землянке и читал Мопассана пока не уснул (не подумайте, что остальные в это время самоотверженно трудились — при каждом свисте фугаски, а они свистели без конца, все, расталкивая друг друга, кидались на пол). К вечеру я проснулся, вылез из своего укрытия и предложил сотрудникам дивизионной газеты (к которой был прикомандирован) сходить за обедом. На меня глянули серые, измученные и перемазанные грязью лица. Котелки мне выдали, и я пошел за супом. Увидев меня, повар насмешливо крикнул:

— Ну, герой, знаешь теперь, что такое война?

Я не успел ему ответить, как увидел его на земле в весьма странной для взрослого мужчины позе. И только после этого услышал звук пикирующего бомбардировщика.

В этот же день были убиты дивизионный прокурор и его секретарша. Прокурора я помнил, он

был маленький, толстенький и в чай накладывал полкружки сахара.

Я сразу усвоил, что от прямого попадания спасенья нет — не осколок сразит, так четырьмя скатами землянки задавит, и поэтому решил понапрасну не волноваться. Как-то, еще до начала бомбежки мы играли в шахматы с начальником связи дивизии и попали под минометный обстрел. Он тут же ухватился за кобуру и побежал в землянку, а я собрал шахматы, уложил в доску и, стыдясь бежать, пошел обычным шагом. Свиста пуль я, не скрою, пугался, но ни за что не согласился бы показать этого — все вокруг были старше меня. К бомбежкам в конце концов я так привык, что однажды плюхнулся на землю не как все — лицом вниз, а на спину и увидел, что над нами пролетает кукурузник с красными звездами.

— Наши, наши! — завопил я и запрыгал, забыв о всякой солидности.

Остальные тоже вскочили, закричали, подбрасывали в воздух шапки — похоже, что и бывалым солдатам не часто приходилось видеть самолеты со звездами...

При всей моей храбрости и презрении к смерти в бой я, однако, никогда не рвался. Я как-то не замечал вокруг ни энтузиазма, ни массового героизма, люди такое повидали, что каждый, кто только мог, старался пристроиться во втором эшелоне, и я не ощущал ни малейшей потребности быть умнее других. Дивизионная газета «Вперед, на запад!» была все-таки в большей

степени фронтом, чем самодеятельность, которой руководил В. Н. Кнушевицкий. Он просил отдать меня ему, но начальство не согласилось, наверно, справедливо полагая, что там я и вовсе перестану походить на солдата.

После массированных бомбежек немцы бросили на наш участок несколько эсэсовских дивизий, наши подразделения бежали в панике, фронт был прорван, даже второй эшелон питался сухарями, а наша редакция уцелела чудом: мы собирались двинуться вперед — но, разумеется, не на запад — на рассвете, но потом страх выгнал нас на несколько часов раньше. Когда взошло солнце, на том месте, где стояли наши фургоны, зияли громадные воронки от фугасок.

Отступая, мы вдруг повстречали в лесу корову, Бог ее знает, откуда она взялась, но она мирно щипала траву на полянке и помахивала хвостом. Пролетавший юнкерс заметил ее — бедняга не догадалась спрятаться в лес — спикировал и сбросил бомбы. Корова заметалась, немец набрал высоту, развернулся и спикировал еще — на этот раз цель была накрыта.

Советские пропагандисты первого года войны, типа Кирсановой, объяснили бы этот случай так: немецкие трудящиеся — наши братья, они стараются сбрасывать бомбы не на военные объекты.

Мы были так измучены, что нам и в голову не пришло воспользоваться свежей говядиной — подарком немецких трудящихся. Мы так боялись сами попасть в немецкий суп, что и голода не чувствовали.

НЕМЕЦКИЕ ЛИСТОВКИ

Анатолий Кузнецов в «Бабьем Яре» уже описал их. Я тоже помню эти «стихи»:

Бей налево, бей направо,
Комиссара и жида —
Рожа просит кирпича.

Специально интересоваться ими мне было ни к чему, хоть я и вертелся возле политотдела, но когда случалось по нужде присесть под кустиком, листовка была кстати, а поскольку в эти минуты возникает особая тяга к чтению, я без задних мыслей знакомился с их содержанием: «руководимые безумным идеалистом Сталиным и евреями Мехлисом и Лозовским...» Каганович почему-то не упоминался, наверно, рассчитывали, что о нем сами вспомнят.

Я написал для нашей газеты очерк в стиле Эренбурга, назывался он «Размышления у трофейных автоматов». Размышлял я о дальнейшей судьбе немецких автоматов — «останутся ли они на складах, пойдут в переплавку или из них еще будут стрелять...» Редактировал газету А. А. Полетаев, бывший редактор «Комсомольской правды», он пропустил эту фразу, но в политотделе на нее обратили внимание — сочли, что я намекаю на будущее наше столкновение с союзниками. Боюсь, что и сейчас я слабо владею столь тонким искусством, как намеки, а уж тогда и подавно не думал намекать — ни устно, ни письменно. Меня, правда, таскать не стали, но

Полетаеву, старому газетному волку, пришлось выслушать мораль, а номер было велено уничтожить, так что солдаты ни за что ни про что лишились обычной порции бумаги для самокруток.

Где-то на оккупированных немцами территориях находился партизанский край, но его командующий, полковник Тужиков пребывал по эту сторону линии фронта — дабы не рисковать чрезмерно своей персоной. В Перми жила его жена, и он придумал выпросить меня у начальства и, снабдив партизанскими документами, отправить к супруге с посылкой — шоколадом, сливочным маслом, мылом и прочими ценными вещами.

Мы стояли в это время на территории бывшего Демьянского котла, из которого немцы благополучно выбрались, хотя буквально тысячи наших солдат полегли на каждом метре его горловины, которую предусмотрено было перерезать. Немцы оставили после себя много газет, я вырезал из них изображения «фюрера», Муссолини, Геринга, кроме того, я подобрал два немецких ордена и собирался все это ради интереса отвезти домой. Пока я спал, Тужиков швырнул мои сокровища в печь. Сам он посылал отцу «для ознакомления» большую пачку власовских газет, но мне даже полистать не разрешил. Я был так оскорблен недоверием и тем, что он посмел уничтожить мою коллекцию, что ночь перед отъездом почти не спал. Поэтому, очутившись в теплушке, я быстро задремал, а когда проснулся, обнаружил, что у меня вытащили ко-

шелек со всеми документами. Посылка Тужикова осталась цела. Не выпуская ее из рук, я отправился в Бологом в комендатуру. Здесь меня в первый раз в жизни подвергли обыску — даже мыло разрезали. В конце длинного стола сидел представитель «Смерша», теперь он должен был просмотреть мое барахло. Глядя на объемистую пачку власовских газет, я вспомнил, как в прифронтной полосе расстреливали солдата: вытащили из эшелона — он кричал — завели за сарайчик и два раза пульнули, крик прекратился.

Смершевец взял пачку в руки, повертел — на первом же листке был помещен портрет Власова, очень похожего на японца, в генеральской форме и в очках — и протянул ее мне.

— Ну, газеты тебе еще пригодятся. (Газета называлась «За Родину!»), так же, как наша фронтная, а этот кретин, наверно, полагал, что власовская газета может называться только «За погибель Родины!»)

Однако, очутившись в коридоре, я тотчас сунул всю пачку за высокую спинку дивана — сильно поумнел за время обыска и не желал дальше испытывать судьбу. Прежде тот факт, что немецкие листовки не принято обсуждать, меня как-то не смущал, я принимал мир таким, каким застал...

Меня направили назад в часть. Ко мне прилепился какой-то сержант, в Бологом несколько дней, пока выясняли наши личности, я кормил и поил его, а он в ответ лебезил и ухаживал за мной и очень проникновенно пел:

За родину, за Сталина
Упал на пулемет...

Любому его поведение показалось бы весьма подозрительным, но я был единственным сыном наместника и так привык ко всякого рода подбострастию, что не видел в этом ничего странного. Кончилось тем, что он обчистил меня до нитки и исчез.

К счастью, какой-то тип за буханку хлеба взялся обеспечить меня спасительной справкой. В справке говорилось, что я это я и «найден в бессознательном состоянии с приступом астмы сердца». Этот замечательный документ помог мне сравнительно легко восстановить комсомольский билет и избежать многих неприятностей, а главное, получить двухнедельный отпуск домой. Какой бы «липой вековой» не разило от бумажки, ей все равно поверят — только не живому человеку.

Добравшись в конце концов после всех приключений до отчего дома, я спал по двенадцать часов в сутки, и мое возвращение в действующую армию было отложено на месяц. Отдых явно был мне необходим, правда, он был не менее необходим и другим солдатам, но у их родителей не было тех возможностей, что у моего папы.

НЕ БУДЬ БЕЛОЙ ВОРОНОЙ

— наставлял меня отец, провожая на фронт, и действительно, в первые же дни я себя этой вороной почувствовал, главным образом оттого,

что не пил и не курил. Меня направили в радиодивизион и прикрепили ко мне сержанта — он учил меня азбуке Морзе. Обучение шло успешно и, желая отблагодарить наставника, я отдавал ему свою «наркомовскую порцию» водки. Однажды старшина Крячков — с лицом евнуха, бегающими глазками и большой любовью петь жиденьким тенорком под гитару — увидел, куда уходит водка и объявил: «Или сам пей, или отдавай мне — нечего тут любимчиков разводить!» Я не хотел отдавать свою водку этому прохвосту и решил «пить сам». После первого стакана я плясал, декламировал, пел во все горло, в общем, рассмешил весь взвод. Радостно-возбужденное состояние повторялось еще несколько раз после выпивок, но скоро я привык и уже не чувствовал ничего, кроме тепла, приятно разливавшегося по жилам. Я гордился тем, что могу перепить кого угодно — другие засыпали на снегу, а я держался молодцом.

Курить я тоже не собирался, и как некурящий получал вместо табака конфеты. Но когда я начал работать радистом, приходилось заступать на смену через каждые четыре часа. Такой режим очень скоро довел меня до бессонницы, однажды я попробовал закурить, и самокрутка подействовала как прекрасное снотворное — я спал как убитый. Правда, от бессонницы табак скоро перестал помогать, но зато я уже стал и пьющим, и курящим.

Однажды мне приказали зашить карманы, я отказался подчиниться: «Я вам не в юнкерском училище!» — и получил пять суток ареста. «Юнкера были brave ребята, не чета тебе!» В другой раз, проболтавшись вечер возле деревенских девчат, заснул на посту и получил уже десять суток. За что меня заперли в баню на трое суток, даже не помню, помню только, что при свете коптилки пытался читать, вошел старшина, поддал коптилку сапогом и опрокинул на книгу (а может, я «Гамлета» читал...)

Последние два года я служил в семидесяти километрах от Москвы: Кубинка-Полушкино-Васильевское в штабе 1-й радиоразведбригады «Ос-Наз». Там я окончательно спился и большую часть времени проводил на гауптвахте. Пил не закусывая, всё, что присылали из дому, — печенье, шоколад, масло — выменивал у офицеров на водку.

Однажды у меня нашли простыню — казенную, спрятал я ее между книг.

— Кто украл?

— Я.

— У кого?

— Не помню... Может, у Липшица... Или у Мерзлова...

Не поверили, решили, что покрываю кого-то.

Короче говоря, дело шло к трибуналу, но не меня ли отправляли то за тем, то за сем в Пермь, и вообще, стоило ли из-за пустяков ссориться с Гусаровым?

Отец приехал за мной, чтобы везти в Москву на банкет в честь победы, меня, разумеется, отпустили. Победа была ознаменована столь грандиозной пьянкой, что, сидя в машине, я процедил: «Я первый скажу немцам, что ты коммунист... И веревку помогу намылить...» (Как видно, я не слишком отчетливо сознавал, кто победил.) Отец велел остановить машину, выволок меня и хотел набить морду, но я оборонялся, так что в кювет мы летели по очереди — то он, то я.

Начальство решило избавить себя от неприятностей и направило меня «в распоряжение местного военкомата», то есть домой. Мы еще успели с сержантом Витей Мерзловым побить старшину и пропить немецкие часы, которые я выиграл у сержанта Лурье (он приехал из оккупированной зоны, а там можно было пожить не только часами). Позднее, как я слышал, Мерзлова разжаловали, я же до сих пор «младший сержант запаса».

МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ

Хотя образование у меня было всего девять классов, меня, как демобилизованного, приняли в университет. Не помешала, конечно, и «просьба» первого секретаря обкома. Я поступил на филологический факультет, но преподаватели, кажется, не верили, что мне действительно нужны знания. Серьезно к своим обязанностям от-

носила только «немка» и лингвист и латинист Н. П. Обнорский (старший брат академика). Им я обязан тем, что до сих пор немного разбираюсь в немецком и латыни.

Занимаясь в университете, я должен был там же сдать экстерном на аттестат зрелости. На экзамене по физике мне попался бином Ньютона. Не будучи знаком ни с биномом, ни с Ньютоном, я дождался, пока экзаменатор выйдет, и направился в кабинет ректора Мерцлина — у ректора была пышная, ученая борода. Показав свой билет, я попросил «осветить» вопрос. Мерцлин осветил, но, к сожалению, на латыни. Пришлось вернуться в экзаменационную, разыскать учебник, переписать текст и прочесть экзаменатору. Тот терпеливо выслушал, не задал ни единого вопроса и поставил четыре (не подумайте, что я был печальным исключением, в нашей группе экстернов никто не мог похвалиться знаниями, но аттестат все благополучно получили).

На следующий год я перебрался в Москву на исторический факультет (еще в Перми меня по просьбе отца перевели из филологов в историки). В одной группе со мной учился сын прокурора Жора Бидеенишвили, и если в моем аттестате четверки пересыпались троечками, то у Жоры были одни сплошные пятерки. На первой же сессии он не сдал ни одного предмета, а я целый год, пока не перешел в Театральную школу, получал стипендию (хотя, безусловно, были люди, которые нуждались в ней больше, чем я. Мах, круглый отличник, только в конце второго курса

получил официальный статут студента и стипендию). Опечаленный Жора пришел к моей маме, которую он почему-то величал панной Алексеевной, сказал, что она ему вторая мать, занял полтыщи на билет на самолет и, как «Мой спутник» Горького, был таков.

Как-то в одной из больших аудиторий, то ли Ленинской, то ли Коммунистической, у нас была сводная, обзорная лекция. Сосед подтолкнул меня и шепнул: «За нами сидит дочь Сталина». Обернувшись, я увидел рыженькую простолицую девушку со знакомыми холодными, испуганными глазами...

ПОЛОЖЕНИЕ

Вернувшись из армии, где меня научили отдавать честь старшим по званию и вообще знать свое место, я гораздо острее почувствовал свое особое положение в Перми. У меня появилась девушка, с которой я упражнялся в поцелуях и прочих навыках, и я с облегчением заметил, что она знакома со средой, что приоткрывать завесу «коммунистического» образа жизни не придется — она была дочкой заведующего облторготделом и сама хорошо все знала. Были у меня и приятели-студенты — шахматист Юра Филатов и влюбленная в меня Ира Гринблат, но их присутствием я часто тяготился и норовил удрать.

Ира ревновала меня к номенклатурной Жене, кроме того, я начал флиртовать с балериной Чу-

динской, посылал ей букетики и шоколад, а ее возлюбленный, солист балета, вместо того, чтобы надавать мне по шее и отвадить от театральных кулис, совершенно растерялся, сник и запаниковал. Ира услужливо приносила мне фотографии Чудинской, я делал на них любезные надписи и отсылал вместе с цветами, и балерина уже, кажется, готова была променять своего Аполлона на бледного неуклюжего юнца. Мне не приходилось отстаивать свои права кулаками, за мной стояло что-то, чего я старался небрежно не замечать, но день ото дня, не отдавая себе в том отчета, наглел.

Однажды в трамвае меня толкнула кондукторша, я не задумываясь ответил ей тем же, трамвай остановили, подошел милиционер, я спокойно отдал ему паспорт и удалился.

— Остановись, хуже будет! — кричал он мне вслед, но я, разумеется, даже не оглянулся.

Назавтра я зашел в областное управление милиции к Скрипнику, поиграл с ним в бильярд и, между прочим, забрал свой паспорт. Никто и словом не обмолвился о злополучном трамвае.

Мне все было дозволено: я ругался с высшими чинами милиции, обзывал их сыщиками, и всегда безнаказанно.

За годы войны у нас появился особняк — с баней, котельной, службами и милицейской будкой. Однажды я проснулся в отделении милиции и, будучи уверен, что мамиными происками меня заперли в нашей же бане, так наорал на милиционера, что тот тут же безропотно отдал доку-

менты, кучу денег, которые я выручил за подаренный МВД аккордеон, и пожелал счастливого пути. Оказавшись в одном ботинке на улице, я осознал, что это не «моя» милиция меня берегла, и, пожалуй, напрасно я так раскричался.

Юра Филатов, задержанный вместе со мной, провел в отделении целые сутки, мать его обезумела от горя, а я даже не вспомнил о друге и о том, что нужно бы и его выручить. То есть, просто полагал, что он тоже давно дома — разве наша власть может кого-то обидеть?..

Как-то ночью меня начали душить кошмары. Оказалось, что меня действительно душат, и не кто-нибудь, а родной отец.

— Советская власть тебе не нравится, сволочь! — орал он страшным голосом, а мама пыталась оттащить его.

Оказалось, что отец случайно наткнулся на наш фронтовой альманах — у нас с Володей Замковым и Мишей Серовым возникла идея записывать стихи, прозу и некоторые размышления о живописи, театре и литературе. Замков переплел альбом и на обложке нарисовал роскошную лошадиную морду. «Храм пернатой клячи» назывался альманах. Правда, один из разделов был озаглавлен «Ансамбль антисоветской песни и пляски», но это для красного словца, мы просто записали несколько безобидных острот и анекдотов: «Слушали, Постановавили и Обобрали». Как-то я глянул на бюст Ленина и сострил: «Ленин — это голова». Над бюстом висел портрет маршала Сталина (исполненный ныне заслу-

женным деятелем искусств профессором Замковым), что дало повод Мише Серову продолжить в духе Ильфа-Петрова: «Сталин — это больше, чем голова, это шляпа». Острота была немедленно записана.

Открывался альбом гимном, написанным Мишей Серовым:

Мы верные рыцари клячи пернатой,
Мы служим искусству, мы любим его:
Для нас лишь искусство великое свято,
И больше не свято для нас ничего!

Сгинь же навеки, банальность проклятая!
Пошлость и лень мы с дороги сметем.
Многострадальная кляча пернатая
Вновь назовется крылатым конем!

Мы никого не посвящали в свою тайну, а к тому времени, когда я был изгнан из части, и Замков, и Серов давно уже демобилизовались — Замков работал художником на фильме «Клятва».

Порывистый папа, увидев, что задушить меня не удастся (он еще не знал, какие сюрпризы я ему преподнесу в дальнейшем!), сорвал злость на безответном альманахе — хотя я и теперь не знаю, что в нем было антисоветского.

В армии, возмущаясь дикостью и грубостью нравов, я все-таки утешался, что война хоть и большое несчастье, но не вечное — когда-нибудь да кончится, а тогда те, кому нравится, пусть служат, а я уж пойду по гражданской части —

обрету человеческое достоинство, буду задавать любые вопросы и высказывать свою точку зрения. Правда, я и в армии надумал было отправить в Англию поздравительную телеграмму — по поводу победы на выборах лейбористской партии и Эттли, — и удержало меня только одно: такие темные люди сидели у нас в Васильевском на почте, что международная телеграмма была им просто не по уму.

И вот, оказавшись наконец дома, я мог с удовлетворением констатировать, что, действительно, все со мной считаются, внимательны и предупредительны. Отец был кандидатом в депутаты и приехал в университет, где я учился, выступить на предвыборном собрании. Говорил он горячо и уверенно, оратор он был пылкий, до выступления и после зал аплодировал стоя, я тоже аплодировал вместе со всеми, однако был смущен: ни профессор Захаров, ни ректор Марцлин, ни даже академик Тарле, в сорок втором году выступавший в обкоме, таких оваций не удостаивались, хотя вроде бы не глупее они были моего отца, излагавшего сплошь одни передовицы и ничего кроме.

В день выборов я поднялся до рассвета. Нужно было проголосовать как можно раньше, чтобы успеть на свой участок, — я был агитатором. Множество людей, невыспавшихся, с серыми лицами, спешили проголосовать, хотя было еще совсем темно, и я не мог понять, куда это они так торопятся: все, что ли, агитаторы? Профессор Боголюбов рассказал, что в одном округе

какой-то ненормальный самостийно выдвинул кандидатуру и пришлось долго уламывать его, чтобы снял. Боголюбов возмутился столь диким и нахальным поведением. А в общей массе люди были дисциплинированны, подтянуты, даже кротки, но я как-то не хотел задумываться, отчего это и какой ценой достигается. Мне было двадцать лет, у меня была первая в жизни подружка, мы целовались с ней на любых перекрестках, и одет я был потрясающе: у меня было кожаное американское пальто, входившее в комплект амуниции шоферов «студебекеров». Бедность других студентов меня не трогала, а если случалось ловить на себе косые взгляды, так я относил это за счет собственной экстравагантности и вызывающих манер моей бесшабашной возлюбленной.

ПРОХОД ВСЮДУ

Летом 46-го года мы все вернулись в Москву. Папа еще с весны был назначен инспектором ЦК (Новый пост. Когда я спрашивал, что это значит, отец гордо пояснял: «Личный представитель Сталина»), ему отдали квартиру в Староконюшенном, которую прежде занимал Н. С. Патолычев. Лето мы провели на даче в Пушкино — низ занимали Жаворонков и Задюченко, а наверху, кроме нас, должен был отдыхать академик Г. Александров, но он почему-то ни разу за все лето не приехал, так что там обитали толь-

ко мы с отцом вдвоем — мама осталась в Москве.

На одной из дач жил тихий неприметный старичок, ни с кем он не разговаривал — поест и молча уходит к себе. Я предложил ему сыграть в шахматы, он согласился, я выиграл. Я решил поинтересоваться, кто же был моим противником, и спросил у отца:

— Что это за старик?

— Это заслуженный старик, — объяснил папа в присутствии Сулова и еще не расстрелянных ленинградцев Попкова и Штыкова. — Он Ленина охранял.

Зимой я шёл после лекций вместе со своими однокурсниками-историками и повстречал на Моховой «заслуженного старика». Я поздоровался, и мы даже перекинулись несколькими фразами насчет погоды и здоровья.

— Ты знаешь, с кем ты разговаривал? — спросил меня один из приятелей. — Это же член Государственной думы от большевистской фракции — Матвей Константинович Муранов! Его шинель висит в музее Революции.

«Вот это да!» — подумал я тогда, а размышляя на эту тему позднее понял, что явилось поколение новых вождей, для которых вся история большевистского переворота заключается, главным образом, в охране Ленина и Сталина.

Однажды — я возвращаюсь к нашей жизни на цеховских дачах — отец предложил мне пройти до завтрака по лесу — вместо зарядки — и вдруг сказал: «Сядь, сынок, поговорим. Мама

требует, чтобы я прописал ее на Соколе, не хочет жить с бабушкой, а я мать не брошу. Решай, где ты будешь жить». Я сказал, что с ним.

В конце лета мама все-таки приехала к нам на дачу, пробыла недолго, тут же собралась обратно, но вдруг заплакала в голос и бросила мне в лицо: «Променял мать на машину и водку!» Я был убит, подавлен, утешал ее, как мог, и заверил, что буду жить там, где она. Так вышло, что мы вернулись в свою старую квартиру на Соколе, несмотря на то, что отец уже прописал меня в Староконюшенном. Что касается машины, то я, хоть и покинул отца, тем не менее частенько ею пользовался. В ту пору в Москве было не больше тридцати-сорока ЗИСов-110, разъезжало на них, в основном, Политбюро, но отец не забывал присылать нам на Сокол продуктов с одним из шоферов — сам он не появлялся...

Будучи вторым по весу инспектором, папа ущемил своим докладом Хрущева. Они сцепились на совещании, Никита спросил отца, для чего у него голова, но отец недаром занимал свой высокий пост, он не растерялся и тут же парировал: «Не для шляпы!» Хрущев обозвал папу тыловой крысой, но после совещания цекисты потихоньку подходили к отцу, жали руку и говорили, что лет пятнадцать такого не было. (Год после этого вместо Хрущева был Каганович.)

Ободренный успехом, папа надумал сразиться и с Багировым, но тут он сам обжегся. Когда отец начал пенять Багирову на «непартийное»

поведение и прочие недостатки, тот просто подошел к вертушке, снял трубку и сказал Сталину: «Слушай, Иосиф, убери ты от меня этого дурака!» Убрать папу не убрали, но поставили на место — он и вообразить себе не мог, что существует кто-то, кто смеет называть Сталина на «ты». После такого потрясения отец напился на даче, швырял пустые бутылки на клумбу под окном и в отчаянии повторял одно и то же слово на букву «г».

Тем же летом отец возил меня на физкультурный праздник на стадионе «Динамо». Я узнал Готвальда — он был румян и довольно попыхивал трубкой, а Массарика я поначалу принял за постаревшего Берию, было видно, что этого человека совершенно не радует грандиозное массовое действо, на его лице не отражалось ничего, кроме страдания, так что я даже подумал: «Уж не последует ли Лаврентий Павлович за Щербаковым?» Когда я прочел потом в газете, что Массарик выбросился из окна, я нисколько не удивился — чего еще можно было ждать от человека с таким выражением лица.

По трибуне вдруг быстро-быстро задвигались молодые серые в штатском, потом они отступили и появился Сталин — седой, в мундире, один, медленно подошел к барьеру и остановился — ни улыбки, ни жеста. Стадион взревел. Я тоже ревел и чувствовал непередаваемый, ни с чем не сравнимый восторг, но в то же время успел как будто увидеть себя со стороны и усом-

ниться: неужели это я так кричу? И еще заметил: у Сталина все время бегали глаза...

Во втором тайме «Динамо» с минимальным счетом выиграло у югославской команды «Партизан».

Все лето на дачах играли в бильярд, моим партнером был Попков. До этого я видел его в кинохронике, там он выглядел сухощавым и высоким, а в жизни оказался брюнетом ниже среднего роста и лучше всех забивал «свой» шар. Рассказывали, что ленинградцы с мастерами тренируются — играют на шампанское. Действительно, москвичам до них было далеко. Однажды мы играли двое на двое — Суслов с сыном и папа со мной. Не помню, кто выиграл, но помню, как все оживились, когда нам принесли пива с воблой (в столовой не хватало только птичьего молока). Кто скажет, что у наших руководителей отсутствует живая связь с народом!

Отец нервничал, когда кто-нибудь спрашивал: «Почему жену не привез?» Особенно приставал некто Крюков (АХЧ). Наверно, папа для того и держал меня при себе, чтобы выглядеть семьянином.

Он был членом Президиума Верховного совета СССР и у него имелся пропуск, на котором большими буквами, наискосок, было написано: «Прход всюду», однако не помню, чтобы он когда-нибудь забирался на мавзолей. Видно, имелся еще неписанный закон.

Как-то мы с папой смотрели футбольный матч на стадионе «Динамо». В правительственной ло-

же сидел один Каганович. Я принялся подначивать отца, что ему «слабо» будет сесть рядом. Он молча поднялся, направился в ложу и оттуда бросил на меня победный взгляд: «Ну что, видал?» Я заметил, что с Кагановичем он не поздоровался, наверно, не решился, очевидно, привилегией старшего по званию было заметить или не заметить соратника, а Каганович, я думаю, деликатностью не страдал.

ОШИБКИ

Весной 47-го года отец поехал принимать Белоруссию. П. К. Пономаренко оставался некоторое время председателем Совмина, потом его взяли в Москву и его же прислали в пятидесятом ревизором — изобличать совместные промахи — и папу сняли.

Первую ошибку отец допустил, еще не успев выехать из Москвы: пригласил министром КГБ одного из заместителей Берии генерала Н. С. Сазыкина, которого не утвердили, — на этом посту находился племянник Берии Цанава.

Папа вообще был несколько наивен, например, он выписал из Перми своего бывшего помощника — чтобы тот готовил ему доклады. Возможно, он даже полагал, что остальные пишут свои доклады сами, и только он один так ловко устроился.

В то же самое время, когда отец направлялся в Минск, в Киев выехал Каганович с Патоличе-

вым и Хрущевым (дорого обошлась отцу впоследствии «принципиальность»). Отец хвалился своей скромностью: «Я вагоном еду, а Каганович спецпоездом». Белоруссию называли «третьей среди равных». (Хорошо звучит «последняя среди равных».)

В один из приездов отца в Москву я пошел к нему, увидел на вешалке в передней женскую шубку, повернулся и ушел, не поздоровавшись и не попрощавшись, хотя дверь открыл он сам. Несколько лет мы не виделись. У отца в это время родился внебрачный сын Саша, порядочный обалдуй, как мне кажется.

ОПЯТЬ ТЕАТР

Отец о театральном образовании и слышать не хотел: «Кончай университет, тогда делай, что хочешь», или еще категоричней: «Кончишь университет — устрою в высшую дипломатическую школу». Двоюродный брат Славка, в то время уже студент Института международных отношений, тоже поучал: «Слушайся отца. Что такое актер? Актер — это лакей, кто прикажет, перед тем и выламывается. Кончишь дипшколу — для тебя актеры будут играть!» Увы, актеры, действительно давно превратились в лакеев, но не одни актеры...

Разрыв родителей ослабил опеку отца, я более не находил для себя обязательным считаться с его мнением и бросил университет — в надежде

поступить в театральную школу, но для начала уехал на два месяца в Сочи. Чекист Лосев, начальник пермской спецроты, удивился, почему меня устроили в институте имени Сталина (бальнеологический курорт), а не в санатории «Белорусь». Он потащил меня туда, мне, разумеется, устроили горячий прием и уговаривали перебраться совсем, но отец неожиданно этому воспротивился.

— Чем тебе не нравится институт Сталина?

Я засмеялся.

— Ко...кормят плохо... (Дежурная у телефона ахнула.)

— Хорошо, я скажу, чтобы о тебе позаботились, но в наш санаторий не переходи, ты мне руки свяжешь — скоро туда нагрянет ревизия, а спишут на тебя.

Наверно, ему не хотелось, чтобы до меня дошли слухи о его личной жизни. Мое желание перебраться в санаторий объяснялось, конечно, тоже не стремлением питаться еще лучше — просто ко мне приехала моя московская возлюбленная Эдда Таракьян. Мы жили на Соколе по соседству и даже учились когда-то в одном классе. Хотя я занимал в институте Сталина отдельную комнату в гинекологическом (?!) отделении, но с какими-то правилами должен был считаться. Отец поговорил с директором института В. К. Модестовым, и тот отвел нам с Эддой комнату с видом на море в собственной резиденции, правда при этом добавил не совсем любезно:

— Ну вот, теперь можете...

Здесь меня не беспокоили, даже если залюбовавшись морским пейзажем я забывал выйти к обеду. (Женщина-шофер однажды сделала мне комплимент: «Замучил девчонку — идет и пошатывается, я уж подвезла ее до Новой Ривьеры».) Поправлялся и выглядел я намного лучше, чем в первый месяц, когда моей черненькой подружки не было.

В Москву я возвращался на служебном самолете маршала авиации Вершинина, — мой армейский дружок, Володя Замков, метил ему в зятья.

В середине октября по просьбе постпреда Белоруссии Абрашимова меня прослушали Н. К. Свободин и В. В. Готовцев, и я был принят в театральную школу. Одновременно со мной читал абитуриент с ценным социальным оттенком, но всего лишь девятью классами образования — его не приняли. Руководство училища мечтало о вузовском статусе, и принять человека с незаконченным средним образованием было для них все равно что расписаться в собственной неполноценности. Я же небрежно бросил: «Два курса университета».

Впервые в жизни я учился с охотой, даже с восторгом, старательно и успешно — был отличником по всем спецпредметам, кроме танца — с пластикой дело обстояло неважно, при ходьбе я ставил носки внутрь и никогда не знал, куда девать руки.

Если бы не чрезмерная молодость, я, наверное, мог бы с успехом играть и фатов, и героев,

но внутренне всегда чувствовал тяготение к ролям неврастеников, к сожалению, в советском театре этого амплуа не водилось, особенно в те годы. На втором курсе я сыграл Чичикова, а затем Обломова (на экзаменах строжайше запрещено было аплодировать, но нам с Сашей Гавриловым, он играл Захара, аплодировали долго-долго). В стенах школы мы проводили по двенадцать часов, но это никого не тяготило. Меня прочили в знаменитости.

Наш педагог по марксизму А. Ф. Коробов страдал тремя недостатками: когда-то был сотрудником Бубнова, до пожилых лет увлекался женщинами и всю жизнь мечтал организовать «Театр революционной романтики», чем ввергал в постоянный страх директора и художественного руководителя В. В. Готовцева. Из студентов Коробов намеревался создать коллектив, который понесет в народ веру и пламень. Конечно же, я тут же откликнулся на эту идею.

Каким-то чудом, после всех обысков, в книге застрял листок, я воспроизвожу его текст полностью, но прошу быть снисходительными — написано в сорок восьмом году. Умные люди, может быть, и говорили что-нибудь такое за бутылкой, но, разумеется, не зачитывали публично, как сделал, по своей крайней наивности, я. К счастью, остальные тоже не поняли, на что я поднимаю руку.

Мысли о новом театре. У отдельных лиц и целых коллективов возникает идея нового теат-

ра, романтического. Для существования такого театра нужны не столько приподнятость, яркость — то есть, средства, — сколько особенный градус восприятия, свой угол зрения. Но коллективы не имеют своего кредо, а если имеют, то спущенное сверху, с резолюцией: к исполнению.

Все проблемы, которые перед нами ставятся, далеко не новы. Для того, чтобы театр имел свое лицо, необходима единая вера, единый заряд, проблема, одинаково притягательная для всех, для большинства. Нужно, чтобы идея спектакля была почувствована так остро, как она еще никогда не воспринималась.

Не нужно бояться однобокости, ибо всякое мнение субъективно, если размазать его на десять «но», приближая к объективной истине, будет неинтересно. Если мы современный театр, то должны откликаться не на любые события, а только на «извечные» — для своего театра. Константин Симонов всегда актуален, но его вещи можно было бы приписать кому угодно, если бы не указание на авторство. Круг тем Эренбурга ограниченной, он не всегда злободневен, зато у него свой творческий профиль, как принято говорить на театре. Вокруг него группируется определенный читатель.

Лучше быть МХАТом и не братья за Шекспира и Шиллера, чем Театром Юного Зрителя, который «отделает» вам все, что угодно.

У нас много газет, и все они ужасно походят одна на другую, а главное на одну известную

всем газету, тогда как «Вечерка» имеет и свою форму, и свое содержание. Или та же «Литературная газета».

Хотелось бы видеть театр воинствующего коммунизма, а не театр, приспособившийся к сегодняшнему дню. Вместо того, чтобы рабски выполнять задачи, которые сегодня ставит партия, нужно идти дальше, быть, так сказать, «большими роялистами, чем король». Но это возможно лишь при условии, что коллектив будет состоять из единомышленников, а не счастливчиков, прошедших по конкурсу. Но и тогда остается опасение, что «горячих дюжина голов» ничего не сумеет осуществить — всякий оригинальный театр, тем более романтический, возможен только там, где позволено допускать творческие и даже политические ошибки, ибо великое рождается в борьбе противоположных начал. Там же, где этого нет, художник обречен на участь Дон Кихота воевать с ветряными мельницами.

Возникает вопрос: не с потолка ли взята идея романтического театра?

Этой фразой заканчивается воззвание. Клянусь, я не знал, что это антисоветчина!

КРИЗИС

К четвертому курсу я как-то выдохся, снова стал пить, женился, нужны были деньги, летом я не отдыхал, а «халтурил», подкрадывалась

ото всего этого усталость, а водка как будто снимала ее.

Известный педагог В. П. Марков однажды сказал на репетиции в моем присутствии — я подремывал, поднагрузившись: «Жалко. Талантливый человек, но ничего из него не получится». Правда, и репетировал я спившегося Мишу в «Зыковых», «вживался» в образ. Вживаться было не сложно: отец Миши, Антип, не верил в сына, не любил, ревновал к молодой жене, старался всячески унижить. Хотя в нашем случае ревновал, конечно, не отец, а я. Узнав, что я уже не единственный сын, я никому об этом не сказал, но иступленно мечтал о мести: порою мне грезилось, что я убиваю отца или оскорбляю смертельно (папу очень трудно смертельно оскорбить). Я мечтал, что вот стану великим актером, «чтоб громкою молвою все, все вокруг звучало обо мне», и сменю фамилию — Алексеев, чем плохо? — скромно, но кто понимает... Нет, не доставлю ему удовольствия погордиться!..

К несчастью, мне еще постоянно напоминали об отце. Н. К. Свободин, репетируя «Девушку с кувшином», указал на меня, как на удачный пример:

— Вот вы все знаете студента Гусарова, а кому из вас известно, что его отец — секретарь ЦК Белоруссии? (В пьесе высокородная донна притворялась служанкой.)

После этого студенты один за другим подходили ко мне и спрашивали, правда ли? Я бормотал в ответ что-то невнятное.

В другой раз нас повели в Театр Советской армии на «Южный узел» Первенцева. Сталина играл Державин, точнейшая копия вождя с теми же холодными, мертвыми глазами. Сталин-Державин разговаривал по телефону со Свердловском (с Андриановым) и медленно и четко произнес: «Патоличев обещал танки, а Гусаров заверил, что и артиллеристы не подведут». Сосед толкнул меня в бок: «Не о твоём отце речь?» Я покраснел и, запинаясь, признался, что о моем.

Готовцев побывал у отца на Староконюшенном с визитом в надежде предотвратить слияние училища с ГИТИСом, мне пришлось устроить эту встречу. Бабка подала какие-то неказистые яблочки, Владимир Васильевич чинно очищал яблоко ножичком (у нас никто так не делал) и степенно излагал суть дела.

В пятидесятом году над папой разразилась гроза. Он потерянно бродил по квартире,пил валерианку и жаловался на несправедливость:

— Один министр сказал, будто я критику зажимал, а сам как есть первый подхалим, вечно телеграммы слал. Я у него корову конфисковал, он на рынке молоком торговал, вот и весь зажим...

Много позднее Шепилов рассказал мне, что им объяснили, будто отец «потерял инициативу».

Его снова назначили инспектором, но это было уже падение, а не взлет. Теперь ему приходилось много ездить по стране. Милейший Владимир Васильевич однажды остановил меня в коридоре училища и спросил:

— Где теперь папа?

— В Сибири.

— Что?! — старый актер, игравший когда-то Алешу Карамазова в МХАТе, отскочил от меня на три метра.

Перед самым выпуском нас все-таки слили с ГИТИСом. Я был обременен семьей, предоставлен сам себе, навыков «пробиваться» не имел ни малейших, и потому принял первое же предложение — ехать в Рязань в Театр юного зрителя. Жена с маленьким сыном остались в Москве. Другие ребята «показывались» в столичные театры, да что там ребята, крупнейшие актеры провинции не считали для себя зазорным «просматриваться» в Москве, я же был слишком горд для такого «унижения» — как-никак, мой портрет украшал апрельский номер «Огонька», меня не раз вызывали на кинопробы (это было время «Сказания о земле Сибирской» и «Кубанских казаков», по всем студиям страны в год снимали 5-6 фильмов, тот фильм, в котором я должен был сниматься, зарезали, а устраиваться на телевиденье никто не догадывался — по всей Москве телевизионные антенны украшали всего несколько домов).

С нашего курса актерской карьеры не сделал никто, кроме Бориса Рунге (пан Профессор).

НОЯБРЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ

Чтобы не углубляться, я не стану рассказывать

о первой женщине, но там было все нормально: мне было шестнадцать, ей двадцать восемь. Со второй произошла осечка — свидание состоялось в казарме, мы пугались каждого шороха, и все дальнейшие встречи тоже были лишены поэзии, я думал только о том, как обрести форму. Неудача наложила отпечаток на всю жизнь. Женщины не обижались и соглашались на новые попытки — мужчин не было, мужчины погибли в войну...

Эдда Таракьян (до чего же я не люблю это двойное «д»!), в отличие от моей пермской подружки Жени, выглядела явно не способной «урвать свое», зато сама она была лакомым кусочком: стройная, смуглая, с правильными чертами лица, красивым телом и великолепными ногами (на последнюю деталь мое внимание обратил Володя Замков, специалист по живописи и графике). Характер и манеры Эды тоже были самые милые, но в моих глазах она обладала одним весьма существенным недостатком — мы были ровесниками, как мама с папой, а нам всегда кажется, что мы не повторим ошибок родителей.

Год мы привыкали друг к другу, но когда Эда переходила на третий курс медицинского института, она могла готовиться к экзамену по анатомии не только по учебнику. «Максимус глютеус», — шептала она, проводя рукой уже не помню по чему... Я записал в тетрадке на полях (тетрадь содержала стихи Баркова) цифру 8 — она спала, а я в костюме Адама сидел за столом. И все-таки каждой новой встречи я ждал со стра-

хом — а вдруг сегодня я не смогу? Если Эда опаздывала, а это случалось часто, я нервничал невероятно, поминутно смотрел на часы — ведь надо было «успеть», пока мать повышала свою квалификацию на каких-нибудь очередных курсах. И осечки, действительно, случались, хотя более красивой женщины я себе не мог представить.

Я очень привязался к Эде, а все-таки продолжал думать: южные женщины рано увядают, чем это все кончится? Три аборта не шутка, в сорок лет она будет старухой. Отец в подпитии качал головой: сынок, не женись рано... Но и не слишком поздно... (Из чего я заключал, что и во втором браке он не очень счастлив.) Впрочем, я не особенно беспокоился о будущем: Эда кончит институт, в Москве она, по ее собственным словам, работы не найдет, придется куда-то ехать, вот все и развяжется само собой.

Когда она кончила институт, выяснилось, что у ее матери рак груди и метастаз в позвоночник. Дочь не могла уехать, когда дни матери были сочтены. Это явилось первой поправкой к моим соображениям, а вторая заключалась в том, что у Эды появился другой любовник, староста их курса Ю. Пушкарь, настоящий мужчина — взгляд пронзительный, руки железные, а анатомия такова, что Эда сознание теряет. Мне оставалось только радоваться, но я загрустил — хорошо, если он женится (он уже представлялся родителям, я же их избегал, как кошка, полакомившаяся чужим мясом, боялся в женихи попасть), но

простит ли он ей прошлое, будет ли всегда любить — она стала такая бледненькая, морщинки появились, а ведь это — моя вина... Моя вина, а расплачиваться ей... В Егорьевске на практике делала аборт — выкинули первого сыночка на помойку — кричала от боли, но мне ничего, ни слова, только «мамочка, мамочка, помоги!..» Потом долго перебинтовывала груди, чтобы провести мамочку. И особенно льнула ко мне — вместе быть нельзя, но все-таки умудрялись.

В праздники моя мать всегда с раннего утра и до позднего вечера на демонстрации — возвращается без ног. А мы, пользуясь её отсутствием, целый день барахтаемся на полу, застеленном одеялом, под жизнеутверждающую музыку сводных духовых оркестров. И 7 ноября сорок девятого года я ждал Эду, но теперь я не готовился к встрече, как чемпион к старту, не постарался выспаться, не думал о гарантиях, я просто ждал, и пил, не закусывая, поскольку сердце ныло, и ревел в одиночестве. Я знал, что никто не может мне помочь, как никто не сведет чужих поцелуев с ее близкого, родного тела...

И вот она пришла — в последний раз! — и ничего мне больше не нужно, слепыми от слез глазами я не вижу, как она раздевается, ничего не прикидываю, не смотрю на часы, она уходит навсегда, так пусть она по крайней мере знает, что я тоже любил, тоже мучался... Совсем недавно родилась живая девочка (Эда вечно затягивала аборты), но врач, понимая ситуацию, слиш-

ком долго мыл руки... И я не пришел к ней, не упал на колени!..

Когда мужчина любит женщину, он даст ей все, кроме отдыха, и я в тот день не был исключением. И вот она опять спит, но некому подсчитывать и записывать успехи, я смотрю на нее — морщинки, даже конопушки какие-то появились, мордочка распухла от слез, нос удлинился некрасиво... Не до Барковской порнографии, я напеваю тихо: «Долго пил солдат...»

Потом начались признания, оба злорадно и отчаянно признавались в изменах.

— Дубровин? Как ты могла!

— А ты как мог? Платочком Марусе лицо закрывал?

Мы хлестали горе чайными стаканами, я горько упивался звучанием бездонных слов — навсегда, никогда... Но многоопытная тетя Зина предсказывала, что это вовсе не конец, а только начало. И действительно, Эда уже снова поглядывала на меня: «Бедненький, отобрали игрушку».

П. П. Улитин, переживший тридцать седьмой год не в пионерском лагере, назвал подобную ситуацию коньячной. Он считал, что в жизни артиста такие встряски необходимы не два-три раза (как у меня), а по крайней мере раз в два-три года. Он прав, тогда я научился передавать на сцене такие душевные движения, о которых раньше и не догадывался, откуда-то появился темперамент, широта. На занятиях по вокалу я выбрал «Сомнение» Глинки и у меня в глазах темнело от сто раз слышанных прежде слов:

«Мне снится соперник счастливый...» Еще я полюбил входивший в моду стараниями Козловского старинный романс на слова Тютчева:

Как поздней осенью, порою
Бывает день, бывает час,
Когда повеет вдруг весною...

Я не только отличал Эдин звонок от всех прочих, но и на улице не мог столкнуться с ней случайно — непременно сначала нахлынет предчувствие...

18 ноября для меня повеяло весною — я повел Эду в загс (прямо из чужой постели). Нам дали неделю на размышления. Может быть, следовало дать год? А впрочем, стоит ли сокрушаться, кто знает, не было ли бы что-то иное во сто раз хуже... По крайней мере, есть сын.

За несколько дней до Нового года мы перетаскивали Эдины вещи ко мне, провозились допоздна, раскладывали, убирали, так что я свалился без задних ног и не вспомнил, что это наша первая брачная ночь — ночь, а не день и не вечер, как прежде, потому что хоть наша связь давно ни для кого не была секретом, но под одной крышей мы спали впервые. Потом я почувствовал сквозь сон, как что-то нежное и теплое прикоснулось ко мне — раньше я никогда не видел женского ночного платья — и я прижался к ней, даже не просыпаясь, и словно провалился куда-то, и так всю ночь — не спал, а терял сознание...

Утром я вышел на улицу и от свежего воздуха действительно хлопнулся в обморок, правда, скоро пришел в себя.

МОПР

— Майзель! Понимаете, Майзель, — сказал Юрка Багинян. — Сама фамилия за себя говорит!

Я дал ему публичную отповедь (хотя и не назвал по фамилии) и ребята согласились со мной, подходили и спрашивали:

— Кто это сказал?

А Егор Эджубов даже воскликнул:

— Юрка? Вот гад!

Галя Майзель, первая жена пана Профессора (кстати, по паспорту русская), не отличалась ни отзывчивостью, ни сердечностью (в чем я имел возможность позднее убедиться), но я всегда был уверен, что фамилия не может «за себя говорить», и горжусь, что по мере сил отстаивал свои взгляды.

— Ты никогда не слышал слова МОПР? — укорял я на первом курсе Толю Судзана и заставил всех своих сокурсников вступить в эту организацию, но очень скоро понял, что зря старался, — МОПР оказался богадельней, филиалом Красного креста и к эмблеме — решетка с протянутой рукой — никакого отношения не имел.

Активистка показала мне альбом, который запечатлевал раненных советских солдат в тот

момент, когда им преподносили конфеты, читали и даже что-то вышивали для них. И я, как ни силился, не мог понять, какое отношение имеют раненые, защищавшие свое государство (даже такое прекрасное и справедливое, как наше), к узникам (которые в моем представлении страдали за свою мужественную борьбу с приспешниками капитала). Допустим, мы не можем послать что-нибудь самим заключенным, тогда следует помогать их семьям, чтобы хотя бы дети не голодали. Раздираемый недоумением, я написал Сталину (в письме я коснулся и других, мучавших меня проблем, как-то: почему глушат иностранное радио? Разве не должны мы знать лицо классового врага? Почему советским солдатам запрещены контакты с населением оккупированных стран? Разве могут комсомольцы и коммунисты спокойно отдыхать в казармах, когда вокруг идет идеологический бой? Сам я неоднократно переписывал по-немецки «Интернационал» и в эти листки заворачивал хлеб, который подавал пленным. Немцам, очевидно, так нравился «Интернационал», что они стали при любой возможности приходить и стучать в нашу дверь на улице Саврасова). Ответа на письмо не последовало. Кто-то берег отца. Я не успокоился и написал Сулову. Но с тем же результатом. Через несколько месяцев МОПР упразднили.

КРИЗИС РАЗВИВАЕТСЯ

Вспоминать свою глупость скорее досадно, нежели смешно, но если такой гигант как Солженицын не распознал природу строя и попался на мякине — письма другу пописывал, то что уж обо мне говорить. Я никогда не слышал критики в адрес режима, никто даже из самых дальних моих родственников не подвергся репрессиям, личный мой опыт был ничтожен, к тому же по природе своей я не критикан. Я не был рабом режима, напротив, я был его сторонником и защитником, я был им воспитан и беспокоился за его судьбы, а если время от времени и откалывал какие-нибудь номера, то исключительно по причине своей крайней наивности и неосведомленности — как с неба свалился... Конечно, кое-что достигало и моих ушей, в университете нудному профессору Юдовскому постоянно слали анонимные записки о генеральшах в собольих шубах, и он в осторожных выражениях разъяснял тезис: по способностям и по труду (по «труду»!). Но у моей мамы тоже была каракулевая шубка, и я не видел в этом ничего страшного, я знал, что дача у отца казенная, и мебель тоже казенная — значит, до тех пор, пока не слетит, а с высокой горы падать больней... Еще я знал, что трудящимся является и банщик, и его клиент, только в разное время, и вообще моя совесть в этот период находилась в гораздо более спокойном состоянии, чем в детстве, когда я был богаче Карлуши на стакан молока и двадцать граммов масла.

Я знал, что Борьке Рунге и его брату Сакко приходится голодать, но ведь студенчество — последний рубеж перед благополучием (кстати, в данном случае так оно и вышло — Боря сейчас заслуженный артист, а Сакко (Сокол) преуспевающий литератор и большой щеголь), мама сочувствовала братьям — они еще в детстве остались без родителей, и иногда старалась подкормить. Другим жилось не так тяжело. Однажды я, неловко повернувшись, толкнул Тамару Щетинину, ее будущий муж Дима Бородин покачал головой и протяжно изрек:

— Чем хвастаешься? Тем, что лучше ее позавтракал?

Но Тамара и тогда была весьма упитанна. А мой лучший друг в училище, с которым я встречаюсь и по сей день, хоть и ходил оборванный, но свой единственный бутерброд всегда готов был выменять на рюмку водки.

На первом курсе арестовали поэта Фидельгольца. Вызывали его закадычных друзей Цисляка и Иванова, по их словам, они старались своими показаниями не повредить подследственному. Открыто происшествие не обсуждалось, правда наш директор Борисов при случае намекнул, что мы плохо знаем тех, кто живет с нами рядом. Ходил слух, что Фидельголец сотрудничал в рукописном журнале, критиковавшем Жданова и литературную политику партии. Мы утешались тем, что ничего не знаем, вот разберутся, тогда выяснится, что к чему. Время шло, и про Фидельгольца все дружно забыли, никто никогда не

поинтересовался, как там «разобрались», увидели мы его много лет спустя, он рассказывал, что спасся тем, что выдал себя за «лепилу» (то есть, фельдшера).

По Би-Би-Си выступил сбежавший за границу полковник авиации, бывший парторг академии Жуковского (после его речей и начали глушить), я ходил подавленный, но не умел ни с кем поделиться, да и с кем я мог делиться, когда сам был штатным политинформатором?

Я слышал, что в институте международных отношений один еврей, да и тот зять Сталина, но этому факту опять-таки находилось объяснение: фактически у нас нет еврейской республики, поэтому евреям некого представлять «среди равных».

Еще в военные годы я заметил, что антифашистская пропаганда превратилась в антинемецкую, но после статьи «Товарищ Эренбург упрощает» успокоился.

Для экзамена по речи я выбрал стихотворение К. Симонова «Немец» и читал его, дополнив куплетом из Эрнста Буша по-немецки, чтобы создать образ интернационального певца и трибуна. Получил пятерку, а главное, товарищи подходили и жали руку, почувствовав, что это мое, наболевшее. На вечере, посвященном памяти Зои Космодемьянской, я возражал героине, якобы записавшей в свой дневник слова Кутузова: «За одного русского я десять французов не возьму».

— Дорогая Зоя, — воскликнул я пылко, — в данном случае ты пила не из лучшего источника!

(Из каких источников и кто пил, вообще сказать трудно — дневники Зои до сих пор не изданы и существовали ли они в природе, теперь не дознаешься. Я разговаривал с одноклассницей Космодемьянской, по ее словам, Зоя была замкнутой, затравленной девушкой, нелюбимой в семье и в свою очередь ненавидевшей мать. Что касается отца, то тут полное отсутствие сведений (уж не еврей ли?). В страстной речи я напомнил собравшимся, что люди делятся не на нации, а на классы. Ярослава Домбровского сочли предателем только потому, что он не был французом. Закончил я свое выступление фразой:

— У коммунистов отечество там, где идет бой за справедливость!

Мне, конечно, дружно аплодировали, но старшие — А. Ф. Коробов и Миша Маршак (один из руководителей университетского студенческого клуба) — пожурили меня. Позднее, в разгар борьбы с космополитизмом, Коробов вспомнил мое выступление.

— Член комитета Гусаров допустил космополитическое высказывание, — заявил он с трибуны, — а член комитета Бородин его не поправил!

Нужно знать Диму Бородина — это человек явно не способный кого бы то ни было «поправлять». Случалось, что мы, готовясь к экзаменам, неделями жили с Димой под одной крышей, но о политике он никогда не заикался. Его отец был председателем юридической комиссии Временного правительства (в которую, кстати, входил и Вышинский) и собирался предать Ленина

суду (но не успел). Когда власть переменилась, Бородин не стал вступать с ней в конфликт и ему посчастливилось умереть своей смертью (как и некоторым другим, например, последнему шефу жандармов Джунковскому).

Дима всегда упорно трудился и сейчас трудится, любит театр, политики избегает, вступил в партию, чтобы уравновесить пятый пункт своей второй жены и чтобы роли, наконец, давали.

НЕ ТОВАРИЩ СТАЛИН,
А ЁСИФ ВИССАРИОНОВИЧ!

— ревностно поправляла каждого наша преподавательница по политэкономии, пожилая еврейка. Она любила образные выражения, вроде:

— Капиталист высосал прибавочную стоимость из пролетария!

Можно себе представить, какую радость доставляли эти перлы студентам театральной школы и с каким восторгом ее пародировали и передразнивали. Однажды она с гордостью рассказала, что и во время войны никогда не ходила на рынок — чтобы не поощрять частный сектор. Помнится, я подумал тогда, что в нашем поколении таких идиотов уже нет.

На одном из семинаров разбитная Анька Потапова (в будущем одна из жен Коробова) как-то особенно ловко скопировала акцент нашей преподавательницы и ее манеру выражаться. Почувст-

вовав, что аудитория тихо плывет от хохота, педагог обиделась:

— Аня, я з Украины, у меня акцент, но вы почему так говорите?

С этого дня ее «украинский» акцент стал притчей во языцах, и невозможно было не заметить, что именно он сделался предметом всеобщей потехи, а не сами нелепые и верноподданнические высказывания. Над ней издевались, понимая, что это можно и своевременно. Однажды, оставшись с ней наедине, я спросил:

— Неужели Гомулку арестуют? Он ведь признал свои ошибки...

Она горько ответила:

— Я тридцать лет в партии и уже ничему не удивляюсь... — и вышла из аудитории, постаревшая и одинокая, как моя мама.

Когда с подобным вопросом я обратился к лектору Олешковичу: — «Неужели Беблер шпион? Он же в Испании сражался!» — бравый пропагандист ответил иначе:

— Там его и завербовали!

Между тем приближалось великое торжество — семидесятилетие «не товарища Сталина, а Ёсифа Виссарионовича». По этому поводу я произнес с трибуны речь, пообещал в честь юбилея учиться на одни пятерки, но не назвал вождя мирового пролетариата ни великим, ни гениальным. Хорошо, что никто не подсчитывал количества эпитетов, а в крайнем случае можно было бы сослаться на то, что говорил я не по бумажке.

На курсе я сделал доклад по Фейхтвангеру («Москва 37-го») и был награжден аплодисментами. Думаю, что Фейхтвангера читали не более чем два-три человека, а уж взяться за доклад никто, кроме меня, не решился бы.

Зато когда я принялся рассказывать какой-то анекдот, слушателей как ветром сдуло. Волгоградский, у которого отец сидел (именно за анекдот) сделал весьма выразительный жест — «постучал» по воздуху костяшкой пальца. Теперь это покажется странным, но тогда я не понял, что сие должно означать. Я был счастливым человеком — занимался любимым делом, верил в свой талант и обожал «Варшавянку». И только изредка замечал, что многие вокруг не ищут ничего, кроме спокойной жизни.

СЕРЕЖА ШТЕЙН

Сережа родился в том же году, что и я, и вырос на Арбате, в доме 44. В детстве он не раз слышал, как дворник говорил ему вслед:

— Вон молодой барин пошел...

Сережин предок, премьер-министр Пруссии (земельная реформа Штейна) бежал в Россию от тирании Наполеона. Последний фон Штейн был последним воронежским губернатором, приближенным царя, дважды посетил его в барнаульской ссылке, о чем неосторожный монарх оставил запись в своем дневнике, изданном после казни.

В белом движении барон не принимал участия, а позднее даже ходил на первомайские демонстрации, посадив маленького Сережу на плечи и декламируя нараспев:

Перед вами красный флаг,
Он на палке белой,
Понесет его в руках
Тот, кто самый смелый!

И Сережа размахивал над его головой красным флажком, приветствуя товарища Сталина.

В 37-м Владимира Николаевича забрали в последний раз (вероятно, для выполнения нормы по району), и он погиб. Ксения Александровна, смолянка, падчерица камергера Нейгарта, осталась одна с четырьмя детьми и всех вырастила и воспитала. Она жива и теперь.

Сережа служил в армии, потом работал на заводе и в театральную школу продолжал ходить в замызганной рабочей куртке. Он возился с декорациями для дипломников, до поздней ночи налаживал «свет», а иной раз и ночевал тут же на сцене, хотя баронский особняк стоял неподалеку (семья занимала бывшую кухню).

Каждое утро, провожая сына на занятия, Ксения Александровна давала ему с собой бутерброд. Моя мама бутербродов не делала, зато у меня почти всегда водились деньги — черная машина ежемесячно привозила две тысячи, да и сама мама была директором школы, так что моя стипендия оставалась мне «на карманные расходы». Многозначительно поглядывая на меня, Се-

режа вытаскивал и разворачивал бутерброд, но я делал вид, что не понимаю намеков. Тогда Сережа говорил:

— Пойдем по диагонали? (Чтобы попасть в забегаловку, нужно было пересечь улицу Герцена наискосок.)

Я твердо отказывался.

Кончались занятия, я направлялся пешком по Малой Бронной к Маяковке, Сережа сопровождал меня, торжественно неся бутерброд, и я, конечно, по дороге сдавался, но в отместку принимался мучить своего искусителя:

— Кричи «Да здравствует товарищ Сталин!»

Сережа покорно кричал.

— Да здравствует палата пробирного надзора!
(Мы как раз проходили мимо нее.)

— Да здравствует палата пробирного надзора!
Да здравствует всяческий надзор!

Тяпнув по стаканчику-другому и расправившись, наконец, со злополучным бутербродом, мы усаживались в сквере на Патриарших на лавочку и принимались жарко делиться самыми сокровенными мыслями. Хотелось читать стихи — но почему-то не Маяковского и не Симонова.

...И Господь воздаст мне полной мерой
За недолгий мой и горький век —
Это сделал в блузе темно-серой
Невысокий старый человек!

Мне биография Гумилева была известна хотя бы понаслышке (от эвакуированных ленинградцев), а Сережа, в доме которого бережно храни-

лась иконка, подаренная императрицей, о поэте не знал почти ничего. Я рассказывал и поражался — как он предсказал свою гибель!

Еще мы читали Блока, Есенина — вроде бы и не запрещены, но со сцены их не исполняют — и многое такое, что не дозволялось читать даже у себя дома в полном одиночестве.

Чеснович на экзамене спросил нашу сокурсницу Динку:

— Вы читали Маринетти?

Та сдуру ляпнула:

— Да. (Скорее всего и в глаза не видела, но решила, что раз спрашивают, значит, по программе полагается.)

— Кто же вам рекомендовал его читать?

Бедный Шатилов побледнел — и так на волоске висит, в космополитизме подозреваем.

Сереза знал четверостишия своего соседа Коли Глазкова:

Пусть говорят, что окна ТАСС
Моих стихов полезнее.
Полезен также унитаз,
Но это ж не поэзия!

Однажды, набравшись как следует, мы забрели в церковь, не сговариваясь, бухнулись на колени, принялись подпевать хору и класть земные поклоны — крестясь и целуя пол. А в другой раз я истерически рыдал и вопрошал тестя, старого большевика:

— Не Ленин ли создал эту тюрьму?!

Тот сам заплакал — верно, от ужаса — и бормотал:

— Ленина-то, Ленина-то не трогай!

А Сережа процедил:

— Оставь его, они же закаменели...

Но и почти трезвый он сказал однажды совершенно уверенно:

— Иголки под ногти загоняли еще в двадцатых, а уж в тридцать седьмом точно... — Мы сидели у меня в доме на кухне, была поздняя ночь.

ПЫЛЬ, ПЫЛЬ, ПЫЛЬ...

Однообразно и повсеместно склонялись фамилии Гурвича, Юзовского, Борщаговского, Альтмана. Не знаю, как весь остальной советский народ, но мы, театральные студенты, никогда их статей не читали. Начались увольнения. Наш парторг Александр Вокач (ныне актер «Современника») заявил с трибуны:

— Не случайно у космополитов иностранные фамилии!

Зал зашумел и зашикал, а Боря Рунге, обычно сдержанный и занятый соображениями практического порядка, сказал:

— Стран-н-ная кампания в многонациональном государстве...

С нами учились Лейтин, Карл Гурвич и Бронштейн, перешедший к нам из уже ликвидированной еврейской студии.

Профессор Юрий Дмитриев — у него была внешность лакея из благородного дома — снизил мне оценку на экзамене за то, что я утверждал: «По свидетельствам современников великий дядя Костя Варламов ролей не учил, книг не читал, а любил блины с маслом, пирожки и художественную вышивку».

— Как?! — возмутился профессор. — Варламов дружил с Чайковским, Давыдовым, Коні, лепил остро-социальные портреты, а вы мне про кулебяку говорите!

Я настаивал, что успех Варламова шел от интуиции, от Бога, а не от передовых идей. Дмитриев, естественно, не мог со мной согласиться, хотя, как выяснилось во время нашего спора, я знал, что и как играл дядя Костя, а он об этом имел весьма смутное представление. Зато он стоял на государственной точке зрения.

На одной из своих лекций он излагал нам Чехова по Ермилову, а Сережа Штейн усомнился в том, что Раневская и Гаев злонамеренно заколотили Фирса в доме. Дмитриев принялся выкручиваться, лепетал что-то об объективном и субъективном восприятии, запутался окончательно и злобно отрезал:

— Я излагаю государственную точку зрения!

— Так бы и говорили, — сказал Сергей.

Прославленный профессор П. И. Новицкий каялся на общем собрании:

— Я не имел права ориентировать Бабанову на западный репертуар, но мне казалось, что она

прежде всего Джульетта, Диана... Но, конечно, и Таня Арбузова...

Занятия перестали увлекать меня — а ведь как горел на первых курсах! — теперь я просто дотягивал до диплома и даже не разделял волнений своих товарищей по поводу дальнейшего устройства. В качестве дипломной работы мне дали голубую рольку в примитивной прибалтийской пьесе «Жизнь в цитадели», и то еще, считай, повезло — Коле Никитскому (известному теперь эстраднему певцу) пришлось показываться в «Сибирячке» Е. Загорянского. Сибирячка — это сорт пшеницы, который на протяжении четырех длинных и нудных действий выводит упрямый селекционер-новатор, которого травят и обижают вейсманисты-морганисты, под влиянием которых даже невеста начинает сомневаться в правоте любимого человека, который в конце четвертого действия все-таки свою «Сибирячку» выводит — в чем зритель не сомневается с самой первой минуты.

Поначалу, правда, мне предложили отличную роль — солдата Пикалова в «Любови Яровой» (педагог — А. Г. Вовси), но я с ней не справился, меня никогда не тянуло к буффонаде, а наигрывать тогда все боялись, короче говоря, сцену даже не стали показывать. Пожалуй, для Аркадия Григорьевича эта неудача была бóльшим ударом, чем для меня, ему и без того в ту пору жилось не сладко, — С. Г. Бирман вернула ему его письма и публично доказывала, что она не еврейка. Впрочем, она это продолжает делать и

сейчас, недавно вышли ее мемуары, которые буквально начинаются фразой: «Я крещена в такой-то церкви».

Моя личная жизнь складывалась не столь трагично, хотя домашняя война между женой и матерью не затихала ни на час — стоило одной открыть дверь, как другая тут же ее демонстративно захлопывала, если одна включала радио, другая тут же подсказывала выключить, одна садилась смотреть телевизор, другая ложилась спать, а форточка никогда двух минут не оставалась в одном положении. Хозяйством Эда не думала и не собиралась заниматься — все свободное время она проводила у постели мучительно умиравшей матери, но моя мама утверждала, что она только и знает, что сидеть перед зеркалом. Потом Эда родила сына, но это обстоятельство тоже не сблизило невестку со свекровью. «Вышла за Гусарова, только не за того», — повторяла мать, по-прежнему твердо уверенная, что ее бывший супруг занимает мысли всей женской половины страны, начиная от артисток оперы и балета и кончая соседкой. Эда видела отца раз или два, да и то мельком. День ото дня мне все меньше хотелось торопиться после занятий домой, а попадавшиеся по пути забегаловки манили все сильнее. Когда я, наконец, переступал порог квартиры, перед глазами у меня плавал туман, и выяснялось, что что-то потеряно — то шарф, то шапка (про перчатки я не говорю, их я постоянно где-нибудь забывал и в трезвом виде). И вот однажды вернувшись домой, я увидел, что Эда с по-

мощью своей няни, Поли, собирает вещи и кутает Славку. Славка ревел. Я ничего не сказал, повернулся и пошел покупать бутылку. Вернулся — в доме тишина.

Незадолго перед тем Эда отобрала у своей умирающей матери пузырек с кокаином, теперь я вытащил его и съел белый порошок, но вместо того, чтобы спокойно дожидаться незаслуженного покоя, принялся театрально прощаться с мамой, собиравшейся на занятия в школу. Мать побежала за Эдой, приехала машина от Склифасовского, и мне промыли желудок. Всю ночь и весь следующий день я лежал неподвижно, вприв взгляд в потолок и сжимая пальцами собственные запястья. Беглянка сжалилась и вернулась. Я снова почувствовал себя счастливым человеком, хотя ссоры в доме отнюдь не прекратились.

Когда рязанский режиссер А. С. Верховский пригласил меня на роль Ленина в «Семье», я согласился без всякого колебания, но мое сокровище, моя Эда с маленьким Славиком, осталась в Москве, а чаще, чем раз в неделю, я не мог вырваться домой.

Свое двадцатилетие я отпраздновал в Рязани в обществе хорошенькой актрисы Чарской, жены заслуженного артиста Орлова. Муж находился в отъезде, но скоро должен был вернуться, я заранее решил, что подружусь с ним и под этим благородным предлогом вынужден буду прекратить связь с женой. Но однажды ут-

ром пришла телеграмма — он попал под поезд в Луганске. Чарская в слезах прошептала:

— Не бросай меня... — и уехала на похороны.

Вернувшись, она была безутешна — ничто не развлекало ее, ни театральные дела, ни кино, ни прогулки, так что в конце концов мне пришлось подойти к выключателю и потушить свет. Пиджак и шляпа Орлова оказались мне впору.

Первой ролью, которую я сыграл в Рязани, была роль десятиклассника гитлерюгендовца Эрнста в пьесе «Правда о его отце», готового защищать родину в уличных боях с советскими танками, но вместо этого оказавшегося в заброшенном особняке какого-то обершарфюрера, где он посреди всеобщего хаоса пьет вино. Затем новые власти открывают школу, Эрнста не очень-то тянет туда, но учитель рассказывает ему о его отце-коммунисте, которого сам Эрнст не помнит. Пьеса держалась не столько на честном, сколько на громком слове. Я искал ассоциации, фантазировал, не щадил собственного жизненного опыта для воплощения образа, вспоминал с каким ужасом в России ждали прихода немцев, перед спектаклем шел в библиотеку и читал очерки Эренбурга о войне, словом, возбуждал в себе такие мысли и чувства, каких, очевидно, не испытывал даже в самые тяжелые дни войны.

До меня роль Эрнста играл артист Гюнтер, немец из Поволжья, покинувший театр с обидой, поскольку ему не доверили играть Ульянова. У Гюнтера Эрнст был мечтательный юноша, воспринимавший войну как несчастье, у меня —

юный хунвейбин (пользуясь сегодняшней терминологией). Даже вставная песня у меня была не лирическая, как у Гюнтера, а солдатская:

Я шел сквозь ад семь недель и я клянусь
Там нет ни тьмы, ни жаровен, ни чертей —
Только пыль, пыль, пыль от шагающих сапог!..
Отдыха нет на войне солдату...

А поскольку весь сезон нам приходилось разъезжать на гастроли по отвратительным рязанским дорогам, песня стала необыкновенно популярной в театре.

Следующие роли я уже не готовил столь усердно. Пьесы ставились серые и бездарные, а спектакли с помощью Верховского выходили и того хуже, актер он был прекрасный, но в режиссуре — совершенный арап.

Как ни парадоксально, но в Москве, под носом у министерств, управлений и главков, еще можно сделать интересную работу, в провинции же это абсолютно исключено. Даже сейчас положение актера зависит от его биографии (очень понравилось недавно начальству, что Ленина будет играть Ульянов — чего уж надежней...), а в те годы и вовсе не было никакой защиты от произвола. Не режиссер решал, кому кого играть, а обком, тем более, если речь шла о роли Ленина. Потому-то в провинции выживали только самые всеядные и настырные актеры и самые бессовестные и конъюнктурные режиссеры.

РОЛЬ ЛЕНИНА

Роль Ленина — скучнейшая. Он все знает, все умеет. Не думаю, чтобы даже самый тонкий художник мог что-нибудь противопоставить этому. Гимназист Володя Ульянов всем дерзит и всех поучает. Учителя — ничтожества и карьеристы, брат — беспочвенный мечтатель, матери не достаёт решимости и веры, одни только рабочие — неизвестно откуда свалившиеся — оставляют некоторую надежду. Рабочие — правильные ребята, правда, они сами этого не знают, но Володя им объяснит. Они его слушают. Этот гимназистик — чистый чудотворец и прорицатель, ему известна истина, а всем прочим остается только заглядывать ему в рот и запоминать каждое сказанное им слово.

Текст я учил с отвращением, на репетициях безропотно повторял мизансцены и интонации режиссера, но пытаюсь, хотя бы для себя самого, разобраться в образе, прочел любимый роман Ленина «Что делать?» Чернышевского. Он считается скучным и слабым (что не помешало мне прочесть его еще раз в тюрьме), но я, кажется, понимаю, что ценил в нем Ленин — роман дает советы и рецепты, а вся остальная русская литература ставила нравственные проблемы, не смея предлагать решений. Чернышевский замахнулся на семью в ее традиционном виде — счастливая четверка его героев — Вера Павловна, Кирсанов, Бьюмонт-Лопухов и Катерина Васильевна живут так, как у нас в двадцатые годы жили Маяков-

ский — Лиля — Осип и как теперь это стало принято в Швеции и в Дании. Но расшифровывать эту часть романа, при всем почитании Чернышевского, тем не менее не полагается.

От Чернышевского я перешел к другим доступным мне источникам, и меня поразило, насколько сильным было влияние старшего брата Александра на младшего Владимира.

— Ты выпьешь молока?

— Как Саша.

Казнь брата была тяжелейшим потрясением в жизни Владимира Ульянова. Жажда мести, а не «бурное развитие рабочего класса» толкает его на путь борьбы. Читая теперь мемуары народовольцев, я вижу, насколько они, а значит, и эсеры, были романтичнее и даже щепетильнее большевиков.

Меня гримировали, я выходил на сцену и как заводная кукла повторял чужие слова, чужие жесты, чужие интонации, правда от спектакля к спектаклю старался смягчить тон — ну не мог же, в самом деле, сын Ильи Николаевича так нагло дерзить учителям!

В газетах меня хвалили, помещали фотографии, после спектаклей вручали цветы, девочки дежурили у подъезда, дожидаясь моего появления. Правда, однажды рецензент газеты «Сталинское знамя» счел нужным напомнить мне, что я не Ленин, и отметил «излишнюю нервозность, которая не была свойственна вождю». Уж на эту-то роль я нервной энергии не расходовал. Букеты я забирал только когда приезжала Эда,

а в остальные дни раздавал их актрисам. Однажды был день рождения костюмерши, влюбленный в нее актер Райцев попросил, чтобы я преподнес цветы ей, но другой актер, Спасенников, высчитал, что сегодня очередь его жены, разразился скандал, Спасенников обозвал меня мальчишкой, а Райцева «кашеедом». Что касается меня, то я вообще люблю цветы в поле или, в крайнем случае, на клумбе, а дома предпочитаю хороший винегрет с лучком.

Как-то я ждал за кулисами своего выхода, рядом сидела реквизиторша, сорокалетняя одинокая женщина, она долго смотрела на меня, а потом, впад в протрацию, проговорила:

— Эх, Владимир Ильич, знали бы вы...

В другой раз я запел при ней:

Скоро раздуем пожар мировой,
Церкви и тюрьмы сравняем с землей!

— Церкви-то уже сравняли... — печально отозвалась реквизиторша.

В ее владениях я нашел книгу Ярославского «В. И. Ленин», двадцать пятого года издания. Слова были как будто те же самые, к которым мы привыкли, но звучали они как-то по-другому — наивнее и ярче. Знаменитая «клятва Сталина» упоминается мимоходом, в одном абзаце, зато полностью напечатаны речи Зиновьева и Крупской. Встречается даже выражение «дело Ленина и Зиновьева» (правда, имеется в виду частный случай — создание Коминтерна). Оказалось, что и в шалаше Ленин жил не один, а с Зиновьевым.

«Партия поручила мне сохранить жизнь вождей революции Ленина и Зиновьева», — говорит Емельян. Там же в реквизиторской мне попалось среди прочих объявлений такое: «На складе магазина № 6 (далее следовал адрес) имеются портреты художественной работы: Ленина и Зиновьева по 1 р. 50 к., Троцкого и Луначарского — по 2 р.». Что ж такое? Понятно, чем художественнее, тем дороже, но почему на этом складе не оказалось портретов Сталина, хоть бы и по рублю?

Армия, институт были еще не настоящей жизнью, чем-то исключительным и временным, «высокие» сферы, где обитал отец, хоть и давали интересный материал для наблюдений, но жизнь общества в целом отражали слабо. И вот наконец я работал, окунулся в трудовые будни, но до чего же несчастные, бесправные и запуганные люди окружали меня.

ВЕРХОВСКИЙ

Александр Семенович Верховский в театре был главным, поэтому он мог орать на всех остальных, но перед любым начальством — местным или заезжим — лебезил и угодничал без всякого стыда. Он, конечно, знал слово «принципы», но таковых не имел. Типичный Актер Актерович, выбившийся в люди: сплетник, откровенный лгун, трус, но при всем том человек забавный и очень талантливый. Я бы и сейчас с удовольст-

вием повстречался и посидел с ним, но, к сожалению, это уже невыполнимое желание — он помер как-то для всех неожиданно от пустячного нарыва в носу. Скончался так же анекдотично, как и жил. Его фотография много лет висела в Бахрушинском музее — он одним из первых сыграл Ленина (правда, в провинции).

Однажды мы с ним провожали представителя ВТО И. С. Дееву. Когда поезд тронулся, Александр Семенович потащил меня в буфет. В кармане у него оказался соленый огурец, который он вытащил, показал мне и спрятал обратно. Выпив по рюмочке, мы двинулись в театр, но от вокзала до театра путь не близкий и где-то в районе гостиницы (забыл, как она называется, в ней недавно отбывал «ссылку» П. И. Якир)* мы пропили всю мою наличность, тогда Александр Семенович уговорил меня заложить часы — чтобы посидеть еще часок, потом он сказал: «Пора на репетицию. Надо. Ты как хочешь — если сможешь, приходи попозже». Огурец он так и унес в кармане. Идти домой мне показалось слишком тоскливо и я поплелся за ним вслед в театр. Немного опоздал, хотел войти незаметно, но зычный голос Верховского остановил меня:

— Владимир Николаевич! В чем дело? Почему вы опоздали? Я очень разбаловал вас, вы много стали себе позволять!

Тогда я еще не знал слова «подонок», но что-то в этом роде я ему высказал, хлопнул дверью и

* Вставка 75-го года.

ушел. Неделю мы не здоровались, я рассказал всем, как было дело, все смеялись. Видимо, все-таки устыдившись, он выкупил часы и передал мне. Вообще меня он несколько побаивался и не решался орать как на других, особенно после того, как мной поинтересовался Ларионов. Верховский полагал, что я чувствую за собой сильную защиту и оттого держусь независимо (не могу сказать, что я особенно рассчитывал на какую бы то ни было защиту). Перед Ларионовым все трепетали, даже после его самоубийства Верховский говорил о нем, как об античном герое, и напомнил, что он оставил после себя политический термин: «болванизм».

Однажды Александр Семенович — седовласый и представительный — протянул мне горсть земляных орехов и сказал:

— Нате, Владимир Николаевич, от них хорошо стоит.

Сам он женщинами не интересовался, даже с женой своей давно не жил (в театре все известно), слабость питал только к спиртному — коньяку и водке. В последние годы, правда, был вынужден перейти на портвейн с нарзаном.

Выступая с приветственной речью в городе Тума, он обратился к слушателям:

— Дорогие тумачи! (Актеры после этого долго упражнялись в остроумии, склоняя «витеблян» и «пензюков»).

В другой раз, тоже на гастролях, он сказал:

— А для самых маленьких мы привезли пьесу лауреата Сталинской премии «Зайка-Зазнайка».

Вообще оговорки и накладки теперь случаются на сцене гораздо реже, чем до революции, когда спектакли готовили днями, сейчас ни одну пьесу меньше месяца не репетируют, но полностью застраховаться от них невозможно. В первый же сезон мне пришлось играть Досужева в «Доходном месте». Предстояло произнести фразу, которая, я думаю, и во времена Островского уже звучала анахронизмом: «Будучи обременен в многочисленном семействе количеством членов...» Роль «не шла», я пыжился, понижал голос, старался говорить солидно, играл мелодраму, хотя чувствовал, что Досужев просто-напросто опустившийся человек, сдавшийся перед обстоятельствами. Перед премьерой я выпил, чего в других случаях никогда не делал перед спектаклем, но тут я надеялся под хмельком найти верное ощущение. Я начал так:

— Будучи обременен многочисленным членом...

Лучше бы я продолжал, как есть! Но мне вздумалось исправиться, слово «семейство» выскочило из головы и я пять раз просклонял «член» едва ли не по всем падежам. Миша Брылкин, серьезный и опытный актер (ныне заслуженный артист) не выдержал, упал головой на стол и затрясся. Я уж не говорю про то, что творилось за кулисами — там катались от смеха. Единственно, кто оставался невозмутим, так это зритель. Он все воспринимает как должное. Еще будучи студентом, я участвовал в массовке у Охлопкова. Актер Кашкин, ворвавшись на

сцену в драматической батальной сцене, крикнул:

— На нашу резиденцию наведены пышки!

Многочисленная массовка и актеры (среди них Штраух) прыснули от смеха, но зал не шелохнулся. На том стоим...

На сцене даже малейшее изменение привычной интонации в реплике партнера заставляет напрягаться и пугает, случается, что актер с умыслом акцентирует какую-нибудь фразу, — вводит подтекст, или развлечения ради просто несет явную отсебятину. В спектакле «Дорога свободы» по Говарду Фасту я играл белого фермера Абнера Лейта, который с большим трудом осознает свои общие интересы с черными бедняками. Н. Н. Райцев, немолодой уже актер (тот самый, что ухаживал за костюмершей), играл вожака черных Гидеона Джексона. Нам предстоял длинный и скучный диалог. Райцев не изменил ни единого слова в тексте, он лишь указал выразительным жестом на уже немолодую, но еще весьма эффектную даму, сидевшую за кулисами за роялем, и произнес:

— Большой кусок запахали...

Я смутился.

— А чья это земля, вот эта, на которой вы пашете?

Я хотел возразить ему, что муж Зои Владимировны далеко, в Минске, да и вообще она мне говорила, что они разошлись окончательно... Нервы мои были напряжены, я чувствовал, как зал затих. Актеры, дожидавшиеся своего выхода

за кулисами, тоже уловили нечто необычное и потянулись послушать. К счастью, я не вышел за рамки положенного мне текста, но когда сцена закончилась, нас наградили бурными аплодисментами — зритель оценил мое неподдельное волнение. Увы, лишь гениальные актеры могут в девяносто седьмом спектакле играть так же прочувствованно, как в премьерe...

Уже не в Рязани, а в московском областном ТЮЗе я играл Вадима в пьесе Розова «В добрый час». На одном из выездных спектаклей актеры «расшалились» — начальства с нами не было, а поезда все равно предстояло ждать больше часа; каждый старался переплюнуть партнеров по части отсебятины, так что под конец меня это даже возмутило — я решил играть корректно и серьезно. Когда картина закончилась, за кулисами ко мне кинулся помреж с поздравлениями, оказалось, что вместо: «мы с тобой идём», я сказал: «мы с тобой ибём» и оказался вне конкуренции.

Опытнейший актер Мартини в роли Ивана Грозного (случилось это в Махачкале) в сцене самобичевания с большим темпераментом воскликнул:

— Я смерд пердящий! (вместо «я пес смердящий»), — тут же схватился за голову и простонал: — Боже, что я говорю!..

В колхозной пьесе актер вместо «тебя председателем не изберут» сказал:

— Тебя избирателем не председут!
Партнер не растерялся и ответил:

— А может, и председут! («Скорей коняйте мне седла!» — «И мне коняйте тоже!»)

Некоторые оговорки настолько анекдотичны, что трудно поверить, будто они в самом деле имели место («Эпиходов кий сломал», «К вам гонец из Пизы», «Нельзя сразу стать богатым»), но известно, что фразы «обедов не доедал» всякий актер боится как огня. «Маши каслом не испортишь» — «Это смотря какое касло»...

Конечно, любые оговорки на сцене были сущей безделицей в сравнении с той критикой, какой я подвергал советский строй и режим в нетрезвом состоянии. Думаю, что мне это сходило с рук по двум причинам: во-первых, на меня смотрели как на гастролера и чудака, а во-вторых, я играл Владимира Ильича. Актер Баулин сказал: «Если бы Фрейдин играл Ленина, он бы машину к подъезду требовал». Хотя я постоянно возмущался государственным антисемитизмом, даже такой юдофоб, как наш директор Гражданцев, ни разу на меня не донес и, напротив, заявил, что ни за что меня из театра не отпустит, если потребуется, задержит через обком. Я ответил ему на это, что мне что обком, что парикмахерская (ассоциация возникла оттого, что в Перми я действительно ходил в обком постричься). Возможно, Гражданцев пропускал мои высказывания мимо ушей потому, что первоочередной своей задачей считал травлю евреев и не хотел отвлекаться. Главной его жертвой был актер Фрейдин (Фрейдинзон). Гражданцев среди сезона снизил ему жалование — Фрейдин прежде был

опереточным простаком, а там ставки выше. Все прекрасно знали, что театр не может обойтись без жены Фрейдина Симочки Хониной, очень хорошей актрисы, но никто за них не вступился, и сами они тоже не пошли никуда объясняться. Не стесняясь моим присутствием, Гражданцев, разговаривая с Фрейдиным, процедил: «Поц...» Я выразил свое сочувствие бедняге тем, что пригласил его выпить...

На собраниях всё клеймили американских убийц, разбрасывающих чумные бактерии в Корею, и однажды, когда все дружно поднялись при упоминании имени Сталина, я остался сидеть.

— Что с вами, Владимир Николаевич? — испугалась наша профорг Романычева.

— Ничего... Надоела эта комедия...

Романычева отшатнулась, а остальные отвернулись, будто не слышали. Правда, Спасенников счел своим долгом предупредить меня:

— Ты плохо кончишь, поверь мне...

Но я чихал на все предупреждения. Тюрма и ссылка рисовались мне уютной избушкой — как в фильме «Поколение победителей», где можно будет спокойно посидеть над шахматной доской. Летом, во время гастролей по области, я написал на раскрашенной агитационной открытке «Все на выборы»: «Эда, я ненавижу сталинский режим. Готова ли ты последовать за мной в дальние края?» Как ни странно, открытка дошла. Почтальонша, отдавая ее Эде в руки, сказала:

— Я вам ничего не приносила.

Эда схватила такси и примчалась ко мне в Скопин. Она рыдала у меня на груди и умоляла утихомириться. Но и ее слезы меня не образумили. В том же Скопине я произнес в городском сквере речь (разумеется, никто не остановился послушать) и закончил словами:

— Я ничего подобного не создавал и не санкционировал!

В другой раз, в Ухолове, я допился до того, что благословлял и крестил прохожих, меня силой тащили на спектакль, но я рухнул на колени и вопрошал:

— Неужели вы меня не узнаете?

«Может быть, Иисус Христос нюхает
Души моей незабудки...»

В конце концов даже Гражданцев решил меня более не задерживать — ни через обком, ни через иные инстанции — и в первых числах августа пятьдесят второго года я получил расчет в театре, обменял пуховую перину и подушки на литр водки, устроил прощальную попойку, по окончании которой на такси рванул в Москву — не мог же я ждать до утра!

В два часа ночи я обнимал самую красивую на свете женщину...

ИНТЕРНАЦИОНАЛ

В Москве я вел себя ничуть не лучше.

— Покажите мне, где здесь партия эсеров! —

требовал я у домашних. — Такие, как я, должны бросать бомбы!

Меня старались уложить спать. Наутро я виновато и кротко улыбался и терпеливо выслушивал нотации.

Мы с Эдой поехали на несколько дней на дачу маршала авиации К. А. Вершинина, тестя моего армейского товарища Володи Замкова — основателя «Храма пернатой клячи». Обратного Константин Андреевич предложил подвезти нас на своей машине. Всю дорогу нас почему-то без конца останавливали и требовали пропуск, хотя, я думаю, часовые и так прекрасно знали, чья машина и видели, что маршал сидит впереди. Я бестактно комментировал эти проверки:

— Раб у раба документы спрашивает...

Напрасно Эда пыталась зажать мне рот рукой.

Не могу сказать, что я не понимал, чем это все кончится. Последние несколько дней до ареста предчувствие непоправимой беды не оставляло меня ни на минуту — ни трезвого, ни пьяного. Однажды утром я катал Славочку в коляске и, растравляя себе душу, напевал:

Даст тебе силу, дорогу укажет
Сталин своею рукой...

Дальше я петь не смог — спазмы перехватили горло и я едва не разрыдался.

Четырнадцатого августа мы вчетвером — я с Эдой и Володя Замков с женой — отправились в ресторан «Савой». Я поцеловал мальчика и передал няне, и сердце у меня сжалось...

Мы выпили, съели по шашлыку, я танцевал с обеими женщинами, декламировал «Облако в штанах», вечер кончился, в ресторане притушили свет — знак, что пора расходиться по домам, и тут мне захотелось спеть «Интернационал» по-немецки. Какая-то дама за соседним столиком заметила:

— Хорошо поет, но произношение ужасное...

Мне не понравилось, что меня перебивают, но я продолжал. Дама снова принялась обсуждать мое произношение и опять заявила, что оно никуда не годится. Я кончил петь, твердым шагом подошел к ее столику и громко и отчетливо сказал:

— Не вам, сталинским выблядкам, учить меня, как петь «Интернационал»!

Все ахнули и повскакали с мест. А я повернулся и ушел, оставив жену и друзей в зале. Пересек улицу и спрятался в подъезде дома напротив. Взбежав на второй этаж, я прильнул к окошку. Погони за мной не было, из ресторанных дверей никто не показывался. Бежать? Но куда? Разве кто-нибудь согласится меня прятать?

На улицу выскочила Эда, оглянувшись, неуверенно перешла на другую сторону и я услышал ее голос внизу, в подъезде. Я откликнулся. Она поднялась, обняла меня... Оставалось вернуться...

Я вошел в вестибюль. Там уже была милиция. Я услышал возбужденные голоса и гневные возгласы: «Вот он! Он!» Тогда я стал бить эти морды, эти рожи — в том числе и милицейские.

Меня скрутили, связали, поволокли в машину. Володя оказался рядом и прошептал:

— Ты молчи, ты только молчи, я тебя выкуплю!..

В отделении меня бросили на пол, обшарили, я вырывался, катался, бился головой об пол. Начался допрос свидетелей:

— Что он сказал?

Тут все замялись.

— Он сказал... Он сказал... Н-н-не помню...

Может быть, если бы я послушался совета друга и молчал, все бы еще обошлось — вряд ли кто-нибудь решился бы повторить такую ужасную вещь. Но я не молчал.

— Забыли, как я вас назвал? Могу и еще раз! Сталинскими выблядками! Как еще вас называть, если вы даже повторить боитесь мои слова!

— Вот-вот... — подтвердил кто-то сдавленным голосом. — Так он и сказал...

— Рабы! «Русские — нация рабов — сверху до низу — все рабы!» — процитировал я, не указывая источника. — Почему вы так запуганы? Кого вы боитесь все время?

Я чувствовал, что все, что от меня зависело, я уже сделал — одинокая избушка, шахматы и чистая совесть мне обеспечены...

Навалился страх. Я все видел, понимал, слышал слова. На глаза мне попался портрет давнишнего моего «приятеля» — Ворошилова, и я продолжал говорить, уже обращаясь к нему:

— Стыдно бояться, Климент Ефремович! Или ты не видишь, что все держится на страхе и рабстве? А в черный час что будет? На раба надежда?

На стенках были развешаны портреты и других руководителей, я поговорил и с ними:

— Боятесь двух грузин?

— Замолчи! Замолчи!!! — истошно завопил Замков (вообще-то человек спокойный и сдержанный). — Ты в тюрьму попадешь! Понимаешь? В тюрьму!

— Вся Дания — тюрьма... тюрьма народов...

— Ты книг начитался! Все это фантазии!..

Я понимал, что попался, что все кончено. И кричал и бился, пока сознание не померкло.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

КПЗ

Утром я очнулся и попросил развязать веревки — стянутые руки и ноги затекли. Развязали и велели идти в камеру. Я обернулся к сидевшему за барьером офицеру и бросил:

— Думаете, скажу: был пьян, ничего не помню? Ошибаетесь...

КПЗ — комната с решеткой на окошке. Возвышение на полметра от пола — для лежания. Общество — двое мужчин. Молодой матерился и читал Есенина, пожилой, оборванный дядька, тут же рассказал мне, что Ленин велел Каплан не расстреливать, чтобы жила и видела свою неправоту. Теперь она — библиотекарь в Бутырках.

У меня болела голова, ужасно хотелось пить. Стал стучать, просить воды, не дали. Позже принесли какой-то суп, пахнувший рыбой. Похлебал, сделалось легче. Повели к штатскому, постарался объяснить ему все толково — должен же кто-то помочь мне (не в данном случае, а вообще, разрешить мои недоумения). Моя исповедь была прервана появлением молодого человека, тоже в штатском:

— Паспорт ему на руки отдать?

— Да нет, погоди, тут не этим пахнет...

Снова вызвали свидетелей, они глядели на меня укоризненно, может, даже жалели. Чёрт возь-

ми, послушался бы Замкова и помалкивал, и сегодня поменьше бы «растекался мыслью по древу» перед этим штатским, так, наверно, сейчас бы получил паспорт и пошел спокойно домой... (В тюрьме меня утешили, что больше, чем на два месяца меня все равно не выпустили бы, собрали бы за это время «материал» и взяли бы снова, скорей всего, уже не одного, а с «сообщниками» вместе. Но я за один день дал такой материал, что выпускать стало уже невозможно. А ведь продержись я до смерти вождя, материалы XX и XXII съездов прекрасно ответили бы на мои вопросы — чего еще требовать! — и жизнь моя пошла бы совсем по-иному...)

Мне принесли бумагу, ручку с чернилами и попросили изложить все мои идеи в письменном виде. Я добросовестно писал несколько часов — когда еще представится возможность высказать то, что накопилось в душе?

...Почему так жестоко расправились с оппозицией?

...Почему нельзя было смягчить участь «военспецов»? Пригодились бы они нам во время войны... и т. д., и т. д...

Однажды в фойе Большого театра я встретил Николая Степановича Сазыкина, заместителя Берию. Я знал его еще по Перми, моложавого, всегда улыбающегося. У него была хорошенькая приветливая жена, даже шрам на лице ее не портил. Во время войны Сазыкин спас меня от коммандатуры — я обозвал патруль жандармами и меня сунули в какой-то темный чулан, но папа и

Николай Степанович вызволили. Так, может, и теперь все обойдется? Я спросил Сазыкина, почему Кересу не разрешают выступать в турнирах. Из-за того, что при Гитлере в шахматы играл?

— Если бы только в шахматы... — многозначительно вздохнул Сазыкин.

А через два года Керес стал играть — значит, простили... Так неужели они не смогут понять человека, который любит «Интернационал» и «Варшавянку»?..

ПЯТНИЦА

Мне принесли передачу: копченую колбасу, хлеб, помидоры, но всё пришлось оставить, потому что тут же повезли в баню куда-то за город. «Воронок» был битком набит людьми. Я успел раздеться, а шайки еще не нашел — велели быстро одеваться, посадили в «Победу» — я в серединке, двое сухощавых молодых людей по бокам. Я сказал, что прошу не везти меня к отцу, он к этому делу никакого отношения не имеет, и вообще давно с нами не живет; они спросили, где я храню документы, медали, наградные удостоверения, дневники. Я сказал. Уже стемнело, когда мы въехали в большие решетчатые ворота. Двор-колодец. Часовой посмотрел в бумаги и с укором воскликнул:

— В Сталинграде родился! В городе-герое! Ай-ай-ай!

Военный без погон повел по лестнице вверх — лестница затянута сбоку сеткой, коридоры, сначала — застеленные коврами, потом голые. Сопровождавший меня непрерывно щелкал пальцами или звякал ключом по пряжке. Время от времени он останавливал меня и ставил лицом к стене. Мы зашли в какую-то комнату, и мне велели раздеться. Щупали, заглядывали в рот, ковырялись между пальцами ног, распороли костюм, срезали пуговицы, забрали ремень, потом сказали заложить руки назад и опять повели по коридору — пришлось держать брюки, чтобы не упали. Открыли дверь, за дверью чуланчик, без окна, пустой. Втолкнули туда и захлопнули дверь. Постоял. Сел. Прислонился к стене. Упер колени в подбородок. Лег (в той же позе, как сидел, распрямиться не было места). Задремал. Подняли и снова повели по коридорам. Опять ковры. Большой, роскошный кабинет. Посадили у стенки. Молодой, но уже располневший человек курит «казбек».

Я сказал, что сожалею, что ударил милиционера. А ресторану никакого материального ущерба я не нанес — ничего не разбил, не поломал. Но если им кажется иначе, я готов уплатить. А если меня собираются судить, то все равно я не вижу смысла держать меня в тюрьме. Я могу явиться по вызову следователя в любое время, благо не работаю.

— Скажите, а почему у вас за год не уплачены комсомольские взносы?

— В театре у нас не было комсомольцев, поэтому и организации не было. А идти в райком мне было некогда. Да я ведь уже выхожу из комсомольского возраста... Разве это так важно?

— Скажите, а вы не считали свои взгляды несовместимыми с пребыванием в комсомоле?

— Пожалуй, да. Да, да! Именно! — Почему мне самому не пришло это в голову? — Так меня будут судить?

— Да.

— И мне нельзя до суда оставаться дома?

— Нет.

— Почему?

Он сделал затяжку и напомнил мне, что здесь вопросы задает он.

— Французский коммунист сидит в тюрьме, а не из дому ходит на разбирательство.

— Жак Дюкло? Так у него в камере не хватает только микрофона, чтобы обращаться к народу, когда ему вздумается. Разве его запикивают в чулан, где невозможно вытянуть ноги?

— Французские трудящиеся этого не допустили бы, — сказал он.

Именно так и сказал — слово в слово!..

Потом он спросил, кто такой Сирмбарт.

— Это наша студентка.

— Почему у вас записан ее телефон?

— На всякий случай... Мало ли что... Узнать, когда назначена репетиция...

— Расскажите о ней.

— Да что же рассказывать? Единственно, что

мне известно, что Сирмбарт — это фамилия ее мужа, а с мужем она разошлась...

Он прочел еще несколько фамилий из моей записной книжки — Барк, Рунге, Штейн, Майзель... Потом уже, вспоминая допрос, я обратил внимание на то, что фамилии он выбирал только иностранные. Ведь у меня же были записаны и телефоны Коробовой, Васильевой, Глазунова...

— «Слыхали новость? Ленина из Москвы вывезли! — прочитал он и поглядел на меня. Он все время гадко улыбается. — Да, да, сейчас все музейные ценности вывозят».

Я вспомнил, что когда-то уже слышал эту шутку. А оказывается, не просто слышал, а записал в свой дневник. Одиннадцать лет назад, в начале войны. Я объяснил ему, что это сатира на обывателя...

Продолжая криво улыбаться, он придвинул к себе большой лист бумаги и принялся писать. Писал он долго. Потом протянул мне.

«Будучи в течение многих лет антисоветски настроенным, — начиналось его сочинение, — я постоянно занимался антисоветской агитацией и пропагандой...» И дальше все в том же духе.

— Разве я это говорил?

— Здесь передана суть ваших высказываний, их объективный смысл.

— И это надо подписать?

Он кивнул.

— Тогда зачем вы спрашиваете? Если вы сами составляете текст? Мне все равно — я могу написать даже чистые листы.

— Какие отношения у вас были с Волгородским?

— Какая разница — какие они были? Пишите, что хотите!

Он подумал и вызвал солдата.

— Уведите.

ОДИН

Поскольку в бане мне так и не пришлось помыться, меня окатили из ведра водой комнатной температуры и опять сунули в тот же чулан без окна. Поздно ночью повели куда-то вниз. Опять помещение без окна, но чуть побольше и с мебелью — есть кровать, накрытая суконным одеялом, тумбочка, в ногах железный бачок с крышкой. Я что-то спросил, на меня тут же зашикали: разговаривать только шёпотом! (Действительно, уморительный народ эти новички: орут в полный голос, требуют, чтобы им разрешили позвонить домой, — там, дескать, волнуются, выплескивают суп — не нравится он им, что ли? Свежего человека в тюрьме всегда узнаешь, даже и спрашивать не надо: то он впадает в отчаянье и пытается разmozжить себе голову об стенку, то рассуждает, какие коньки купит сыну...)

Утром меня будят, и сердце сжимается от смертной тоски — пока спал, забыл, что я в тюрьме, а разбудили, и вспомнил...

До самого угла донес Славочку, когда уходил в этот проклятый ресторан, и как не хотелось

отдавать его Поле... А он тоже не хотел отрываться от меня — заплакал... Маленький, беспомощный...

Открывается форточка в двери.

— На оправку!

— Не хочется...

— Умоешься, парашу выльешь... — Все шёпотом.

Приносят подкрашенный кипяток, наливают из форточки, просовывают кусище сырого черного хлеба, два с четвертью кусочка рафинада, миску — на дне пшенная каша. И моя передача — колбаса, помидоры, хлеб — тоже тут, приехала вслед за мной. С едой жизнь как-то веселей. Если бы еще теперь выйти в уборную. Но теперь нельзя — только в шесть утра.

— Что же делать?

— Вон параша, только тогда я отдушину закрою.

Да, уж лучше терпеть. Стоит прислониться к стенке:

— Не прислоняться! — голос уверенный, лающий, чувствуется — начни противиться, есть средства сломить.

Тишина мертвая... Вдруг откуда-то доносится:

— Да здравствует товарищ Сталин! Да здравствуют славные советские чекисты!

Топот ног, и снова тишина... Только где-то поскрипывает — вентилятор, что ли?.. Тихие шаги, шёпот, открываются «кормушки» — обед... Очередной голос — другой, высокий:

— Когда вы нашей крови напьетесь?!

Если подпереть подбородок ладонью, а локтем опереться в тумбочку, можно заоченеть в дреме, но тут же стук:

— Нельзя!

Остается сидеть, ссутулившись, на койке — лишь бы глаза не закрывались...

Наконец, отбой. Какое счастье! Ныряю под одеяло, похожее на старый бабушкин платок, и сон тотчас подхватывает меня — раз-два — будто на качелях, и проваливаюсь, проваливаюсь в медовые облака... Вот что-то начинает сниться — но тут как раз будят... (Я тогда не знал и представить себе не мог, что через несколько минут после отбоя поднимают тех, кто «недостаточно активно сотрудничает со следствием».)

Второй день — точное повторение первого... Третий день... На третий день стал слышаться глуховатый голос Замкова. Потом вдруг показалось, что Эда со Славиком тоже здесь, в камере. Хотел закричать: «Маленького-то, маленького зачем сюда?» Нету их, я один... Только в горле слезы... Стены сырые, небеленые, верно, с царских времен. Пятна плесени складываются в страшные, фантастические профили, головы... Решил выцарапывать каждый день по колышку на стене, чтобы не сбиться со счета. А для чего?.. Доживу до пятнадцатого сентября — дня своего рождения — разбегусь и головой об батарею...

На четвертый день радость — выводят на прогулку. Минут пять наслаждаюсь свежим воздухом, слышу гудки автомобилей за забитыми на-

глухо воротами, даже угадываю шаги и голоса пешеходов там, с той стороны...

После прогулки воздух в камере кажется нестерпимо затхлым, а ведь дверь оставалась все время открытой. Курить все равно хочется. Да и что делать, если не курить? Подхожу к отдушине, чтобы выпустить дым туда — отдушина захлопывается...

На пятый день в кормушку бросают две книги. Подхватываю их — «Чапаев» и стихи Инбер. Милый родной «Чапаев»! Папа с мамой читали мне его вслух... Правда, тогда я был очень мал и почти ничего не запомнил, только гибель Чапая. Зато вот теперь прочту. Открываю — под обложкой описание строительства какого-то канала в Средней Азии, не то Туркменского, не то Ферганского... Неважно, главное, что книга, можно читать, а не глядеть в стенку...

Открывается форточка и голос шепчет украинское «хе».

- Гусаров. (Как будто тут есть еще кто-то!)
- Имя-отчество?
- Владимир Николаевич.
- Год рождения?
- Двадцать пятый.
- Место рождения?
- Сталинград.
- Национальность?
- Русский.
- Статья?

Да, там что-то такое было — когда я подписывал... С трудом вспоминаю:

— Пятьдесят восьмая, пункт десять.

— Без вещей! — весь диалог шёпотом.

Опять коридоры, железные двери по обеим сторонам, пощелкивание пальцами и постукивание по железной пряжке. (Теперь рационализация — придумали им звонкие кавалерийские шпоры.) Опять тот же кабинет в коврах и тот же следователь. Сопровождающий рапортует, сажает меня у стены и уходит. (Очевидно, потому у стены, что на столе имеется чернильный прибор и пресс-папье.)

Следователь повторяет те же вопросы, на которые я только что ответил в камере: фамилия, имя-отчество, год рождения... Вся комната залита солнцем. Наверно, всё — разобрались и сейчас выпустят. Придется, конечно, выслушать отеческие наставления... Следователь вдруг вскакивает и командует:

— Встать!

Входит среднего роста брюнет, с проседью. Следователь что-то быстро и невнятно докладывает, мне удается расслышать, что он называет вошедшего полковником (думаю, что это был либо начальник следственного отдела областного МГБ Герасимов, либо его заместитель).

— Ай-ай-ай... — говорит полковник. — Садитесь... Что ж это? Если вам что-то было неясно, нужно было обратиться в соответствующие органы.

— Я обращался. Писал Сталину. И Сулову. Даже в радиокомитет обращался — мне было непонятно, является ли «Варшавянка» произведе-

нием искусства, и если да, то почему ее никогда не исполняют вместе с такими вещами как «Средь шумного бала»?

— Ответили?

— Да. Только все осталось по-прежнему: революционные песни всегда выделяют.

Полковник посмотрел на следователя и загадочно улыбнулся. Тот сейчас же тоже заулыбался.

— Продолжайте! — бросил полковник и вышел. Мы проводили его вставанием.

На этот раз следователь дал подписать мне мою собственную биографию, где никакого вранья я не заметил. В конце сообщалось, что 14-го августа я учинил дебош в ресторане «Савой», назвав при этом присутствующих с... в... (хотя я уже не настаивал на «выблядках», а употребил в беседе со следователем более деликатное слово «выкормыши», но и этого он не решился записать и проставил две таинственные буквы). Заканчивался текст следующей фразой: «После задержания также поносил руководителей партии и правительства, особенно Л. П. Берия и вождя народов товарища И. В. Сталина».

— Вот это даже приятно подписывать, — сказал я. — Здесь все правда, а раньше получалось, что я сам себя считаю антисоветским элементом.

Следователь поглядел на меня с любовью и успокоил: еще будет время все уточнить и обсудить каждое слово. Потом он вызвал конвоира, и меня увели.

МУЧЕНИЧЕСКИЙ ВЕНЕЦ РОССИЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Напряжение и отчаяние первых дней постепенно спадали. Я уже как-то привык к своей камере и образу жизни, а в сердце крепла надежда: нет, долго я тут не останусь. Не могут же они там не понимать, что с запуганными, раздавленными людьми коммунизма не построишь и светлого будущего не завоюешь! Многое у нас неблагополучно, а люди, не имея сил и мужества бороться, приспособливаются, молчат... Но сколько же так может продолжаться?... Должны, должны понять и разобраться... Неужели Сталин не видит?..

Но еще больше, чем на Сталина, я надеялся на тетю Зину, хотя она именно и представляла тот аппарат, который меня ужасал. Тетя Зина меня любит, она не станет разбираться, прав я или виноват, а будет выцарапывать отсюда любыми средствами. (Так оно и было — все впали в отчаянье и только вопрошали друг друга: как он мог это сделать? А тетя Зина кричала: «Я знаю только одно — он там! Там!»)

В последних числах августа я снова услышал:
— Хе!

После всех вопросов и ответов, голос прошипел:

— С вещами!

Вещей было немного — кусок хлеба, который я успел обкусать, и полпачки папирос, я мигом сунул и то, и другое в карман и, заложив руки за

спину, двинулся по коридору. Меня вывели во двор и погрузили в машину цвета сгущенного молока, а выгрузили около большого дома с широкими светлыми окнами. Школа, что ли? Во дворе было много зелени.

Потом почти час я сидел в комнате с барьером и без остановки болтал с охранником. Он не требовал, чтобы я говорил шёпотом, и от общения с живым человеком и от солнца, которое вливалось в окно, я пришел в прекрасное настроение. Я попытался выяснить у него, где нахожусь, он отвечал уклончиво, но вежливо, что поразило и еще больше обрадовало меня.

Сияющий я вошел в зал, где за продолговатым столом сидел старичок с клинообразной седенькой бородкой и в профессорской шапочке и еще какие-то люди. Старичок стал задавать вопросы и, слушая меня, прикладывал ладонь к уху. Захлебываясь и волнуясь, я рассказал свою историю. Мне очень хотелось понравиться старику. Симпатичный старик, наверняка он мне поможет.

— Вы понимаете, что находитесь в тюрьме? — спросил он.

Я немного огорчился, узнав, что это тоже тюрьма — какая же это тюрьма, когда на окнах нет решеток? — но, чтобы не противоречить ему, сказал: да.

— Отчего же вы так веселы?

«Просидел бы ты полмесяца в моей камере, небось тоже был бы рад очутиться здесь», — подумал я, но вслух сказал совсем другое:

— Российской интеллигенции привычен мученический венец... — августовское солнце великолепно освещало мою фигуру.

Профессор (позднее я узнал, что это был И. Н. Введенский) передал меня красивой художавой женщине — Маргарите Феликсовне, а та, осмотрев, направила к толстому, флегматичному тюленю с оттопыренными ушами, он велел мне искупаться в ванной, надеть больничное белье и указал мою койку.

В палате мне тут же объяснили, что я нахожусь в спецотделении института судебной психиатрии им. Сербского. Всего в отделении было четыре палаты, в каждой десяток заключенных — подсудимых, уже осужденных, были и такие, кто побывал в лагере. Сашу Иккимовича, например, забрали еще в 37-м. Когда его вызвали на комиссию и предложили сесть, он ответил:

— Я уже пятнадцать лет сижу. — И так и остался стоять на ногах.

Сереже Шевченко девятнадцать лет, был студентом-заочником, взяли его в апреле, он уже успел получить 75 лет — по трем разным статьям, но закон милостив, больше двадцати пяти сидеть ему не придется. Столько же дали сыну писателя Митрейкина (сам писатель давно уже покончил с собой, после «кудреватые Митрейки, мудреватые Кудрейки» все равно ему было не житье). Сережа симпатичный, доверчивый мальчик, искренний, жаль, в шахматы играет слабо. Говорит, что зато у жены его, Альбины, второй разряд. Но Альбины тут нет, ей дали пять лет за

недонесение. От бóльшого срока Сережа ее спас, доказал, что держал ее в страхе, и только поэтому она не донесла. Сидя в карцере, Сережа умудрился выжечь ее имя у себя на коже, третий месяц держится. Правда, в его террористической организации значатся и балерина Баратова, и студентка Наташа Козина. Следователь по особо важным делам даже не удержался, скаламбурил:

— Перебарал ты всю свою организацию!

Сережа поинтересовался, не сказал ли я спьяну: давить их надо?

Нет, я уверен, что не сказал, это совершенно не в моем духе. Самое большее, что могло сорваться с языка: «имел я его в рот». Сережа со знанием дела объяснил, что «в рот» — это не террор, это антисоветская агитация, так что я получу десятку. И добавил печально:

— А я хотел убить министра просвещения Каирова...

Он рассказывает о ночных допросах, о стоячем карцере, откуда сам уже не выйдешь — ноги так распухают, что тебя волокут. Жутко поверить, но не поверить невозможно — все вокруг подтверждают правдивость этих рассказов. У солдата Суворова под кожей какие-то спицы — надавит и спица вырисовывается. А вина его в том, что как раз в то время, когда он стоял на посту, случился пожар на объекте. Подросток Журавлев хромает — он помочился себе в валежник на сорокапятиградусном морозе, говорит, что загибался на лесоповале, теперь у него нет пальцев на ноге... Что сделали с Мишей Мамедо-

вым, неизвестно, у него не узнаешь, он говорит много и очень смешно, но всё не попад... Саша Иккимович натирается сливочным маслом и ходит по палате по пояс голый, в лучшем случае, набросив на плечи халат, а по вечерам надрывно стонет:

Лежал впереди Магада-ан —
Гробница советского края...

— и при этом тянет вдаль правую руку.

И вот что я вижу: среди всех этих несчастных людей нет ни одного негодяя, ни одного преступника. Честные, порядочные ребята, хорошие граждане. Ни один из них не добивался так исто-во, как я, угодить за решетку, никто не произносил ни речей, ни пьяных тирад, все жили скромно, учились, работали. Теперь мне понятны восторженные улыбки моего следователя — может, я ему первый и единственный такой попался, который действительно что-то сказал. Остальные-то просто оклеветаны... То-то Павлик Седых так и умер, ничего не узнав о своих родителях, то-то все, к кому я обращался со своими дурацкими вопросами, говорили: «Мы многого не знаем...» или еще яснее: «При мне можешь, а вообще-то не советую распространяться»...

Однорукий мужик-пропойца обвинен в намеренье взорвать калужскую водокачку. Ее, эту водокачку, полк МВД охраняет, между двумя высоченными заборами бегают голодная овчарка, а «диверсант» правую руку на фронте потерял...

— Почему же тебя обвиняют?

— Баба, сука, б..., чтобы участкового, кобеля, приводить, захотела от меня избавиться!..

По словарю видно — ни к чему ему водокачка, на фантазера он не похож, мыслит весьма конкретно, практичен. А клубничник такой, что даже миролюбивый террорист Шевченко как-то прикрикнул:

— Ты, диверсант, заткнись!

Венька Солдатов (из Иванова, кажется) внешностью похож на николаевского солдата — ладный такой парень с усами, но очень начитанный и развитой, коротковолновик-любитель, обвиняется в передаче неположенного текста. О деле своем не распространяется: «здесь кругом микрофоны», но шепотом на ухо делится иногда:

— Сталин, Сталин! С самого рождения только и слышу: Сталин родной, корифей всех наук, отец, полководец! Да так, что хочешь, можно сказать, даже, что у нас коммунизм...

А я-то, я-то!.. Господи, как с луны свалился! И что теперь делать? Добиваться, чтобы выпустили? Но почему должны выпустить меня, а не Салтыкова, который на десять лет меня младше — парнишка раздобыл где-то ржавую немецкую каску и примерил (у себя дома!), но кто-то увидел в окно... А Карл Ефремович Шнейдерман вручил в 24-м году Троцкому букет цветов от бакинских комсомольцев. Откуда ему было знать, что Троцкий в дальнейшем окажется шпионом — его и Киров в тот день обнимал, а машину по главной улице на руках пронесли... Рабочий Локтионов написал какое-то сумбурное

письмо в ЦК — чужак, вроде меня... Оборванец-доходяга (забыл его фамилию) сидит за намеренье застрелить Берию из ППШ. Никаких намерений у него никогда не было, кроме выпить-закусить, и ППШ тоже не было. Жену, может, и пнул когда «носаком» (так он говорил), а Берия ему вовсе ни к чему...

Убитый всем, что я увидел, а в особенности услышал, я перестал есть — без объявления голодовки, я уже понял, что никакими голодовками и демонстрациями горю не поможешь, просто хотелось умереть. Кстати, кормили там не хуже, чем в каком-нибудь рядовом доме отдыха, так что в этом смысле я весьма неудачно выбрал, где голодать. Дней пять я не притрагивался к пище, только пил воду из крана. Как-то перед ужином ко мне подошла грузная нянька с добрым лицом и зашептала:

— Иди ешь, обязательно ешь, а то заберут туда, откуда и рад будешь, да не воротишься... Хоть плачь тогда, хоть об стенку бейся, хоть на колени становись... А здесь, смотри, и книги, и шашки, и покурить дают, и делай, что хочешь!.. Иди, ешь...

Я послушался и направился к столу. Во время ужина, действительно, явились два здоровенных санитары и усадили на меня, но нянька замала на них руками — ест, мол. Они постояли, посверлили меня глазами и ушли.

За режимом в отделении, и вправду, никто не следил, можно было делать, что хочешь, так что

я ночами почти никогда не спал, а ошивался в туалетной.

Душевнобольных отделяли сразу, еще за тем столом, где со мной беседовали профессор Введенский и «королева Марго», Маргарита Феликсовна. В наше отделение клали сомнительных — заключенных с «реактивным психозом», то есть заболевших уже в тюрьме или лагере (большинство, разумеется, было симулянтами). Иногда арестованный так «не поддавался» следствию, что выводить его на суд было просто опасно — он сам потребует экспертизы, а это нечистая работа, особенно если попадался «неплановый», вроде меня.

— Институт мирового значения!.. — шептал мне на ухо Венька.

Никого не обманывала больничная обстановка, белые халаты, спокойствие персонала, хорошая еда. Все знали, что под халатами погоны. Но друг друга боялись еще больше. Если кто буянил, и его утаскивали в изолятор, воображению эзков рисовалось: ни в каком он не в изоляторе, ходит сейчас себе по городу, отгуливает выходные, а потом опять на работу — или в палату, или в общую камеру. Боялись, например, Иккимовича — у него прическа не эзковская. То, что он никого ни о чем не расспрашивал — он сам любил поговорить — считали умелой провокацией. Были уверены, что покривившийся плафон в уборной — чувствительный микрофон, и подолгу разглядывали его — лампочка в нем не горела.

В виде исключения попадались и у нас в отделении настоящие психи. Вахрамеев, бывший начальник паспортного стола, шептал всем и каждому:

— Пиши письмо Маленкову, мол, согласен работать. Кадры им нужны. Но свои условия оговори. Я потребовал — два месяца в Сочи и две тысячи в месяц. Буду разведывать с помощью фокусов и манипуляций.

То же самое он заявил и комиссии, ему ответили, что обдумают его предложение. Никаких фокусов и манипуляций, кроме как под одеялом, за ним не замечали. Преступление он совершил серьезное: уже будучи на пенсии, в один прекрасный день ворвался в американское посольство и попросил политического убежища, но за что его преследуют, объяснить не мог. Твердил только, что в колхозах плохо живут. Видимо, американцы сочли эту информацию недостаточно ценной и стали гостя деликатно выпроваживать.

— Меня заберут, как только я выйду от вас! Ему посочувствовали.

— Я согласен работать на вас с помощью фокусов и манипуляций! — соблазнял Вахрамеев.

Американцы были вежливы, но неумолимы — предложили прогуляться по зданию посольства (оно тогда еще находилось на Моховой), показали картинки на стенах, выразили сожаление, что советские граждане редко бывают у них, даже чем-то угостили в буфете, но потом все же распрощались. Вахрамеева взяли — не взяли, а схватили дрожащими руками чуть ли не на террито-

рии посольства, напуганы они были больше самого злоумышленника — сунули в бокс и отвезли на Лубянку. Вахрамеев запаниковал, когда ему стали заглядывать в зад — он понял, что таким образом просматривают мозги.

Стоя в уборной на известном возвышении журналист Карл Ефремович Шнейдерман, заикаясь, произнес страстный монолог:

— Эта б-б-б... хочет, чтобы никто никому не доверял, он сошел с ума от им же пролитой крови, он всех боится, а приближенные играют на его безумии! — Но чему следовало приписать этот взрыв — душевному заболеванию или отчаянью? Терять Шнейдерману было уже нечего, он и так имел дважды по двадцать пять, так хоть душу отвести...

Саша Иккимович заканчивал свои обличительные речи изображением демонстрации на Красной площади:

— Бак воды заменяет килограмм масла! — и сам же подхватывал: — Уу-рь-я-я! Мы загоним вас всех на Колыму! Урья-я-я!

Мы схватывались с ним до крика, чуть ли не до драки. Я говорил, что руководители страны не людоеды, а обыкновенные люди. И какая им корысть? Все, чем они пользуются, — казенное. Я защищал своего родителя, я же знаю, что он служит не из подлости, а из убеждения.

— Мой отец мечтает закончить свои дни бакенщиком на Волге...

— Бакенщиком? На Волге? Мечтает? Ах ты!.. Твой отец господин, банкетный лизо-

блюд, а я — раб! Вечный раб коммунизма!

— Замолчи, ... твою мать!

— Не тронь мою мать! А тебе я башку разобью!..

Он рассказывал о смерти, о ночах на промерзших нарах в обнимку с мертвецом — откликаются за него на поверке, чтобы получить лишнюю пайку, рассказывал о массовых расстрелах... Я цепенел от ужаса. Ну вот... Ты хотел правды? Вот она, правда... Получай ее, бери... И я говорю, что они не звери? А я? Я тоже вскормлен от этого корыта... Что я делал? — Ленина играл? Водку жрал? Паясничал... Я не пытался сдерживать слез, падал перед Сашей на колени и хотел целовать ему руки... Он мученик. Мученик народный...

Саша был из Харькова, взяли его за одну фразу, сказанную за кружкой пива в клубе Ильича:

— Обещали крестьянам землю дать и дали — попробуй теперь откажись от нее!

«Опознавал» его не тот, кто донес, — осведомителей оберегали. Из лагеря Саша бежал и сумел уйти далеко, но поймали. Доставили к зоне. Он так жался к конвою, что стрелять не решились, только избили зверски.

Рассказывали, что один беглец схватил немецкую овчарку за раскрытую пасть и стал раздражать, собака вырвалась, убежала, но когда парня все-таки скрутили и притащили в зону, овчарка, увидав его, юркнула под лавку. Об удавшихся побегах никто не слышал, и тем не менее Сережа Шевченко твердил:

— Убегу. Ничего, поживу два-три года и убе-
гу. Насушу сухарей, спрячусь в зоне или где-ни-
будь рядом, а когда перестанут искать, дам
ходу...

Про Иккимовича говорили, что он не может
видеть человека с ружьем — как заметит «пуля-
лу», накидывается, вырывает винтовку и швыря-
ет на землю. Я таких сцен не наблюдал, при нас
с ружьями не было, а вот как Сашку крутили и
тащили в изолятор за то, что не давался стричь-
ся, видел.

Однажды он нагло заявил, что выиграет у ме-
ня в шахматы. Это было просто смешно. Во
время партии он смотрел больше на меня, чем на
доску, где дела его шли весьма неважно, и вдруг
под его взглядом я совершенно автоматически
передвинул какую-то фигуру, после чего он сле-
дующим же ходом сделал мне мат. Сколько я ни
умолял его сыграть еще раз, он отказался наот-
рез.

На груди у него был вытатуирован Ленин, он
верил, что «партия еще воспрянет ото сна» и в
разговорах часто упоминал «дядю Володю», но
дожить до лучших времен не надеялся. «Тогда
таких, как я, в музеях будут показывать».

Как раз в это время в Москве проходил XIX
съезд партии, но от нас даже такое событие
тщательно скрывалось — персонал был вышко-
лен. Однако мы прослышали каким-то образом,
что Маленков делал доклад, не знали только —
кончился уже съезд или еще продолжается. В
один из дней к нам в отделение зашел электро-

монтер со стремянкой и принялся что-то крутить на потолке. Иккимович подошел к нему и попросил закурить. Тот дал папироску, Саша затащился и мечтательно произнес:

— Эх, на съезд бы сейчас, вот где покурить... Там начальство во какие бычки бросает...

Электрик усмехнулся и выдал «тайну»:

— Поздно хватились — съезд-то кончился.

Иккимович — тертый калач — даже бровью не повел, и только когда монтер ушел, объявил новость нам.

СУМЕРЕЧНОЕ СОСТОЯНИЕ ДУШИ

Когда родители разошлись, я принципиально отказался пользоваться отцовской машиной, однако, встретив однажды Ботвинника, не удержался и предложил «подвезти». Сам я и впредь буду ездить на троллейбусе — «на зло ему», но ради великого шахматиста не грех в виде исключения разок потревожить Федяева или Власова.

Нужно было попасть в дурдом, чтобы в голове у меня прояснилось, и я, наконец, понял истинное положение вещей. Теперь до меня начало доходить, что не только я сам навсегда выпадаю из блистательного мира, где Ботвинник, с термосом в руках, подпрыгивающей походкой направляется на международный турнир, где Неллепп поет арию Германа, где в Третьяковской галерее Иван Грозный убивает своего сына, но и с родителями моими неизвестно что будет — мо-

гут исключить из партии, выгнать с работы, даже посадить. Но если меня признают сумасшедшим, их оставят в покое. Это мне объяснили четко.

Вокруг ходили «добротные» безумцы. Миша Мамедов шагает быстро, пружинисто, то и дело бессмысленно скалится, ощупывает себя руками и приговаривает:

— Я деревянный! — что не мешает ему тут же сделать сальто и сокрушенно добавить: — Я бездарный!

То он уверяет, что он вонючий, грязный, а то тихо и доверительно рассказывает, что лично знаком с Шекспиром и очень хвалит его — в Горьком в больнице встречались, и в доказательство читает шекспировские сонеты в переводе Маршака.

Другой обитатель нашей палаты Дёма ходит медленно, на широко расставленных ногах, с очумелым лицом, когда спит, накрывается одеялом с головой, суп выпивает из миски через край, второе хватает руками, нянечка жалеет его и, если случается рядом, кормит с ложки. Не дай Бог обидеть его или передразнить, он свалит с ног мощным ударом. Веня Солдатов сообщил мне (шепотом на ухо), что Дёма вполне нормальный, но его ожидает расстрел — он не то власовец, не то эсэсовец. Когда его окружили, он отстреливался, пуля попала ему между ног, он очумел от боли, но теперь давно очухался, только вида не подает. У Дёмы железная воля, он хочет жить, и что бы с ним ни делали — а ему делают уколы и

крутят и до ранения чувствительное место — все терпит. И однако же он доверил свою тайну Веньке, а Венька рассказал все мне. Теперь, когда мы оставались втроем, Дема смотрел на меня многозначительно. Но если он волновался на мой счет, то напрасно, мне никогда не пришло в голову «разоблачить гитлеровца», дабы зарекомендовать себя патриотом.

Было у нас в отделении несколько «молчальников». Одного из них Шнейдерман называл нигилистом — он все время печально и задумчиво покачивал головой, с чем бы к нему ни обратились. Шнейдерман любил спрашивать его:

— Скажи, ты Сталина любишь?

«Нигилист», не сводя глаз с Карла Ефремовича, отрицательно качал головой.

Другой молчальник, Литус, машинист-стахановец из Днепропетровска, последователь Кривоноса, один из первых орденосцев, хоть и не произносил ни слова, но не отказывался писать, так что нам была известна его история. Вот она: портрет товарища Сталина на его паровозе закоптился и не имел никакого вида. Литус не пожалел собственных денег, купил в магазине новый, написанный масляными красками, в мундире генералиссимуса, и повесил в положенном месте, а старый снял да и бросил в топку. Помощник Литуса, кандидат в члены партии, сообщил о его поступке парторгу, тот решил проконсультроваться в компетентных органах, а уж органы сразу определили террор. Теперь Литусу грозит двадцать пять лет.

Еще был парень с дегенеративным лицом, он без конца пел дурным голосом одну и ту же песню и правой рукой крутил невидимую шарманку. Иногда он прыскал пальцами на окружающих и кричал: «Я чёрт!». Однажды я протянул ему открытую книгу, он положил ее вверх тормашками, долго глядел, не переворачивая страниц, а потом изрек:

— То ли я ее читаю, то ли она меня — не пойму.

Потом я видел «шарманщика» через дверь, он сидел в изоляторе. Заметив меня в дырку, он заорал злобно:

— Косишь, падло?! Коси, коси, все равно разоблачат!

Ему было лучше знать, он провел в институте девять месяцев.

Когда Мишу Мамедова вызвали на комиссию, он сразу цапнул со стола пачку «казбека», потом подхватил чью-то шляпу и умчался с криком:

— Это моя шляпа!

Комиссия хохотала.

Веня говорил о нем, что он настоящий Камо. Впоследствии его слова подтвердились.

Я чувствовал, что мне, профессиональному актеру, далеко до этих гениальных самородков, в глаза никогда не выдавших ни одной книги по психиатрии. Впрочем, и мне не приходилось в них заглядывать. Я знал, что обмануть врачей мне не удастся. Но... вполне возможно, что кто-то спасает отца. Почему меня так поспешно — через две недели после ареста — отправили на

экспертизу? Может, от меня требуется самая малость, только слегка подыграть?.. В училище нас наставляли: «образ — это «я» в предлагаемых обстоятельствах». Я решил идти от себя. Ночи я проводил в «парламенте» (так мы называли уборную), а под утро заползал под свою кровать и принимался выкрикивать (не меняя слов «Кая Юлия Старохамского»):

— Все на Форум! Да здравствует Учредительное собрание! И ты, Брут, проданся большевикам? Проданся ответственным работникам!

Майор, инвалид войны, из Архангельска, изрезавший себе на следствии грудь, наклонялся и с участием спрашивал:

— Что ты делаешь?

Я доверительно объяснял ему, что вынужден оставаться под кроватью, так как это единственное место в Советском Союзе, где человек имеет свободу слова, собраний и печати.

Дело у этого инвалида-архангелогородца было почти такое же, как у меня. Выходя из пивной, он закричал:

— Отведите меня к этой бляди, я ее убью!

Ошивавшийся возле дверей осведомитель полюбопытствовал:

— К какой бляди?

— Как к какой? К усатой!

На свою беду майор, в отличие от меня, мыслил военными категориями («убью»), так что получил двадцать пять лет — без всякой скидки на инвалидность. Двадцать пять отмерили и Володе Давыдову, московскому инженеру, который

в ресторане чисто случайно сел за столик, за которым ужинал секретарь американского посольства Гарви.

Вечерами, глядя сквозь бронированные окна «парламента» на сияющую огнями Москву, я фантазировал:

— Думаете, это дома? Это макеты. А в прорезях индикаторные лампочки под игрушечными абажурами — чтобы думали, что там люди живут, что еще не всех пересажали...

Однажды я подошел к дежурному и стал объяснять стоявшим рядом Салтыкову и Шевченко:

— Он думает, что это мы — заключенные, а он — свободный человек. Да он просто бесконвойный... Выйдет на улицу, за ним сразу другой — в кармане ноган, за тем еще один, и так без конца. Даже за Берией ходит ему неподвластный. У одного Сталина затылок свободный — захочет — сочинения Гитлера издаст, захочет — свастику введет...

В мою игру стал включаться Сережа Шевченко, потом и Салтыков. Мы опускались на колени, кланялись и просили Бога, чтобы он покарал злодея Сталина. Иногда я обращался не к Богу, а к сыну и наказывал отомстить за меня. (Про отца я не вспоминал, нельзя требовать невозможного.)

Я пел революционные песни (лагерных еще не знал, но и революционные прекрасно выражали наше настроение):

... Из наших костей
Поднимется мститель суровый.
И будет он нас посильней!

Суворов подхватывал и с лицом величественным и суровым кружил по «парламенту» как по камере.

Привезли молодого парня из Жиздры. Лицо у него было бледное, измученное и красивое. Он рассказывал, что в колхозе совершенно нет хлеба, у бабы от голода пропало молоко, нечем ребеночка кормить. Я плакал от этих рассказов, а он совершенно спокойно говорил:

— Всех вождей надо перевешать на кремлевских зубцах...

Потом в палату привели худощавого мужчину, он прижимал к груди несколько надкусанных кусков черного хлеба. Спрятав хлеб в тумбочку, новенький зарокотал:

— Дубровлаг... Воркутлаг... Речлаг... — при этом он объяснял, чем один «лаг» отличается от другого. Страшнее всего «Речлаг» — номера везде, переписка два раза в год, многие спят, прикованные к тачкам.

Он оказался Владимиром Сергеевичем Геништой, инженером-связистом из Новосибирска, потомком композитора Геништы (написавшего романс «Черная шаль»). Через два года после окончания войны Владимир Сергеевич, отец двух девочек, явился в местное МГБ и сказал:

— Заберите меня, убейте! Я ненавижу вас всех, ненавижу советскую власть, не могу жить...

Работник МГБ посмотрел на него с интересом и спросил:

— Вот у нас тут недавно был товарищ Маленков. Если бы у вас было оружие, как бы вы поступили?

— Всадил бы все пули в него, а последнюю в себя.

Чекист пожурил Геништу за глупое безответственное поведение, сказал, что нельзя так распускаться, ведь он хороший инженер и объективно является честным советским тружеником.

— Вот вы думали, придете сюда, мы вас тут же и заберем. Так пусть ваш собственный опыт докажет вам, что мы арестовываем действительных врагов, а не таких путаников, как вы. — Затем в весьма спокойных и благожелательных выражениях эмгешник убедил Владимира Сергеевича забыть об этом инциденте, взять себя в руки и жить спокойно.

И в самом деле, выйдя из здания МГБ, Геништа почувствовал облегчение и решил примириться с советской властью. Через два месяца его забрали и дали двадцать пять лет за намерение убить одного из руководителей партии и правительства. Сначала он попал в Москву, в конструкторское бюро МГБ, но потом был сослан в Воркуту, в шахту. Там его вскоре вызвал оперуполномоченный и предупредил:

— Геништа! Ты там что-то насчет Катинского леса распространяешься, имей в виду — даже здесь двадцать пять лет прожить трудно, а мы можем создать тебе условия похуже.

Владимир Сергеевич усомнился, чтобы могло быть хуже, но «кум» его на этот счет успокоил — есть такие места, где намного хуже... Геништа внял предостережению и с тех пор старался помалкивать. Но с нами он, конечно, поделился своими соображениями: в Катынском лесу десять тысяч польских офицеров расстреляли не немцы — нет.

Я усомнился в его гипотезе — с какой стати мы должны реабилитировать фашизм? А митрополит? А Алексей Толстой?

— Ха! Алексей Толстой! Автор романа «Хлеб»! А митрополит? Что ж... За ним миллионы беззащитных православных, как покинуть их ради нескольких тысяч поляков, католиков? Да и как вы себе представляете их подписи? Не знаете, как это делается? Это совершенно не гитлеровский почерк! Гитлер в это время наступал.

— Что ж, по-вашему, немцы не расстреливали?

— Немцы расстреливали, и фашизм преступен. Но вспомните немецкую практику: Майда-нек, Дахау, Освенцим, Бухенвальд: волосы туда, золотые коронки сюда, жир на мыло, зола на удобрения — методичность и аккуратность! И имея такие прекрасные правила, вдруг ни с того ни с сего расстреливать и зарывать поляков? Гитлер уничтожал евреев и цыган, а остальных использовал «целесообразно» — из русских он создал целую армию. Сталин, это верно, из немцев Поволжья ничего не создал... И потом, зачем гитлеровской пропаганде было братья за столь

сомнительное дело — строить костел у могилы, нейтральных журналистов приглашать, пусть зависимых, но все же свидетелей, шведов, например? Небось, в Освенцим шведов не приглашали! Нет, это работа Сталина — нет, это работа Сталина — нет сил доставить товар на Колыму, значит, уничтожить! Так и в Риге было, и в Минводах, и в Брянске, везде, где политических не успели эвакуировать...

Геништа много и интересно рассказывал о Власове и его армии.

— Их идеологи рассчитывали, что Россия не вечно будет гитлеровским протекторатом. — Сам Геништа решительно осуждал власовцев: — Нет, нужно разделить судьбу народа, а не полагаться на иностранные штыки. Я уж не говорю о том, что бы принес России фашизм, но и американцы, которым теперь многие обязаны своим процветанием, России могли бы подарить только уничтожение большевизма, а этого мало. Нельзя! Нельзя формировать систему за спиной оккупантов, даже самых бескорыстных. Вспомните большевистскую мораль семнадцатого года: разлагать армию — она-де защищает капиталистов и помещиков. Ну, армию разложили, а войска Вильгельма и поперли!.. Нам нужна теперь не революция, а эволюция, и она неизбежна. Иосиф I что-то заметно дряхлеет — такую жалкую речь произнес на съезде. Говорят, два удара с ним уже было, подождем третьего.

Как всякий лагерник, Геништа знал множество баек и легенд. Героем одной такой леген-

ды был шеф тифлиссских жандармов полковник Полозов:

— Жандармский корпус, как теперь ясно, был создан с единственной целью — погубить Россию. Но все его усилия были бы тщетны, если бы не полковник Полозов. 28 ноября 1894 года привели к нему группу налетчиков, схваченных на месте преступления — при попытке ограбить казначейство, причем экспроприаторы воспользовались огнестрельным оружием, и с обеих сторон были убиты. Полковник Полозов не был бюрократам и, дабы избежать суда и следствия, решил списать всю группу «в расход» — как позднее выражались защитники трудового народа.

— Махарадзе. 25 лет. Православный.

— Очень хорошо. Расстрелять. Следующий!

— Кандалия. 28 лет. Мусульманин.

— Мусульманин? Отправить к Магомету.

— Петросян. Грегорианец. 20 лет.

— Что-то морда знакомая... Туда же!

Наконец, вводят последнего. Нескладный, рыжий подросток, рябой и рахитичный, с испуганными бегающими глазками и пальцами, тянущимися к носу. Полковник обратил внимание на форму Тифлиссской духовной семинарии.

— Ты что же, семинарист? Фамилия!

— Джугашвили...

— Джугашвили? Не Виссариона ли Ивановича сынок? Да! Хорош, нечего сказать, сынок у церковного старосты — с бандитами связался! Этому вас в семинарии учат?

— Больше не буду...

— Это ясное дело, что не будешь... Разве только на Иуду в аду нападете да тридцать сребреников у него отымете...

— Как прикажете с семинаристом, ваше превосходительство?

— Надавайте сопляку по шее и гоните к е... матери!

Семинариста вывели, за домом послышались свистящие и хлюпающие звуки, топот ног, и все стихло... 30 ноября ректор Тифлисской духовной семинарии распорядился исключить Джугашвили Иосифа Виссарионовича за неблагонадежность.

— Ну и Полозов! Вот болван!.. — вздыхает Сережа Шевченко. — Что же ты наделал, идиот!.. Бедная Россия — все-то у тебя казнят не того, кого надо...

— Вот и мы с напарником, — говорит Геништа, — на воркутинской шахте таскаем-таскаем носилки, а как совсем выбьемся из сил, стонем: «Эх, Полозов, Полозов!..» Стонет Колыма, голодная и обмороженная, стонут серолицые обитатели Бутырок и Централки, истерзанные жертвы Лубянки, дистрофики Норильска и Экибастуза, командармы и профессора, крестьяне и рабочие... Полозов! Как ты мог, как ты смел не расстрелять этого плюгавого семинариста, этого рыжего рахита в самом начале его пути?! Понимаешь ли ты, что от этого удара Россия уже не оправится!..

— Англия! Посмотрите — она пережила распад величайшей мировой империи и без едино-

го выстрела! — говорит Геништа в следующий раз.

Без единого выстрела? — я задумываюсь. В сущности, да. Страна-победительница, она видоизменила систему и обошлась без войн. Французы зашились во Вьетнаме и Алжире, голландцы в Индонезии, а в Лондоне по-прежнему, как пятьсот лет назад, у Букингемского дворца идет развод королевского караула...

— Вопреки непреклонным законам истории, — читал Геништа.

Нет, я не мог согласиться. Капитализм обречен. Союзники нашей кровью победили Гитлера. Сталин не вечен, а дело Ленина бессмертно.

— Вы меня не поколеблете! — кричал я. — По своим убеждениям я коммунист!

— А я и не надеюсь тотчас убедить вас, — миролюбиво отвечал Владимир Сергеевич. — Но что-то отложится. Бессмертных дел не бывает, даже английские традиции не вечны.

Общение с ним сделалось для меня необходимостью и счастьем, хотя подчас мы оба нервничали, один раз он накричал на меня — я будто бы подтвердил, что он еврей, а он никак не мог с этим согласиться — что за жизнь у еврея, тем более в лагере. Он уже хотел жить и, насколько я мог заметить, боялся и начальства, и лагерников, хотя человек, который «тискает романы», в лагере всегда уважаем и оберегаем. Блатные любят послушать «айвенгу». Он и нам без конца рассказывал что-то, читал стихи, многое я слышал впервые. Он помнил все съезды, все выступ-

ления, некоторые цитировал на память, и часто повторял слова своего дяди-«военспеца»:

— Вы не представляете себе, какой террор развернут большевики со временем. — Дядя говорил это еще во время гражданской войны.

— Почему же не развернули в двадцатых?

— Руки еще были коротки...

Надо сказать, что по отношению к Ленину Геништа все-таки испытывал некоторые сентименты — основатель первого в мире социалистического государства однажды спас его от порки. Мать взялась уже было за ремень, но тут кто-то крикнул: «Ленин приехал!» — и все побежали на станцию. У вождя сломалась машина и он ждал пригородного поезда, используя вынужденную задержку для беседы с местными жителями.

КОМИССИЯ

На комиссию меня вызвали, продержав в институте больше трех месяцев. Председательствовал директор института Бунеев. За столом сидели — Введенский в сереньком колпачке, доцент Луц, «королева Марго» и мой следователь в форме майора, теперь я узнал, что он майор.

Я стал говорить, что не знаю, почему меня хотят посадить в тюрьму. Просто я — как мог — выражал тревогу за судьбу революции. И вообще, я скромный человек, хоть и играл Ленина, а жил в общежитии, не требовал, чтобы меня на руках носили.

Майор лениво заметил, что актер я средний, и никто никогда не собирался носить меня на руках. Тут Бунеев вдруг заорал:

— Пьянчуга! Что ты в дневнике писал? Какая-то ахинея — гробы, черепа, а гадостей, гадостей всяких сколько!

— Но это же отроческий дневник... — залепетал я.

— Отроческий? Как будто ты сейчас лучше! Ты и сейчас не лучше! Отравиться пытался! Все это одно кривлянье! На сцене надо играть, а не в жизни! На сцене-то не очень получается... — И неожиданно спросил: — Ты любишь советскую власть?

Я совершенно растерялся, забыл все свои монологи и только хлопал глазами, на которые уже наворачивались слезы. Меня отпустили.

Немного придя в себя, я подошел к врачу — литовке с печальным взглядом — и сказал:

— Какой же этот ваш Бунеев профессор? Настоящий держиморда. Наорал на меня из-за дневника, который я вел в седьмом классе. Сам-то он в этом возрасте — неужто «Анти-Дюринг» сочинял?

— Вы еще вспомните Бунеева добрым словом... — ответила врач.

Я понял, что моему пребыванию в «Сербском» так или иначе пришел конец. А я так привык к его палатам, к «парламенту», в котором постоянно выступал и который мыл за пяток папиросок-гвоздиков (иногда нянька совала добровольцам лишнюю котлетку). Работа была несложной

— выгнать всех из уборной, спустить воду в унитазах, выплеснуть ведро воды на пол, а потом собрать тряпкой и не пускать никого, пока не просохнет. Если кто рвался, я норовил окатить водой, и игра эта нас забавляла. За три месяца, проведенные в институте, я значительно пополнил свой репертуар — в основном за счет Геништы, и теперь мне предрекали легкую жизнь в лагере (если я туда попаду). В это время к нам поступил замкнутый, серьезный парень, сибиряк с еврейской фамилией и красивым лицом. Послушав, как я «выступаю», он без обиняков объявил мне:

— Я тебя насквозь вижу — ты, чтобы спастись, на колени брякнешься, сапоги лизать будешь, вопить: помилуйте!

О себе и своем деле он не рассказывал. Я чувствовал, что мое беспрерывное «пение» его здорово раздражает, но остановиться не мог — хотя меня и поили исправно и «краснушкой» и хлоралгидратом, но ужас при воспоминании об одиночке в подвале пересиливал все лекарства и я «трекал» почти без сна.

— В лагере не захотят держать сына бывшего секретаря ЦК, — сказал К. Е. Шнейдерман, — лагерь — беспроволочный телеграф, да и ты шумный. В больнице и тебе будет спокойней, и этой банде — сиди без зачетов...

Когда медсестра Алла вела меня «с вещами», я взгрустнул и сказал, что в институте мне было хорошо.

— В больнице еще лучше будет, — шепнула она. — Там кино и волейбол.

ЭТАЖОМ ВЫШЕ

На улице стояла настоящая зима, и я здорово продрог в «воронке» в своем ресторанным костюмчике, распоротом по всем швам. Привезли туда же, откуда взяли, на Малую Лубянку, но на этот раз поместили в общую камеру №17 с окном под потолком — в окне можно было видеть сапоги караульных. По сравнению с моим прежним положением, это было явное «повышение». А самым приятным было то, что меня встретила приветливая физиономия Шевченко. Отношение к заключенным здесь тоже было совершенно иное. Моясь в душе, я исполнил почти весь свой репертуар, начиная от

Я карактер свой не нашел...

Мама, зачем ты меня ражж-жала,

Лучше б я на свет не взайшел!..

(Из «Интервенции» Славина)

и до

За обойденного, за угнетенного,

Встань в их ряды!

Иди к обиженным, иди к униженным,

Там нужен ты!

Вертухай прослушал все беззлобно и, по-моему, даже с удовольствием. Правда, когда я пропел:

И кончая песню
На всю орем мы Пресню:
Керзону-лорду — в морду,
А Рыкову — привет!

— дверь приотворилась, и он спросил с некоторым опасением:

— Ты что поешь?

— А я других песен не знаю и знать не хочу! — ответил я нагло.

Кроме меня и Сережи, в камере находились пожилой татарин и молодой мордвин. Между собой они разговаривали по-татарски. Татарин был настоящий дедушка, но похвалялся, что и теперь, на тюремных харчах, без кумыса и конины, мог бы обслужить трех девочек, на худой конец — одну три раза. Мордвин был так изможден, что о женщинах не вспоминал. Срок у обоих двадцать пять лет — за то, что побывали в немецком плену.

Геништа рассказывал, как в западные лагеря для перемещенных лиц приезжали кагебешники для душевных разговоров, даже водку выставляли. Случалось, бывший военнопленный сомневался, стоит ли ему возвращаться на родину — «могут посчитать меня изменником, я у немцев был в команде по разминированию. А что делать? Единственное спасение от голодной смерти, а подорвусь на mine, так хоть без мучений...» Но добрый чекист-патриот откупоривал бутылку и успокаивал:

— Вася! Какой ты изменник! Это судьба миллионов, это стихия, водоворот, родина никогда тебе не напомнит об этом!

Привозили с собой плакаты: стоит старик в море ржи, рука с косою бессильно опустилась, другой он, как козырьком, прикрывается от солнца и вглядывается вдаль. Под плакатом подпись: «Вернись, родимый, мы ждем тебя из фашистской неволи!»

Был номер «Правды» — беседа Сталина с иностранным корреспондентом: «Ни один волос не упадет с головы вернувшегося пленного, об этом советское правительство заявляет со всей ответственностью». Долго потом вернувшиеся искали этот номер в лагерных подшивках, да что-то не нашли. Нет его и в Ленинской библиотеке. Не там, видно, он хранится...

И татарин, и мордвин были теперь привезены из лагеря для «свидетельствования» и наслаждались отдыхом.

Жизнь в камере была вполне сносной. Мы с Сережей играли в шахматы — доска нам была положена, а фигуры мы лепили из хлеба. Правда, после прогулки мы их уже не находили и приходилось делать новые. Из всех наших соседей один, В. Черепанов, был явно сумасшедший, он все время кричал, что повесится, не выдержав голода, хотя получал хороший паек. Вертухаи смеялись, глядя на его жирные щеки, трясущиеся от возмущения. Обычно кто-нибудь из обитателей камеры не выдерживал его крика и, стукнув

по затылку, заставлял замолчать, но вскоре он снова принимался скандалить.

Как-то под утро в камеру ввели белобрысого шахтера из Сталиногорска. Рассказал: вечером взяли со смены, ночью везли на легковушке с двумя приятными собеседниками по обе стороны.

— За что?

— Не знаю... Может, в деревне кто концы отдал... Наварил я как-то самогону для праздника — себе и гостям, гуляли только родственники, из мужиков — тесть и кум, они на меня и стукнули. Отсидел я год, вернулся, опять наварил самогону и их позвал — мол, невдомек мне, кто на меня показал. Врезал обоим трехлитровкой по башке — для памяти, а сам в Сталиногорск на шахту подался...

— Нет, друг, не то говоришь. Поищи контрреволюцию.

— Какую-такую контрреволюцию!

— Самогоном Лубянка не интересуется. Может, в шахте что случилось?

— Недавно врубовая машина два дня стояла...

— Вот это вернее — диверсия, экономическая контрреволюция...

— Так не по моей же вине она сломалась...

— Это там разберутся. Техническая экспертиза будет.

До завтрака «рабочий-крестьянин — диверсант-самогонщик» продолжал поминать кума, в десять был вызван «без вещей», а вернулся только в три — бледный, осунувшийся, убитый.

— Что предъявили?

Он с трудом стал перечислять статьи, среди них была 58, 1-6.

— Друг! — радостно воскликнули татарин и мордвин. — А в плену ты не был?

— Был. Так разве я когда скрывал...

Товарищи по несчастью усадили свежего «изменника» в уголок и стали поучать:

— Правды не доказывай, что следователь скажет — соглашайся. Правды тут еще ни один не доказал, а будешь сердить следователя, в гиблое место угодишь. Смотри только, чтобы никого не прихватить, на удочки не попадайся.

Теперь все трое часами сидели и шептались «по-семейному», объединенные своим преступлением — не сделали, как самураи, харакири, не застрелились, как финские снайперы-«кукушки». В панике, без командования, без патронов, покинутые и деморализованные, оказывались в плену ротами, батальонами, полками. В плену жили не как французы, бельгийцы, англичане и американцы, кормившиеся посылками Красного креста, и даже не как рабы — к рабам, как правило, относились лучше. Зато теперь могут сравнивать гитлеровские лагеря с советскими, радуясь порой, что в своем дольше протянешь и команды понятнее... Не были они ни полицаями, ни старостами, таскали носилки в каменоломнях, но и этим «объективно» помогали врагу. Сменив брюквенный суп на баланду, самые выносливые (оставшиеся в живых) в качестве тех же рабов трудятся — но уже не на Гитлера, а на Сталина. «Предателям» не помогало ни участие в лагер-

ном восстании, ни пребывание в партизанском отряде, главная улика всегда была налицо — остался жив. Они слагали стихи:

Если я погибну,
Родина, в бою,
Партия согреет
Старость, мать твою!

Или:

В годы опасности Родина-мать
Шлет сыновей за себя умирать.
Много б она благородней была,
Если б сама за детей умерла.

ТАГАНКА — ВСЕ НОЧИ ПОЛНЫЕ ОГНЯ

Вызвали «с вещами» и опять повезли куда-то на «воронке» — все в том же костюмчике, замерз ужасно. Привезли в какой-то Дворец культуры, сунули в бокс — ни есть, ни пить не дают... Пропел все песни, прочитал все стихи... Выдохся и замолчал... Откуда-то будто слышится низкий звук баса-геликона... Может, мерещится... Вывели, опять просматривали задний проход, мяли и прожаривали одежду, изучали ботинки, сфотографировали на вертящемся стуле в профиль и фас — по всем правилам тюремного ведомства — и снова заперли в боксе. Принялся стучать в дверь — сначала открыли, потом уже не открывали. Глазка нет. Стал равномерно

биться головой в дверь в надежде хотя бы потерять сознание... В конце концов открыли, выдали ложку, миску, одеяло и отвели в камеру с двумя длинными железными нарами — если каждые для двоих, то коротковаты, а для одного лишек остается.

Чернявый парень проснулся и стал расспрашивать: кто, откуда, какая статья. Я отвечал осторожно и сбивчиво.

— Ну и напугал вас Герасимов! — презрительно бросил новый сосед.

Утром выяснилось, что сам он вырос в лагерях и тюрьмах, чувствует себя здесь как дома, на воле у матери-дворничихи его не прописывают, как рецидивиста, но в глаза советским людям он может смотреть честно и прямо, поскольку он уголовник, а не какой-нибудь «фашист», вроде меня. Звали его Николай Казаков, по прозвищу «Черный». Был он в это время свидетелем по «политическому» делу. Дело заключалось в том, что блатные во главе с неким Шахматовым терроризировали всю камеру, отбирая пайки и посылки у «мужиков» («мужики» — растратчики или имевшие «левые» доходы). Доведенные до отчаяния «мужики» стукнули «куму», будто Шахматов за картами обронил:

— Придут американцы, Ёську повесим, чекистов перебьем...

Действительно, ни Ёська, ни чекисты в этой среде большим авторитетом не пользовались. Завели дело. «Свидетель» Казаков упирался:

— Ничего такого не видел, не слышал, играл в карты...

Когда я изложил Николаю свое дело, он долго размышлял, а потом вынес мне оправдательный приговор:

— Мало что ты кричал — он этого не слышал, значит, вреда ему никакого...

Черный с утра до ночи был занят делами блатняцкой общины — мастерил «уду», «пулял» ее, распускал носки для веревок, отдирал дранку от урн, сочинял «ксиву», стучал в стены и, сложив ладони рупором, трубно кричал. Соседи отзывались. Через уборную Колька общался с «законниками», умудрялся получать курево и даже белый хлеб, маргарин, сахар.

И бесподобно пел. Вообще все голоса были поставлены либо под Утесова, либо под Бернеса, но с цыганским надрывом. Песни были душещипательные. Обожая красочные словеса, Колька и от меня перенял одну:

Бананы ел,
Пил кофе на Мартинике,
Курил в Стамбуле
Злые табаки,
В Каире я
Жевал, братишки, финики...

Его песни тоже звучали красиво:

Ах, дайте мне комнату отдельно,
Я ширмой ее отгорожу...
Ах, дайте мне стакан отравы,
Я выпью ее и умру...

Я включился в «самодеятельность», исполнив по батарее отопления «Пускай проходят века, но власть любви велика», и был награжден шумной овацией «пацанов» и воров.

С подъема до отбоя неслась переключка:

— Да здравствует дедушка Калинин! — вопил простуженным голоском Коля «Кутузов», и весь корпус подхватывал:

— Урра-а-а!

— Да здравствует товарищ Шверник!

— Кара-ууул!

Благодарные сердца пацанов и блатных помнили дедушку Калинина и славили восьмой год подряд за амнистию сорок пятого года. А при Швернике амнистии не было, хотя сорок седьмой год был, вроде бы, достаточным поводом для нее. Задолго до указания партии блатные чувствовали Ленина именно в день рождения, а не смерти, как прочие советские граждане. 22 апреля под сводами Таганки неслось:

— Да здравствует дедушка Ленин!

— Ура-а-а! — подхватывали детские голоса.

Впрочем, у них был предшественник, пожелавший Ленину не туманного «здравия», а самого что ни на есть здоровья через тринадцать лет после смерти, и с бокалом в руке провозгласивший:

— За здоровье Ленина и ленинизма!

Тюремная администрация заботилась об идейной закалке и морально-политическом уровне блатных подростков. Специальные воспитатели носили им журналы с картинками. В лагерях им

давали возможность учиться, и они отъедали вполне приличные «будки», издеваясь над «фашистами», «анархистами» («анархисты» те, кто не признает воровских законов), да и над охраной тоже — ведь они «психованные», отчаянные, им все прощалось, даже политическая незрелость. В Таганке я не раз слышал звонкий голосок:

— Да здравствует дедушка Трумен!

И приветствие достаточно стройно подхватывали. Правда, вместо Трумена уже был избран Эйзенхауэр, но традиции ломать нелегко, да Эйзенхауэра еще попробуй выговори.

Колька Казаков сразу же облюбовал мои брюки и долго уговаривал «махнуться»:

— Зачем тебе такие брюки? Ты же в карты не играешь! Да все равно у тебя их на первой пересылке снимут!

— Так тогда у меня и твои снимут.

— А... а ты скажешь, что это уже снятые!

— Так я так и буду говорить: это уже снятые брюки!

Он настаивал, сулил дележ «воровским куском» — пока родные не переведут денег на мой счет, я не мог пользоваться ларьком, но я никак не уступал. Убедившись в моей крайней тупости, а главное, неподатливости, Колька стал угрожать, обзывал Пидером Моисеевичем и Укропом Помидоровичем. Несколько раз он схватывался со мной, надеясь добыть вожделенные брюки в бою, но я отбивал его атаки. Дней через пять привели из больнички крупного сутулого пожилого муж-

чину, Вольфа Израилевича Гольдина, и нас, «фашистов», стало двое. Колька, правда, еще пытался наскокивать на меня, но Вольф Израилевич начинал стучать в дверь, и стычки прекратились. Пользуясь своим численным превосходством, мы могли спать спокойно, под радостные возгласы организованного жулья:

— Спокойной ночи, пацаны и воры! Анархисты и фашисты х... сосите!

БАЛАШИХИНСКОЕ ДЕЛО

Для того, чтобы работяги и соседи не ломали себе язык, Вольф Израилевич еще смолоду стал зваться Владимиром Ильичом, но в сорок девятом году его заставили восстановить в паспорте национальное по форме и непривычное по произношению имя-отчество. Работал Гольдин заведующим производством Салтыковского завода жестяной посуды и жил тут же в Салтыковке в собственном домишке с женой и сыном восьми лет. (Сестра его — дикторша радио.) Производственные да и гражданские дела Вольфа Израилевича были в полном порядке. Человек он был авторитетный, уверенный в себе, член поселкового совета. Крупная фигура, волевой взгляд и полное отсутствие интеллигентской нервозности способствовали всеобщему уважению. Иногда он любил развлечься — съездить в Москву, посидеть в ресторане, выпить хорошего вина, съесть министерскую котлетку и навестить давнишнюю,

но хорошо сохранившуюся знакомую. При случае и у себя в Салтыковке не отказывался осушить литр в компании с каким-нибудь работягой и мог еще домой того отвести. Блоком Вольф Израилевич не увлекался, Шолом-Алейхемом тоже.

И вот зубная врачиха и землемер, оба евреи, начали строить в Салтыковке дом на паях, чего-то не поделили, начались неурядицы, и они решили пригласить несколько человек, авторитетных для обоих, рассудить их. «Третьейцы» (среди которых оказался и Вольф Израилевич) встретились на квартире врачихи всего раз, ни до чего не дотолковались и разошлись по домам. А через несколько дней их всех забрали, кроме врачихи и одного инженера, русского. Гольдин, Балантер и Гольдскенар были обвинены в «подрыве советского законодательства», в «создании государства в государстве», и следствие тянулось около двух лет. Лишь бы прекратить ночные допросы, Балантер показал, что слушал Би-Би-Си. Следователь добивался, чтобы обвиняемый припомнил, кому он об этом рассказывал (чтобы получилась антисоветская агитация). Гольдскенар признался, что у него в саду золотишко зарыто. В отношении Гольдина нашли страшные улики: во время войны, прочитав в газете заметку о партизане, взявшем в плен несколько немцев, Вольф Израилевич выразил по этому поводу какое-то сомнение. А совсем недавно сказал знакомому, что «Свадьбу с приданым» еще раз смотреть по телевизору не собирается — «Мне же не

восемь лет, как сыну». Получилась «клевета на советский народ и на колхозный строй» («Свадьба с приданым» — пьеса о колхозе. Ударница видит во сне Сталина, а старики говорят уважительно: «По человеку и сон»). К этому обвинению было добавлено еще одно — в еврейском национализме. Разойдясь с русской женой, Корвин-Круковской, Вольф Израилевич женился на еврейке и, кроме того, один раз (не желая огорчить распространителя) купил билеты в еврейский театр.

Я был счастлив, что получил хорошего соседа. Колька умел только петь. На прогулках Колька задирает «попок»:

А завтра ута-рам па-акину Пресню я,
Пайду с ита-апом на Ва-ара-куту...

— Ничтяк, дежурный, за все уплочено!

И пат канвоям ра-а-боту себе тяжкую,
А может сме-ерть себе найду!

В камере он любил читать Панаса Мирного и время от времени взрывался:

— Уу-у, пидер, сука позорная, драть тебя в рот! — после чего снова погружался в чтение.

Иногда Колька принимался божиться, что начнет другую жизнь:

— Бля бу, Владимир Ильич, бля бу, завяжу, брошу воровать! А ведь и посадили не за х... — иду, никого не трогаю, третью подписку дал о выезде, смотрю, что-то блестит, поднял, по-

смотреть хотел, меня хватать за руки — финка оказалась, сами, суки, подбросили...

— Знаешь, — говорил мне Вольф Израилевич, — я в стахановское движение и в молодости не верил. Что значит, Стаханов поставил рекорд? А сколько людей этот рекорд готовили? Это не труд — под вспышками магния... Кино для дураков...

— Зачем они тебя посадили? — рассуждал он в другой раз. — Это глупость. Посадив тебя, они поколебали веру в родителях, родственниках, друзьях... Нерационально...

Я замечал, что в его посадке еще меньше смысла.

— Ах, евреи всегда за все расплачиваются. Евреи теперь так запуганы, что собственной тени боятся...

Однажды следователь спросил его, почему у него нет орденов за войну. Вольф Израилевич ответил:

— А почему вы не Герой Советского Союза?

Самой любимой его присказкой было: рыба тухнет с головы.

Лампочка в камере была тусклая, но зато в книгах недостатка не было — можно было брать на каждого по книге, а потом меняться. В Таганке я впервые прочел «Анну Каренину» — раньше как-то не удосужился — и знаменитый роман «Свет над землей» Бабаевского. Читая это произведение, я вспомнил слова Геништы:

— Посадить бы их всех в одну камеру и, кроме собственных произведений, ничего не давать мер-

завцам, и чтобы Стальский с Джамбулом все время играли на домбрах и Сталина славили.

Одна из глав романа начинается так: «В правлении колхоза царило приподнятое возбуждение, какое бывает всегда, когда секретарь райкома приезжает проверять знания колхозников по «Краткой биографии товарища Сталина».

Когда в следующий раз появилась библиотекарша, я заорал:

— Я специально сижу в тюрьме, чтобы не читать советской литературы! Дайте что-нибудь из классики!

Библиотекарша швырнула мне «Ниссо» Лукницкого. Героиня — милая девушка, верная комсомолка, умерла со значком Ленина на груди. Действительно, по сравнению со «Светом над землей» «Ниссо» настоящая классика.

В канун Нового года мы до отбоя гадали: если сейчас откроют дверь и скажут: с вещами — успеем к праздничному столу?

Следующий Новый год я тоже встречал не в кругу семьи, но уже и не предавался дурацким мечтам...

Колька ознаменовал праздник тем, что плеснул кипятком в глаза дежурному, и мы пять суток наслаждались его отсутствием. Водворяя затем Кольку на место, корпусной указал на нас:

— Ведут же себя люди нормально!

— Так это ж фашисты, гражданин начальник.

Репутацию безумца я не старался поддерживать. Однажды, правда, встал не лицом к стене, как положено, а спиной, за что получил крепкий,

но какой-то домашний, свойский подзатыльник. В другой раз опустился на колени и стал на счет, как учили в театральной школе, отбивать поклоны. Вертухай долго любовался в глазок на мою «молитву».

Я стал получать денежные передачи — по сто рублей в месяц, это было значительно больше, чем можно истратить в тюремном ларьке, и на моем счету стали скапливаться деньги. Теперь я пил чай с сахаром, белым хлебом, маргарином и даже колбасой. Гольдину, как язвеннику, сверх того полагалось яйцо через день и вместо шей с мороженной картошкой и мясными нитками давали суп-лапшу без ниток (это ему мало помогло, он умер еще до XX съезда, правда, уже на воле).

Мне передали новенький ватник, валенки, зимнюю шапку, шерстяные носки — домашние (как и я, будучи на воле) готовились к классической царской ссылке. Для Эды, как я узнал потом, была куплена теплая шуба.

В начале февраля корпусной принес мне ручку, чернила, листок бумаги и сказал, что я могу написать прошение о свидании. Я попросил свидания с женой.

Через мелкую сетку до потолка я увидел Эду — важную, красивую и грустную... (Я отрастил рыжие усы и многозначительно трогал их, а потом показывал кулак, но Эда, конечно, не поняла этого намека.) Она сказала, что меня скоро увезут.

Двадцатого февраля среди ночи открылась кормушка и было произнесено:

— Ге!

Отозвался Гольдин. Вошел конвойный, стал перечислять вопросы, но ничего не совпадало. Тогда подняли меня, я подошел по всем пунктам и услышал:

— С вещами!

Подарил Кольке носовой платок — так и не пришлось мне услышать знаменитого таганского пения летом, при открытых рамах... Вольфу Израилевичу пообещал: если освобожусь, зайду к жене, а если будет разрешена переписка, напишу...

— Сейчас нас всех расстреляют! — уверял старик-крестьянин и со всеми прощался.

Кроме него в камере, куда меня привели, оказался здоровенный парень, Виталий Лобачевский, с Васильевской, бывший боксер и сторонник Маркса-Ленина-Сталина и Антонины Коптяевой, и болезненный недоразвитый Юра Мотов с Шаболовки, неестественно расширявший глаза. Я объявил моим спутникам, что когда увижу вокзал, сразу скажу, куда везут. Ждать пришлось почти сутки. К вечеру нас выгрузили из «воронка» на задворках Казанского вокзала.

СТОЛЫПИН

Лежачих мест не было. Сидячие — на полу и друг на друге. Но в войну мне приходилось ездить и не в такой тесноте. Только вот решетки повсюду... Я не видел газет уже полгода, но не

стал интересоваться новостями. Вместо этого всю дорогу ожесточенно спорил с наглым Лобачевским. В теории и практике Сталина он не находил ни малейшего изъяна, возмущало его только одно — великий корифей не понимает реакционной сущности семьи. Семья тянет в собственническую стихию и порождает растраты и хищения. Энгельс указывал, что семья — продукт частной собственности и вместе с ней должна умереть. Пока мы не ликвидируем семью, о коммунизме нечего и думать. Вот Антонина Коптяева молодец, она верно описала распад семьи в своем романе «Иван Иванович».

Все это Лобачевский изложил на семинаре в Плехановском институте, где он учился на первом курсе, и предлагал ввести немедленные законодательные меры против семьи.

Следователям очень трудно иметь дело с идейными людьми — Виталий от своих слов не отпирался, напротив заявил, что будет счастлив пострадать за свои убеждения. Товарищ Сталин сам сколько раз бежал из ссылки...

В институте Сербского Лобачевский тоже долго не задержался — выслушали и решили отправить в Казань, самую надежную тюремную больницу, «вплоть до выздоровления».

Лобачевский был нагл, груб и невежествен. Наверно, я действительно псих, если мог с таким ожесточением схватываться с этим идиотом. Сам того не замечая, я говорил языком Геништы.

КАЗАНЬ

Великолепие этапа предпочитают скрыть от глаз обывателя. Столыпин разгружают ночью. Нас встретил взвод автоматчиков с собаками и препроводил в прилегавшую к кремлю тюрьму — в самом кремле размещались Совет министров, обком и другие заведения. На рассвете нас доставили в больницу — в обыкновенном черном вороне, видно, в Казань еще не поступала более совершенная техника, такая, как «продуктовые» машины, а может, ввиду отсутствия иностранцев там такие хитрости и не требуются. Спец-больница обнесена деревянным забором с проволокой и вышками, а затем кирпичным забором. В маленькой приемной с каждым поговорили, а потом отправили вниз, в полуподвал — окна с решетками, но кровати как в больнице, только незастеленные, и с обычными тюфяками. Параша не было, каждый мог стучать в дверь, но было принято выходить всем вместе.

Нас всех четверых, как привезли, так и поместили вместе. Сводили в парикмахерскую. Я увидел газету — хоронили Мехлиса. Обстригли усы и побрили, потом помыли и выдали пайку с кусочком маргарина и кулечком крупного сахарного песку. Сгоняли к врачу, а потом выпустили гулять. Я увидел радостную, посвежевшую, совсем не безумную морду Миши Мамедова. Здесь же оказался Сашка Солдатов, православный милиционер, с которым я тоже успел познакомиться в Сербском. Вел он себя тихо и вполне разумно.

Старик, который предсказывал, что всех нас расстреляют, оказался печником. В начале войны он сказал у себя в деревне, что драться русским с немцами нет смысла, пусть Гитлер со Сталиным стреляются, кто убьет, тот и победил. То ли стукнули на него только теперь, то ли по какой другой причине прежде не брали, только он уже и сам успел забыть свои слова к тому времени, когда его наконец взяли. На следствии с ним обошлись круто, неграмотный старик рехнулся и все ждал расстрела.

Юра Мотов вырос среди жулья Шаболовки и Дровяного. Безумие его было очевидно — руки у него постоянно дрожали, а глаза расширялись от ужаса. Юра трогательно доказывал, что ворами становятся от беспризорности и нужды. Однажды он посмотрел «Без вины виноватых», там Кручинина жалела беспризорного Гришу Незнамова. Юра написал письмо депутату Верховного совета, народной артистке СССР Алле Константиновне Тарасовой (исполнявшей роль Кручининой) и убеждал ее, как истинную мать всех несчастных и обездоленных, возглавить партию и правительство. Юра объяснял, что само ее имя указывает на высокое предназначение — Алла — алла́, Бог, Константиновна — Константинополь, а Тарасова — один Тарасов уже появляется на Мавзолее.

Сама ли «мать всех обездоленных» отправила письмо куда следует, или кто-то еще, только без вины виноватого Юру забрали. В Казани он написал письмо начальнику тюрьмы: «Гусаров —

артист, его надо беречь. Его плохо кормят, он худеет. А если он умрет, сын его останется сиротой, делается беспризорником и пойдет воровать». Юра жаловался, что по ночам его койка подымается под потолок и кружит по палате. Еще он часто вспоминал медсестру, которая была ему как мать, а потом утопилась в Волго-Доне и теперь она русалка... Увидев беременную сестру в нашей больнице, Юра сказал:

— У нее скоро родится маленькая русалочка...

РУССКИЙ НАЦИОНАЛИСТ СОЛДАТОВ

Саша Солдатов (однофамилец коротковолновика Вени) до войны был милиционером, со службой справлялся успешно, был политически грамотен, прилежно вникал в Эрфуртскую программу и в ошибки Бунда. Однажды вернулся домой, намереваясь освежить в памяти тезисы, но застал свою жену в полном синтезе с непосредственным начальником. Произошел взрыв противоречий, скачок, как учит диамат — и Сашка убил обоих из нагана (ее не хотел, но заслоняла). Получил шесть лет, отсидел четыре (вообще работу на лесоповале трудно назвать сидением). Началась война. Поскольку Солдатов не был врагом всего прогрессивного, ему доверили защиту родины в штрафном батальоне.

Что ни день Сашка глядел в глаза смерти, и все-таки она его обходила. В конце концов, он счел это необъяснимым чудом и перед каждой

атакой стал молить Бога о дальнейшем снисхождении. Бог был к нему милостив. Они очень сблизились и дальнейшее руководство Сашкиной жизнью Бог целиком взял на себя. После войны он посоветовал ему начать сапожничать, и Сашка был доволен своим ремеслом не меньше, чем прежде работой в милиции, но в один прекрасный день Всевышний внушил ему собрать все портреты, все вырезки из газет, все политические книги и старые комсомольские документы и сжечь во дворе, и при этом еще сподобил на произнесение страстной проповеди, которая была по достоинству оценена как бывшими товарищами по милиции, так и соответствующими органами.

Начав свой жизненный путь в милиции, а закончив в лоне православной церкви, Солдатов пытался всех убедить, что для России вполне достаточно этих двух организаций — административной и идеологической, и находил веские аргументы для обоснования этого утверждения.

— Ты на ком женат? — спрашивал он меня.

— На армянке.

— Это хорошо. Увеличиваешь нашу нацию — сын будет русский. Вот если дочь, надо следить, чтобы не вышла за чечмека. А жениться можно хоть на еврейке — все наше будет.

Сашка называл себя русским нацистом и считал предателем всякого, кто «уменьшает» русскую нацию. В Казани он сильно присмирел, не требовал уже роспуска партии и КГБ и только

шёпотом отваживался иногда поделиться своими соображениями:

— Ты понял, о чем фильм? (Нам показали «Красную шапочку».)

— Сказка для детей.

— Сказка? Да ты ничего не понял! Красная шапочка — это православная церковь, а серый волк — я уже догадался — коммунистическая партия!

Подобным образом он расшифровал и фильм «Садко», и вообще, кого ни назови, всем у него находилось место, все персонажи делились на союзников и врагов. Мне это скоро надоело и я перестал интересоваться, кто есть кто, коротко бросал: «понял», не вникая во взаимоотношения Анны с Вронским и без Сашки Солдатова достаточно запутанные.

Если бы он чокнулся в духе генеральной линии партии, из него получился бы замечательный современный редактор или цензор, никакой подтекст не остался бы невыявленным. Теперь у нас снимают с постановки только «Доходное место» и «Трех сестер», а уж под его надзором не видать бы нам и мультфильмов.

ГИМН СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Вариантов было множество. Один мне читал еще Геништа, я попросил переписать, но он отказал: «Бумага этого не терпит, учите так». Я поленился. Текст Игоря Стрельцова, с которым

судьба свела меня в Казани, был слабее, меньше напоминал гимн, но с бумагой и он не в ладах:

Жандармом Европы, тюрьмою народов
Явилась ты снова, Великая Русь.
Будь проклят ты, созданный сталинским сбродом,
Голодный и злобный Советский Союз!

Дальше шли всякие «художественности»:

Во зле и разврате погрязла Россия,
О братстве народов рассеялся миф,
И кровью окрашенный стяг тирании
Над миром парит, как над падалью гриф!

Воркутинский вариант, помнится, начинался так: «Союз угнетённых республик голодных...»

Близко познакомиться со Стрельцовым мне не пришлось, он и в Казани был строго изолирован, но мы все-таки встречались в карантине и на прогулках. Меня смущал его максимализм и антисемитизм. Он был одним из двух настоящих преступников, содержащихся здесь (о втором рассказу позднее).

История Стрельцова такова: когда пал Смоленск, его отец не сумел или не захотел эвакуироваться, остался и преподавал немецкий и французский. Подружился с несколькими наиболее интеллигентными офицерами, толковал с ними о Шиллере и Гете, за что сразу же после освобождения города был без суда расстрелян. Никаких общественных, а тем более государственных постов он при оккупантах не занимал, в печати не сотрудничал, антисоветской агитации не вел и

преподавать продолжал по советским учебникам. Тем не менее, я уверен, никто у нас и теперь не усомнится, что расстреляли его правильно, — святая месть. Мало того, что не пошел в партизаны, так еще поддерживал отношения с немцами — конечно, расстрелять! Новые знакомые уговаривали его бежать с ними, но он отказался.

— В концлагерь попадете!

— А ваши концлагеря лучше?

Игорь тяжело пережил бессудную гибель отца и перешел на сторону противника. В конце войны он попался с диверсионной группой, угодил в «гуманистическую» струю и был направлен «на излечение» в одиночку, где на досуге и сочинил «гимн».

В лагерях почти открыто пели другой вариант:

Однажды в студеную зимнюю пору
Сплотила навеки великая Русь,
Гляжу, поднимается медленно в гору
Единый, могучий Советский Союз.

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы,
Уж больно ты грозен, как я погляжу...
Нас вырастил Сталин на верность народу,
Отец, слышишь, рубит, а я отвожу...

И так далее, строчка гимна, строчка Некрасова, и все складно. Кроме Стрельцова, я видел еще одного одиночника, бывшего семинариста, принужденного к сексотству и публично разоблачившегося. У него были найдены собственные

богословские трактаты, один назывался: «Не оскорбляйте святынь!»

Я застал его в плачевном состоянии — дверь его палаты уже не запирали. Он сидел на тюфяке, накрывшись с головой одеялом и все время, что не спал, поглаживал рукой ребро батареи парового отопления. Я видел, как его кормили — ел он охотно, но только из чужих рук. Оправлялся, видимо, под себя.

Врач сказал мне, что через неделю меня переведут в 3-е отделение, самое здоровое, где три раза в месяц кино, шахматы-шашки и гулять можно хоть весь день. Но вот уже начался март, а меня все не переводят. Почему? Карантин. Надоело цапаться с Виталием Лобачевским, я давал себе слово не отвечать ему, но как-то не получалось, и я снова сыпал проклятия на голову Сталина — благо, там где мы находимся, можно не бояться. Однажды в разгар моих филиппик старик попросился в уборную, открыли, и мы все вышли. Меня поразили взгляд ключевого — все в нем было — и ненависть, и боль, и гнев — видно, он слышал, стоя за дверями, мою речь. Маленький такой, простонародный, может, казанский татарин, их от русских не отличишь... «Как же, — подумал я, — оторвался я от народа, если простому человеку смотреть на меня тошно? Может, чутье подсказывает им другую истину? Прав ли я был в своем пьяном бунте? А на самом деле — не сумасшедший ли я?» Мысль эта прилепилась и сверлила.

В детском санатории Жаворонки ночью кто-то наложил мне в тапок. Всю комнату допытывали у директора, виновного не нашли — уж не сам ли? Никогда не мог запомнить, что сколько стоит, пошлют меня в магазин, всю дорогу, зажав в кулаке деньги, твержу цены, а подойду к кассе — ничего не помню. Не раз, отправившись за керосином, оказывался у школьного крыльца, а однажды собрался идти с ночным горшком вместо бидона — бидон стоял в уборной (по нынешним временам такой просторной, что вполне можно ставить раскладушку). Учился всегда плохо, без папиной протекции, пожалуй, и школы никогда в жизни не кончил бы... Правда, в институте выбился в отличники, но ведь это не труд, а игра, «хаханьки»... Не читал ни Маркса, ни Ленина, да что Маркса — Толстого начал читать только в тюрьме (хотя сдавал на пятерки), Достоевского, разумеется, не открывал... Актер никудышный — ни темперамента, ни замысла, ни рисунка, выезжал на одной обаятельной улыбке...

В Москве, в комендантский час, в одном из арбатских переулков оправился на крыльце какого-то посольства. Году в пятидесятом норовил помочиться на здание американского посольства, Серебрянников и Рунге оттягивали меня, а я твердил: «Дайте мне высказаться!» В конце концов они пошли на компромисс и позволили мне — на глазах у многочисленных прохожих — «высказаться» у стены Большого театра. А может нормальный человек в мундире младшего сер-

жанта встать на Арбате с протянутой рукой?..

А в Рязани? Жил со старухой, пил на ее счет, вышел к гостям в чем мать родила. Однажды и в театре разделся в грим-уборной догола и в таком виде отправился поздравлять женщин с Новым годом. Отнял у пьяного офицера коньки, которые мне были совершенно не нужны, а потом целую неделю тряся, страшась разоблачения, даже отправился в церковь, крестился и целовал полы... Был случай, что товарищи отняли у меня топор и связали... Однажды я подслушал, что девушки говорят обо мне за стенкой — дескать, держусь я неестественно, зазнаюсь, что ли... Сима Хонина сказала, что во время монолога у меня бегают глаза...

А еще раньше? Пьянки с Витькой, армейские выходки, украденная простыня... В Перми однажды шел посреди улицы, видел, что на меня летит легковая машина, усмехнулся и думал: «Задави, задави, посмотрим, что тебе будет!» Должен же быть хотя бы инстинкт самосохранения?.. Проезжая в отцовской машине мимо колонны пленных, приоткрыл дверцу, высунул руку и закричал:

— Хайль Гитлер! — причем был абсолютно трезв...

Да что ни возьми, что ни припомни — все явная патология... Непонятное равнодушие к близким, к друзьям. Ире Шибиной мог помочь остаться после института в Москве, не сделал. Славу Баландина не спас от армии. А ведь меня просили... Зато привечал никчемных пьяниц, кормил

кого попало, терпел вокруг себя дураков, каких-то жалких подхалимов... А что это была за дружба с Замковым? Что нас сблизило? То, что мы оба были влюблены в Иру Поздневу? Пьяные умильно целовались, спали в обнимку, родные уже чёрт знает что про нас думали...

Наверно, никто не чувствует своего безумия. Вот Игорь Стрельцов — рисует день за днем мавзолеей Сталина, один проект за другим, у него их целая гора. Уж и отбирали, и рвали, и жгли — рисует! Как-то поджег на себе одежду, а в другой раз, когда работал на кухне, вымазался сажей и пугал религиозных: чёрт!

Ходят, ходят по прогулочному двору, беседуют о Боге, о душе, нравственных идеалах, зыбкости человеческой природы — а они в Казани!

Есть еще Чистополь, там один врач на всех — на случай простуды, там уже никого никогда не выписывают, не актируют... Гоняют работать на огород...

У нас вертухая правильнее называть ключевым — я лично грубостей от них не слышал, если кого и крутят, так без злобы — приказ, уколу сопротивляется. «Камзол» — страшная пытка, заворачивают в мокрые простыни до посинения, но не они ее выдумали, у них нет счетов с заключенными.

УМЕР, УМЕР, УМЕР...

Медсестра лет тридцати, глаза красные, заплаканные, наверно, муж опять пьяный пришел, а может, умер кто, всю ночь редела...

— Гусаров! Джугашвили подход!!! — кричит
через весь двор Стрельцов.

Солдатов подбегает.

— Ты этому веришь?

Я отмахиваюсь.

— Брось, Саша, это же сумасшедший дом...
Как же, подойдет он... Только и дожидался того
момента, когда мы с тобой за проволокой ока-
жемся, а раньше никак не подышал!

— Да уж больно верный человек крикнул, —
skonфузившись оправдывается Игорь, и на том
обсуждение заканчивается.

Селивановский, бывший чекист, дает ценные
советы всем желающим:

— Очень хорошо еще кончик медом помазать
— женщина от наслаждения сама не своя...

Группа заключенных психов с удовольствием
прислушивается к его наставлениям, хотя всем
им мед понадобится нескоро, но тема увлека-
тельная. «Параша» Стрельцова забыта.

Любимым моим стихотворением стала ода
«Вольность» Пушкина. Кто-то подбросил ли-
сток, я выучил наизусть и читал с упоением, пе-
ремежая куплеты «Марсельезой» по-французски.

Увы! куда ни брошу взор —
Везде бичи, везде железы...

И с особой страстью:

Самовластительный злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу,

Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостью вижу.

Как-то в разгар очередного спора с Лобачевским я услышал отдаленный гудок. Форточка была закрыта, за окном темно и морозно. Не то восемь, не то девять часов вечера...

— А Казань, видно, индустриальный город...

— А ты как думал? Здесь много заводов!

Заводы были далеко, гудок еле слышен, никто не обратил на него внимания...

Двадцатого марта нас всех, наконец, переводят в 3-е отделение — и ленинца, и сталинца, и лучшего друга жуликов и артистов, только старого печника уводят куда-то в другое место — он уверен, что на расстрел. Я его, во всяком случае, больше никогда не видел.

В дверях нас встречает фокусник и манипулятор Вахрамеев, радостно здоровается со мной и вдруг сообщает:

— Володя, мы осиротели... Наш отец оставил нас...

— Не может быть!!!

Подходят другие и подтверждают: да, точно. Со второго марта выключили радио, не давали газет, писем, все насторожились, не знали, что думать: война? Потом тоже слышали отдаленные гудки. Были и такие как Юрка Никитченко, сын нюрнбергского судьи, с доверием у начальства, он рассказал по секрету Кандалии, тот ходил с красными глазами, потом разрыдался

вслух. А теперь уже включили радио, дают и газеты, и письма — родные скорбят...

Будто кто поленом по затылку огрел. Башка ничего не сообщает... Умер Сталин... Умер...

Кто-то подходит, знакомится, расспрашивает: откуда, кто, какая статья? Отвечаю, что, должно быть, 58-10 — агитация. Ну, это самый легкий пункт, надежда есть, нужно только быть осторожным. Если подружиться с Сайфиулиным, могут и выписать, правда, не раньше, чем через пять лет, это минимальный срок.

Тут же знакомят с шахматным лидером Левинсоном, гинекологом из Иркутска, и усаживают за доску. Проигрываю партию за партией, счет 6:0. Вахрамеев пытается спасти мою честь, уверяет, что в Сербском я всех обыгрывал, над ним смеются. (Потом выяснилось, что мы играем в равную силу — Левинсон более собран, внимателен, я лучше знаю теорию.)

Умер... Умер... Умер... Что теперь? Что дальше? Нужно думать, а мыслей нет...

С десяти вечера до девяти утра палаты запираются, но можно постучать, выпускают. Днем — полная свобода. Хочешь, броди по отделению, читай, спи, хочешь, иди гуляй. Только в «сонную терапию» вход запрещен, там окна завешены, тикает метроном, снотворное дают в таких количествах, чтобы человек спал целыми сутками, — исходя из учения Павлова.

Ночь за ночью я лежу без сна, гляжу на синюю лампочку и стараюсь отгадать — что же будет? Что будет?.. Аресты теперь прекратятся, но что

делать с теми, кто уже взят? Нельзя оставлять в живых, слишком хорошо они знают, на чем держится единство партии и народа. Самое верное — перестрелять всех немедленно, пока можно списать все на великого покойника... Начать новую светлую жизнь с чистого листа... А то ведь уцелевшие такого понараскажут, что гранитные основы нашего общества разлетятся в клочки, не говоря уж об энтузиазме масс...

Или, может, создать поселения, лепрозории, изолированные от всего мира. Живи, но с условием — всё прежнее забудь навсегда, и родных, и друзей, и Москву, и всё, всё... Нет, не получается. Недобитые создадут новые семьи, дети пойдут, куда их девать? Начнут передавать из поколения в поколение лагерные легенды — были, которые страшнее всяких легенд... И до какого колена держать их в изоляторах? Сколько веков не пускать во всеобщее царство равенства и братства?

Нет, на их месте я бы всех нас перебил сейчас же, не откладывая. Потом уже будет поздно — не расхлебаете каши...

В одну из таких ночей я задремал и мне приснился сон: Колонный зал, траурные толпы, гроб весь в цветах, но Сталин лежит в гробу живой, это я точно знаю, что он не умер, а просто спит. И на ногах у спящего сидит дочка, Светлана — не студентка, которую я видел в университете, а девочка, школьница, с ранцем за спиной. Я чувствую, что если только она пошевелится или захочет слезть, он тут же проснется. Мне

страшно, и я уговариваю ее: «Не слезай, сиди, девочка, не слезай!» Проснулся — сна как не было, опять синяя лампочка горит, но страх остался...

Многим в эти дни снились кошмарные и пророческие сны... Бетховенский час...

ДЕЛО ВРАЧЕЙ

О том, что они арестованы, узнал на прогулке уже в апреле. Оказывается, кремлевские врачи (в основном евреи) всю жизнь учились и работали исключительно для того, чтобы подпортить здоровье Жданова и Василевского (и тем самым послужить Израилю и американскому империализму).

Боже, насколько я счастливее тех, кто сейчас на свободе и жрет эту стряпню!

Кто-то спрашивает:

— Вы не верите?

Не верю! Ни единой клеткой души и тела! Долгие годы я бился над загадкой московских процессов — «наверно, я чего-то не знаю, не понимаю», еще Фейхтвангер удружил своим «авторитетным, свободным мнением», но тут, с врачами, и понимать нечего! Нет, не я сошел с ума. В политике я, может, и не очень, но уж не такой болван, чтобы допустить, что весь цвет советской медицины сговорился прописывать Горькому и Менжинскому не те микстуры. «Стены белили вредным составом»! — долго нужно трени-

роваться, чтобы поверить такому бреду... Да в кремлевских условиях без консилиума никакого лечения и не назначат. Выходит, вездесущий Израиль завербовал целые врачебные коллективы, причем еще в тридцатых годах! И чтобы что? Чтобы Вейцман и Меерсон Кремль заняли?! И разоблачила их всех какая-то никому не ведомая Тимошук — она, видать, лучше знает, как лечить. Потому и орден Ленина получила. Неплохо бы ее самое полечить, вместе с незабвенным покойником, который теперь поживает в мавзолее. Никогда, даже в самых тайных юношеских мечтах, не хотелось мне ни в мавзолей, ни на него. Не мог я понять, чем Станиславский и Шаляпин хуже Ленина.

Ну, допустим, на заводе, на складе, в колхозном поле можно устраивать тихую контрреволюцию, скажем, запустить станок не на тот режим или сеять не в срок, но как станешь вредить на сцене, в лаборатории, в клинике? Лемешев не станет петь «похуже», даже если разочаруется в коммунизме. Творческий работник не в состоянии устраивать «итальянские забастовки», его и так постоянно преследует мысль, что он бездарен. Ученый знает, что его открытием может воспользоваться какой-нибудь фюрер, и все-таки, как правило, он продолжает работать (в крайнем случае, вовсе откажется от своего призвания, но не будет делать «плохо»). А лучшие профессора, выходит, станут не так загонять шприц в задницу маршала Василевского, чтобы угодить Джойнту и госпоже Меерсон?..

Не успел я довести свои размышления до конца, как прочел в газете, что разоблачена группа следователей-карьеристов-авантюристов, пытавшихся поколебать нерушимую дружбу советских народов. Врачи же, наоборот, выпущены (но почему-то арестовано одиннадцать, а выпущено девять, двое освобождены посмертно).

Между охраной и зэками начались споры-разговоры. Ключевой горячится:

— Нельзя всех советских людей чернить из-за нескольких дураков!

Короткорукий, похожий на тюленя поэт (я до сих пор помню его стихи, но теперь они мне кажутся такими слабыми, что не хочется цитировать) отвечает ему:

— Советских людей? Нет дерьма хуже советского человека! Что тут можно чернить?.. Разве у вас осталась какая-то гордость или совесть?

ИМПЕРАТОРЫ И ПРЕЗИДЕНТЫ

В любом московском дворе найдутся психи по-лучше, чем у нас в отделении. Мельников брэнчит на мандолине, наигрывает одну и ту же неаполитанскую песню, Юрка Никитченко сколачивает волейбольную команду или очаровывает медсестру, мы с Левинсоном пытаемся постичь тонкости французской защиты, бородастый дед Лимонник, похожий на Кропоткина и на лешего одновременно, что-то пишет меленькими буквами и при этом передвигается по двору вслед за

солнышком, Александр Зайцев и доктор Бруштейн (князь-монархист и еврей-разночинец) беседуют на медицинские темы, а мускулистый Инякин, «изобретатель эфира», пробегает десятый круг. Даже по мнению ключевых, душевнобольных тут нет.

Зато когда вместе с нами стали выпускать шестое отделение (тоже спокойное) картина изменилась, этих уже не спутаешь — бедламцы.

Бывший летчик Антипов способен двигать только языком да немного руками — глыба живого студня. Прибалт так носит бушлат, что и неопытный глаз сразу распознает в нем немецкого офицера — и шаг у него особенный, и взгляд сквозь тебя. Вот молодой «падре», халат украшен под ксендзовскую рясу, бормочет что-то на неведомом языке. Бывший председатель колхоза круглый год ходит в шапке-ушанке (уши завязаны), и наглухо застегнутом бушлате. Рядом с ним какой-то татуированный тип норовит выскочить уже в апреле голый по пояс. «Император всего мира» Семенов сидит на земле и сосредоточенно чертит палочкой...

Председатель колхоза останавливается и произносит речь:

— Вот сейчас эта бешеная банда Молотова соберется на сессию — будут обсуждать бюджет и колхозы. Как решат? Как будет выгодно бешеной банде Молотова! Упомянут Америку, Югославию, а главное, помусолят и оставят по-старому.

Кто-то невидимый задает ему вопрос, он переспрашивает и отвечает громко, старательно форсируя голос — чувствуется, что выступает перед большой аудиторией. Если же живой человек подойдет и что-нибудь скажет, пусть даже в поддержку, он досадливо прерывает свою речь и раздраженный отходит в другой угол.

Татуированный говорит не останавливаясь, монотонно, будто протокол читает:

— Эта лысая б..., в которую стреляла эсерка Каплан... Джугашвили прозвали Сосо... Сосо... Однажды он пришел домой пьяным и заставил жену сосать — с тех пор его зовут Сосо...

«Император всего мира» Юрий Евгеньевич Семенов, в прошлом декан МАИ, по тюрьмам с тридцать шестого года. Написал в ЦК, что Ягода — враг. Его тут же забрали. Правда, потом самого Ягodu расстреляли, но Семенова не выпустили.

Сегодня «его величество» весел и приветлив. Поскольку в снежки играть уже невозможно — развезло, а в волейбол по той же причине рано, я вступаю в беседу с «монархом».

— Юрий Евгеньевич! Назначьте меня императором СССР.

— Я вас назначу своим адъютантом. В августе я собираюсь в Сибирь на свидание с Троцким...

— Разве он жив?

— Ну... конечно! Он мне подарил красную звезду со своей фуражки.

— А Ленин тоже жив?

— Скорее всего жив... Достоверных сведений о его смерти нет...

— А кто же в мавзолее лежит?

Семенов загадочно улыбается и чертит палкой на земле какие-то линии. Я не унимаюсь:

— Говорят, и Сталин умер...

— Сталин живет под фамилией Алеши Сванидзе в Тбилиси и в Москве «А».

— А немцы? (Какие немцы? Откуда они взялись?)

— Немцев я располагаю в седьмом секторе, вот смотрите... — и будет час битый, если его не остановить, рассуждать о немцах.

Юрий Евгеньевич жалуется, что оперуполномоченный Сайфиулин грозит свергнуть его с престола:

— Странные люди! Они думают, что власть — благо. Власть — это бремя! Я в любую минуту готов передать ее, но кому? Александр Иосифович не хочет...

Зайцев закусывает губу и в бешенстве отходит. Монархист до сих пор скорбит об убиенном помазаннике и не терпит святотатства.

Я осторожно предлагаю в восприемники престола себя, но Семенов даже не считает нужным обсуждать мою кандидатуру — я уже получил назначение, правда, не соответствующее моим амбициям.

При виде любой женщины император бросает мимоходом:

— Это моя жена.

Как-то врач (баба!) поинтересовалась игриво:

— Как же вы, Юрий Евгеньевич, справляетесь с таким количеством жен?

— Это мои духовные жены, — с достоинством ответил бывший декан МАИ. — Неужели вы думаете, что я с каждой в постель ложусь?

Но, видимо, его утверждение не вполне соответствует истине. Иногда он подходит к какой-нибудь сестре и принимается беседовать с ней об интимных подробностях их совместной жизни, возможно, он видит эротические сны, героинями которых являются реальные, здесь обретающиеся женщины, и не сомневается, что они тоже все помнят.

Помимо своего императорства, Семенов выступает еще и в других качествах, каждый день новых — то он герой Советского Союза, то чекист (ему можно), то обсуждает планы создания фото-балетной студии.

Вот группа гуляющих запросилась «домой», их уводят, а Юрий Евгеньевич сварливо замечает:

— Началось голосование ногами! Крайне правые... Не понимаю только — к чему эта таинственность! Выражались бы яснее!

Мать продолжает «выцарапывать» сына, хлопчет она уже семнадцать лет и все без толку. Юрий Евгеньевич успел поседеть в тюрьмах и больницах, но старушка не теряет надежды.

— Юра, — говорит она ему на свидании, — я обратилась к Лаврентию Павловичу.

Семенов снисходительно улыбается:

— Зачем к нему обращаться? Берия знает,

где я нахожусь. Мы с ним делаем одно дело — он в секторе «Б», я в секторе «А».

С помощью монархиста Зайцева, продиктовавшего мне манифест, я пытался свергнуть «императора» — если не со всемирного, то хотя бы с российского престола — «опечалившись многими страданиями возлюбленного народа нашего»... На Семенова мое выступление не произвело ни малейшего впечатления. Тогда я напомнил:

— Юрий Евгеньевич! Вы собирались взять меня с собой в августе в Сибирь к Троцкому, помните? А уже ноябрь...

— Ну вот видите! — огорчился «император».
— Опять помешали!

Много лет спустя я встретил Семенова возле метро «Университет». Он сидел на мраморной скамейке, я подошел и поздоровался.

— Я Гусаров, помните?

Он долго испуганно смотрел на меня и наконец пробормотал:

— Вижу, что Гусаров... Но больно уж молод...

Оказалось, что он принял меня за отца, который тридцать лет назад был парторгом МАИ.

Я разузнал, что Семенов работает техническим консультантом библиотеки Иностранной литературы на улице Разина, в помещении бывшей церквушки, на самом верху. Говорили, что он по-прежнему откалывает всякие номера, толчется в различных приемных со своими «проектами», женился, но дочь родилась от другой женщины — «духовной жены».

Сейчас он уже на пенсии, мать его еще жива и старается не отходить от Юры ни на шаг. Он часто вскакивает среди ночи и заносит что-то на карточки, которых у него бесчисленное множество и которые он содержит в строжайшем порядке. Для него сталинские времена уже не вернуться никогда, будем надеяться, что и для нас тоже.

Мы не поверили своим ушам, когда услышали по радио забытые слова: «танго, фокстрот...» Голос Руслановой... Но ведь она сидит... Неужто опять будут виноваты «стрелочники» вроде Рюмина?

2 мая видел в праздничной газете запечатленный образ Лаврентия Павловича, обнимающего двух юных пионерок с цветами (среди заключенных ходило столько рассказов о его альковных делах!)

— Странно, — сказал я, — почему Берия не пытается бежать?

Зайцев строго посмотрел на меня.

— Реальная власть — у Берии.

Я напомнил ему, что он сам недавно говорил: «Маленков — русский, рахметовщине конец. Русские не фанатики, они умеют считаться с реальностью». Я спросил: «А Ленин?» — «Мать Ленина госпожа Бланк, в нем сильно немецко-еврейское влияние, но и он оппортунист». — «А Мао Цзэ-дун?» — «Мао — это Ленин сегодня». — «Ленин? А не Сталин?» — «Нет. Сталин — безумец, а Мао просто бандит международного класса. Мао с Востока, поэтому кажется, что он следует установкам Сталина. Для нас сталин-

ская эпоха нетипична. Мы, русские, лишены административных дарований, поэтому у нас так легко и всплывают всякие Троцкие, Дзержинские, Сталины и Бери...» — «А Рыков?» — «Пьяница и ничтожество!» — «А Бухарин?» — «Интеллигенты еще никогда не правили, тем более в России. Бухарину нужно было оставить кафедру в университете, он бы быстро смирился с судьбой, но Сталин решал по Ивану Грозному, такому же безумцу».

Зайцев выразил сомнение, что Россия в состоянии пережить еще одного грузина в качестве вождя.

В начале июня из Москвы приехал «психиатр» в мундире Турабаров, устроили комиссию и часть обитателей заведения «выписали» (впервые за многие годы). Со мной разговаривать не стали, поскольку оставались еще люди с тридцатых годов, правда, считанные единицы, поскольку за две зимы — сорок первого и сорок второго года — почти все перемерли. Есть тогда совсем почти не давали и каждый день хоронили по тридцать-сорок человек. В шестом отделении до наших дней дожил только один, взятый в тридцать седьмом, бывший сотрудник «Безбожника» Андерст. Теперь это был пергаментно-бледный старик. Держали его отдельно, он считал себя женщиной и боялся насилия, думаю, что напрасно — он давно не принадлежал ни к какому полу. На прогулку Андерст выходил с толстой пачкой ученических тетрадей, мелко исписанных и перевязанных веревкой. Он писал пьесы и будто бы

весьма интересные, совсем не бредовые, но прочитать их было невозможно, автор никому не позволял приблизиться к себе и при всяком подозрительном движении окружающих поднимал невероятный крик. А если возле него заводили разговор о политике, вопил истошно:

— Довольно! Хватит! Нужен парламент и президент! Хватит!

«Президент» у нас тоже был — президент Эстони Пяст. Но его содержали в терапевтическом отделении, с общими правами, а я, как на грех, за все время не схватил даже легкого насморка, и так и не познакомился с профессором Пястом, по отзывам, человеком умным и обаятельным, кстати, не буржуазного происхождения.

Не успел я познакомиться и с адмиралом Галлером — он умер незадолго до моего прибытия. Его несколько раз возили из Казани в Москву, где страшно били, и после последней такой поездки он уже не поднялся. Тюремное кладбище с безымянными могилами видно из наших окон...

Галлера часто вспоминали в разговорах. Видно, не подозревал он — лейтенант «Авроры» — каким эхом отзовется в России «исторический» выстрел (который теперь для солидности именуют залпом). Ах, Полозов, Полозов...

Совсем не так давно Галлер принимал моряка с «Варяга», я в «Правде» фото видел. Говорят, он и в тюрьме сохранил военную выправку, особую посадку головы, ходил подтянутый и прищелкивал каблуками.

Обвинили его в том, что когда во время войны он водил караваны судов из Америки, то привозил не то, что нам было нужно, а то, что американцам мешало (?!), ну, и разумеется, попутно занимался шпионажем. Вроде бы, когда дают бесплатно, то уж не приходится особо капризничать и привередничать, скажи спасибо и бери, пока не передумали. Но выяснилось, что Америка подкупила Галлера, дабы он принял ее дары... Ах, лейтенант, лейтенант!..

В женском отделении обитала девушка, привезенная сюда еще до «кировских потоков», в тридцать четвертом году. Тогда ей было шестнадцать, теперь тридцать пять. На невесту она уже не похожа. Ни одного дня за все без малого двадцать лет она не сидела без дела, во время войны еле живая плелась на огороды, теперь часто чистила картошку на кухне. Наверно, картофельной кожурой и спаслась. В чем ее преступление, никто уже толком не знал, но говорили, что швырнула камнем в сторону мавзолея. Может, так оно и было, во всяком случае, Турабаров ее не «выписал» — возьмет да опять швырнет, а там теперь двое, легче попасть...

Работать на кухне я никогда не рвался, а в переплетную пошел один раз, но больше не был допущен — слишком распелся. Особенно всем понравилось:

На радость нам подход товарищ Сталин,
Наш мудрый вождь, мучитель дорогой!

В библиотекарях я тоже не удержался — библиотека, кстати, была прескверная, книги самые

паршивые, да и тех мало, так что жалеть не приходилось. Кастелянша хотела было взять меня в помощники, но место перехватил Миша Мамедов — «деревянный, бездарный». Вскоре они так сработались, что часами, запершись в каптерке, белье сортировали (правильно она сделала, что от меня отказалась, огласки меньше).

К Мише пристают:

— Признайся, Миша, ты кастеляншу-то, того?

Он смотрит загадочно и ничего не говорит, хотя сам мне хвастался, что в Горьком всех перепробовал, но Горький — дело прошлое...

Учуяв новый дух, Миша сделал заявление, что признал себя Мамедовым под пытками во Вроцлавской тюрьме, настоящее его имя Алексей Саркисян. Он служил в одной из наших частей, расположенных в Польше и, по его словам, просто нечаянно заблудился в лесу (может, и преднамеренно дезертировал, кто его знает). Его поймали и по какой-то одному Богу и следователю известной причине стали требовать, чтобы он признал себя Мамедовым. Что натворил этот Мамедов, Алексей не знал и поэтому, на всякий случай, отказывался отвечать за него. Ему не давали спать, а когда и это не подействовало, начали защемлять дверью пальцы. Саркисяну стало жаль своих рук и он согласился на чужое имя и национальность впридачу, но принялся «откалывать» такие номера, что пришлось признать его невменяемым. Пятый год его перевозят из одной «психушки» в другую. Человек он на редкость способный и смекалистый — до армии не знал ни

слова по-русски, а теперь читает наизусть целые страницы русской классики, хорошо играет в шахматы и — в отличие от меня — имеет вполне сложившиеся политические убеждения. (Мне, по тогдашнему моему развитию, только с Д. Зориным дружить.)

В газетах печатают большое выступление Эйзенхауэра, потом Черчилля: «В Кремле ожидают-ся большие перемены. Наследники Сталина не могут идти его путем, как бы они того ни хотели».

В моей палате публика подобралась неинтересная. Дима Лишнявский, племянник П. С. Жемчужиной, жены Молотова, вконец замучил всех своими стихами:

Пусть лучше изложет чахотка,
Чтоб прах на кладбище снесли...

Или:

Как бывало Сережка Есенин
С горя русскую водочку пьет...

Дима верит в Природу-Бога.

— Меня радует каждая козявка, каждая былинка! — твердит он умильно.

Кроме своих стихов и козявок, он ни о чем рассуждать не способен, но всегда умыт, аккуратен, приветлив.

Афанасий Иванович Тищенко тоже весьма заурядный человек, хотя «дело» его весьма живописно: бухгалтер строительства Московского университета, в подпитии в шашлычной возле площади Пушкина, он вдруг изрек:

— Хорошенький коммунизм — двадцать миллионов рабов!

Его моментально взяли и следователь переспросил злорадно:

— Двадцать миллионов рабов, говоришь? Ты будешь двадцать миллионов первый!

Родных у Тищенко никого нет, и я для него и для немца Артура Франка покупаю в ларьке сигареты. В благодарность Афанасий Иванович смастерил для меня папку в переплетной, и на воле навесил однажды и презентовал зеркальце собственного изготовления. Хотя мы и проживали в Казани в одной палате, но я с ним особенно не общался — говорили про него «стукач», да и «контриков» он, как ни странно, ненавидел. (Папка цела у меня до сих пор, а зеркальце разбилось.)

Артур Франк был уже старик, по-русски не понимал совсем, жалея его, я старался служить ему переводчиком, но мой немецкий тоже был весьма примитивен, так что, когда я начал пересказывать ему «Анну Каренину», он закатился веселым смехом — жена наставляет рога мужу — это очень смешно!

Обычно мы толковали о германо-советской дружбе. Франк, вагонный мастер из ГДР, был не против дружить, но только при одном условии — чтобы Польшу разделить между нашими странами по-честному. А я все пытался доказать, что ни нам, ни ему Польша ни к чему. Был у нас один интеллектуал из Ставрополя, он все удивлялся, как это Франк никогда не слыхивал о Кан-

те и Фейербахе. Я думаю, что наши вагонные мастера тоже вряд ли знакомы с Писаревым и Добролюбовым. Однажды я спросил Франка, каких коммунистов он знает. Он назвал Троцкого, Торглера и Розу Люксембург (Тельмана, фашист, не вспомнил!). Его слова побудили меня сочинить стих (кажется, единственный в жизни): «И теперь меня пусть только спросят: коммунистов назови мне, друг, я отвечу: это Ленин, Троцкий и, конечно, Роза Люксембург!» Когда Артура вызвали на комиссию, от волнения с ним случился конфуз — пришлось ему поменять нижнее белье, прежде чем предстать перед вершителями судеб.

Я спросил:

— Что с вами, Франк?

— Дурхмарш, — пробормотал он, смущенно улыбаясь.

БЕРИЯ — ВРАГ НАРОДА

Эту весть прокричал «правый реставратор», выбежав из столовой — во время прогулок он сидел над учебником английского языка. Я тут же кинулся к «тарелке».

...английский шпион. Соучастники: Меркулов, Деканозов, неизвестные мне Кабулов, Владзимирский, Мешик (это уж наберут...)

Позднее я узнал, что отец в эти дни повстречал Н. С. Сазыкина и поздоровался, но тот «не заметил» старого приятеля и на приветствие не

ответил — не хотел потянуть за собой, а в том, что он обречен, никто не сомневался — многолетний заместитель Берии! Он по-прежнему ходил на работу, сидел в своем кабинете, но никто не заходил к нему и не звонил. Каждое утро он прощался с женой. Наконец, его вызвали в ЦК и назначили преподавателем в Плехановский институт. Отделался, что называется, легким испугом.

Берию свергли! — я возрадовался так, что едва не остался на всю жизнь калекой — зацепился руками за верхнюю планку двери в столовую и принялся раскачиваться, как на турнике. Закинул ноги выше головы, а планка была смазана клеем от мух, пальцы соскользнули, и я со всего размаха хрястнулся позвоночником о порог.

Пришел в себя уже на кровати, усатый фельдшер совал мне в нос нашатырь, потом сделал укол, приговаривая:

— Это ж вьюн, чистый вьюн! Ни минуты нельзя без присмотра оставить...

Уж чего-чего, а без присмотра нас не оставляли, ни днем, ни ночью.

Месяца два у меня болела спина, даже рентген сделали, но что мое падение в сравнении с падением Лаврентия Павловича! Все ликовали. Один лишь шофер Кандалия ходил убитый и мрачно цедил сквозь зубы, что всех нас давить нужно. Потом он вдруг совершенно неожиданно изменил свое отношение к случившемуся и принялся громче всех материть «педераста Берию». Я ему сказал, что это еще не всё — узнаем скоро правду

и про главного педераста. Он остолбенел и побежал жаловаться Юрке Никитченко (у посылок генеральского сына всегда толпилось много «стойких советских граждан»).

— Чудак, — сказал Юрка, — ты что, забыл, где находишься? Тут же со всей страны самая последняя сволочь собрана!

Юрка Никитченко, отчаянный сын нюрнбергского судьи, рос с детьми сталинских наркомов, в разговорах упоминал даже Стасика Ростоцкого. Как и Тимур Фрунзе и Рубен Ибаррури, Юрка с первых же дней войны отправился на фронт, но остался жив, хотя его подвиги и были впечатлены у него на лбу: под разбитым черепом пульсировала вена. Бурденко чудом спас ему жизнь. Юрка любил декламировать стихотворение (по его мнению крамольное):

К неоткрытому полюсу мы не протопчем
тропинку,
Мы не проложим тоннеля по океанскому дну,
Не создадим Рафаэля, Шекспира, Родена и Глинки,
Мы не излечим проказы и не взлетим на Луну!

Дальше рассказывалось о поколении, которое готовилось к открытиям и свершениям — «шли в настоящие люди», но будущему Пирогову ампутировали правую руку (он перенес это без сто-на), а «вместо ньютоновских яблок фрицевы ми-ны висят».

Еще Юрка играл на гитаре и пел лагерные песни:

Но теперь клянусь, голубка,
Буду бить врагов я очень крепко,
Потому что воля дорога,
А на воле мы бываем редко!

Дальше «грозовые лучи заката», «кум», «что на наше счастье и покой поднял окровавленную руку» и серенький дымок, который уносит образ любимой. Были в его репертуаре и «Журавли»:

Где-то там вдалеке
Мать-старушка седая
Сыну с воли поклон
Передав до земли...

Было бы неправильным назвать Юрку стукачом, он никого не пытался ввести в заблуждение относительно своих взглядов и своего особого положения — по тюрьме он разгуливал в прекрасно отутюженном дорогом костюме, открыто амурничал с врачихой, частенько ходил навеселе, а уж когда все надоест, удалялся в изолятор — отдохнуть. Он был самовлюбленным и отчаянным вралем. Так, например, он утверждал, что сидит за попытку убить Берию, якобы принудившего ходить к нему Юркину жену, красавицу-спортсменку полячку. Причем, рассказывал он «дело» с такими подробностями, что я развесил уши, как китайский веер (излагал он свою версию, разумеется, до падения Берии). На самом деле он сидел за то, что отправил патрульного офицера в тот мир, где нет скорбей и забот, — бедняга имел неосторожность потребовать у Юрки документы. Убийство было определено

как политический террор, хотя Юрка всю жизнь оставался верным сыном коммунистического отечества. Даже в тюрьме он пытался внушить коммунистические взгляды всем, включая английского разведчика Фортуэмса.

Никитченко одинаково презирал и заключенных, и тюремщиков, и когда его повезли в институт Сербского, намереваясь «выписать», он, поглядев на психиатров в мундирах, сказал:

— Что это вы тут сидите с умными лицами? Наши судьбы решаются не за этим столом, вы тут вместо попугаев!

Озлившись, «попугаи» добились, чтобы Юрку отправили обратно в Казань. Он поджег под собой матрац в виде протеста, но это не помогло — вышел он на волю только после XX съезда и тут же вскоре скончался.

Был у нас и еще один такой же поборник режима — старый большевик Борис Иванович Мохов, с Гнездиковского. Жена получала за него пенсию, а он находился в Казани «на излечении». Он величественно прохаживался по прогулочному дворику, прикрыв лысину носовым платочком и с томом Маркса в руках.

На Юркино высказывание насчет сволочи бывший обкомовец Владимиров заметил, что Никитченко ни у кого, кроме кучки верных попрошаек, авторитетом не пользуется. Владимиров сидел с тридцать седьмого и был известен как человек прямой и бесстрашный, чуть что — «бил прямым по фотокарточке».

На очередном шмоне я злорадно заявил:

— Плохо искали — у меня портрет товарища Берии имеется!

Надзиратель принялся снова перерывать все вещи и, ничего не найдя, вперил в меня разъяренный взгляд.

— Не нашли? А это что? — Я указал на снимок Тбилисского турнира в шахматном журнале — на сцене на заднем плане был различим портрет Берии.

Надзиратель вздохнул и унес с собой журнал.

Мы стали припоминать — еще в декабре вожди появились на опере «Декабристы» без Берии, но тогда Зайцев уверял, что он в Берлине — там проходили «волынки», Ульбрихт признал, что руководство от чего-то оторвалось, кажется, от рабочего класса. Никитченко что-то знал еще раньше, но говорил, что у «опера» портрет Лаврентия Павловича сняли в связи с ремонтом.

В «Правде» появилось выражение «антимарксистский культ личности», но сама личность не называлась, каждый мог понимать в меру своей догадливости (расшифровывать советскую печать мы уже насобачились не хуже членов ЦК). Маленков на сессии горячо возвеличивал «нашего отца» Ленина (после чего в народе пошел слух, что он родственник Ильичу), а Сталина только один раз мимоходом назвал великим.

В открытках домой я писал: «Ты сдохнешь дважды, самовлюбленная тварь, поправшая марксизм!» Кум пропустил, считая, что я клянусь Берию, а дома мои намеки никого не радовали, поэтому и понимать их не старались.

Много лет спустя меня чрезвычайно удивило утверждение М. П. Якубовича, что Берия сам по себе вовсе не был кровожаден, не рвался ни арестовывать, ни расстреливать.

— Если бы Ежов продержался еще несколько месяцев, я бы живым из Верхнеуральской тюрьмы не вышел, — сказал Якубович. — Нас двое всего и пережило зиму тридцать седьмого...

Мы с трепетом ждали перемен. Будоражила даже пионерская песня, которую частенько передавали по радио:

До чего же хорошо кругом!
Мы друзей веселых в лагере найдем!

Потешая всех, я читал вслух газеты:

— Вооруженные решениями исторического XIX съезда партии...

Потом мне надоело ждать и волноваться, и я переключился на шахматы, волейбол, хотел даже сыграть что-нибудь, но самодеятельность у нас не позволялась, приходилось ограничиваться сочинительством. Дима Лишнявский (прежде далекий от политики) стал рифмовать: «Великий мингрел погорел» и «Берия вышел из доверия». К сожалению, только на воле я узнал песенку, которая очень кстати пришлась бы нам в Казани:

Цветет в Тбилиси алыча
Не для Лаврентий Палыча,
А для Клемент Ефремыча
И Вячеслав Михалыча!

НА ВИСЕЛИЦУ БОЛЬШЕВИКОВ!

В Перми у нас в доме неделю гостил вице-президент Академии наук СССР И. П. Бардин. Может быть, я и ошибаюсь, но думается, что он бледно бы выглядел, если бы свести его с Александром Иосифовичем Зайцевым. Хотя в Казани немало содержалось интеллектуалов, авторов солидных трудов, но другого такого, как Зайцев, не было. Физики, химики, врачи, инженеры спрашивали его мнения, будто он являлся специалистом именно в их области. На каком бы языке к нему ни обратились, он тут же без всякого затруднения отвечал, не прекращая своего бесконечного хождения по кругу.

Отец Александра Иосифовича, князь Зайцев, полковник царской армии, в эмиграции женился на католичке. Первая его жена (в патриотическом порыве выучившаяся во время войны на врача) осталась в России. Александр окончил гимназию в Вене, а в Америке какой-то университет, кажется, Гарвардский, и был бы, без сомнения, блестящим ученым, но тут отец, до того предостерегавший юношу от рискованных поступков, умер, а молодой князь, сражавшийся с гитлеровцами во Франции и получивший ранение, решил посвятить свою жизнь борьбе с большевизмом. Предложив свои услуги американской разведке, Зайцев в качестве перемещенного лица «вернулся» в СССР, прошел все фильтрации, но поехал не туда, куда ему было указано, а в Москву, где для него был приготовлен паспорт

и документы инвалида Отечественной войны. Какая-то старушка продала ему комнату на ул. Воровского и прописала под видом племянника.

Как инвалид Зайцев получал пенсию, даже переосвидетельствовался, ходил в Ленинскую библиотеку, читая Тертуллиана и Фому Аквинского для души и просматривая другие издания для дела.

Как-то в арбатском магазине к нему подошла пожилая женщина.

— Вы не родственник Иосифа Александровича?

Зайцев вздрогнул и побледнел. Оказалось, что с ним говорит бывшая жена его отца.

— Я его сын...

Кто передал «органам» адрес явочной квартиры в Ленинграде, Зайцев, разумеется, не знал, хотя и строил на этот счет некоторые предположения, факт тот, что он попал в засаду и был схвачен с заряженным браунингом в кармане.

Следствие Ленинграда не дало результата, психиатрическая экспертиза признала невменяемым, но Москва не согласилась с таким результатом, его привезли на Лубянку, зачитали секретный указ (никакого беззакония!), но и на дыбе Александр Иосифович поносил большевиков и пел «Боже, царя храни!». В конце концов, заплечных дел мастера от него отступились, его снова признали невменяемым и отправили в Казань.

На Лубянке, в перерывах между допросами, Зайцев требовал книг.

— Не положено!

— Ах, не положено?! — он подбегал к вентиляционной отдушине и кричал в мертвую тишину: — На виселицу большевиков! Да здравствует конституционная монархия!

Его избивали до потери сознания, но как только он приходил в себя, тут же принимался за свое:

— Книг!

— Через десять дней.

— Ах, через десять дней? На виселицу большевиков!

— Библиотека сегодня не работает.

— Ах, не работает!

Убивать этого заключенного не велели, а заставить его молчать не было никакой возможности. Книги стали приносить по первому требованию.

В Казани его держали в самом тяжелом отделении, с теми, кто поедал собственный кал и истреблял его рукописи. Он объявил голодовку. Стали делать искусственное питание, каждый раз скручивая, но опять-таки, замучить было не велено, и вот уже Александр Иосифович разгуливает как ни в чем не бывало по нашему дворику, поблескивая толстыми стеклами очков. Бывшая княгиня не покинула его, хлопчет об опеке, присылает деньги, приезжает.

Однажды, вернувшись со свидания, Александр Иосифович уселся напротив меня, открыл коробку трюфелей и принялся угощать:

— Берите, Владимир Николаевич, берите! Все равно придется стукачам отдать...

— Зачем же?

— Да уж лучше дать...

Я почувствовал, что все это звучит как-то двусмысленно. Язык у меня действительно длинный, я могу, увлекшись, наболтать много такого, о чем вовсе не следует говорить. Но, к счастью, это мое качество всем хорошо известно — как друзьям, так и работникам «органов». Первых я прошу не доверять мне никаких секретов во избежание беды, а вторые знают, что никакой тайный, задушевный и доверительный разговор со мной невозможен. Как-то врачаха принялась беседовать со мной о Зайцеве и я, конечно, не удержался, чтобы не выразить своего восхищения таким замечательным человеком. Когда я рассказал об этом Александру Иосифовичу, он пришел в ужас от моего «голубого глаза».

Я взял конфетку и, чтобы переменить тему разговора, спросил:

— Ну, что вам матушка говорила?

— Она думает, что меня в конце концов освободят. Во всяком случае, чекисты так ей сказали... — И я увидел слезы в его глазах. Он встал и покинул меня с коробкой трюфелей, которую в тамошних условиях трудно было сохранить.

Все отделение знало, что за столом я сижу рядом с Зайцевым и занимать это место бесполезно. Однажды Лобачевский вздумал угрожать Александру Иосифовичу, я поднял шахматную доску выше головы, боксер, видно, понял, что я не шучу, и быстро растаял. По тюремному вы-

ражению, которое он сам любил употреблять, «заболел бздилогонством».

В другой раз Селивановский подошел ко мне и зашептал:

— Что ты делаешь? Ты что, не хочешь выйти отсюда? К Зайцеву нельзя подходить — он же шпион!

— Ты тоже шпион, — сказал я. — А я к тебе подхожу. — И пообещал набить ему морду, если он еще раз сунется со своими предупреждениями.

Он послушался.

К счастью для нас, «лечения» никакого не было — не то что теперь. Врачи существовали для проформы и мало чем отличались от надзирателей. Даже сонную терапию вскоре отменили. Главным человеком был «кум», через него шла переписка, выдавались квитанции на деньги и доверенности.

Каждый вызов к Сайфиулину (обычно он вызывал с прогулки) для меня был тяжелым переживанием, вернувшись, я будто не нарочно показывал всем квитанцию, чтобы знали, что это он вызывал по делу, а то еще подумают... Может быть, это общий психоз — как бы не прослыть либо стукачом, либо провокатором, но у меня он был особенно силен, поскольку и я сам, и все друзья знали, что язык мой — враг мой.

Однажды, как я уже упоминал, меня вызвала врач, некрасивая, но молодая женщина — очередная пассия вечно увлекающегося Юрки Никитченко.

— Вы уже пять месяцев у нас, а я ни разу с вами не беседовала. Да, вот, кстати, вам пришла бандероль — и протянула мне шесть шахматных журналов, которые выписала мама. — Ну, как у вас?

Я сам не заметил, как принялся восхищаться Зайцевым, его невероятной эрудицией и поведал, что боюсь заговорить с ним о театре, поскольку предчувствую, что он и тут знает больше моего. К счастью, мой восторженный монолог прервал «британский подданный» Кичин. Ворвавшись в кабинет, он протянул врачихе свои пухлые руки и принялся взволнованно объяснять:

— Вы видите мои руки? Правая не сгибается в кисти. Вот! Этой рукой меня опять под гипнозом заставили заниматься онанизмом! Я уже направил резкий протест господину Трюгве Ли. Назначьте мне парафин на правую руку!

Врачиха покраснела.

— Ну, Кичин, вы же видите — я занята, зайдите попозже...

Кичин возмутился:

— Что значит, попозже?! Вы не принимаете никаких мер! Все свои силы я расходую на мастурбацию, а вы преступно стоите в стороне! Потворствуете сталинской психиатрии! В среду я видел во сне сестру-коммунистку, с которой давно порвал! Когда же виновные будут наказаны?!

Воспользовавшись замешательством врачихи, я выскользнул из кабинета и пошел к Зайцеву каяться.

БРИТАНСКИЙ ПОДДАННЫЙ

Кичин вырос в Москве, в семье партийца, но отрочество и юность его пришлись на те годы, когда еще возможны были диспуты, дискуссии, литературные вечера. Виктор Давидович кончил физмат и начал преподавать. Он был поклонником Троцкого, но как-то незаметно шумливые оппозиционеры рассеялись, время капустников, на которых можно было потешаться даже над наркомом просвещения, миновало, и Виктор стал остерегаться откровенничать даже с любимой девушкой. Она как будто не замечала, что творится вокруг, и продолжала интересоваться премьерами и литературными новинками даже тогда, когда шли суды над бывшими властителями дум. В день приговора Бухарину, она заявила, что ей хочется на «Жирофле-Жирофля». Одиноким оппозиционер пристально посмотрел на нее, встал и, попрощавшись, ушел. С того дня он избегал ее.

Об арестах он не решался говорить даже с родителями, страх мучал его постоянно, он старался загнать его внутрь, но чувствовал, что ненависть его к Сталину растет, а вместе с ней и какая-то болезненная любовь к Троцкому. Прочтя в газете об убийстве своего кумира, Кичин впервые не вышел на работу.

Затем он несколько раз побывал в психиатрической лечебнице, а после войны, убедившись, что перемен к лучшему не намечается, решил действовать — отправился на телеграф и дал

телеграмму на имя Сталина, всего два слова: «Прекратите террор» и подпись. Девушка в окошечке заупрявилась, завязалась перебранка, Кичин ворвался в аппаратную и потребовал, чтобы телеграмму отстучали тут же, при нем, упирая на то, что он британский подданный. Телеграфистка решила не перечить, сделала вид, что передает текст.

Выйдя с телеграфа, Кичин направился в британское посольство и здесь потребовал для себя оформления британского подданства. Просьба его была встречена, как ему показалось, весьма благосклонно, и он покинул здание посольства в полной уверенности, что отныне является гражданином Великобритании. В этом заблуждении он пребывал много лет, не исключено, что и теперь так думает.

Я впервые увидел этого «британца» через решетку, он прогуливался в карантине — красивый полный мужчина в старомодном костюме с жилетом, действительно, вылитый лидер лейбористской партии, приехавший, скажем, на конгресс II Интернационала.

Весть о возвращении Кичина из Чистополя мгновенно разнеслась по отделениям — он был всеобщей уморой, как и Аджемов, тоже бывший московский преподаватель. Аджемов все время общался с какими-то ТОСАМИ. Среди вполне разумного разговора он неожиданно раскрывал тумбочку и успокаивал нечто там находящееся:

— ТОСЫ, я здесь, — после чего захлопывал дверцу и продолжал прерванную беседу.

Когда его вызвали на комиссию и спросили, что он станет делать, если его выпишут, он не задумываясь ответил:

— Добьюсь, чтобы мне сделали каучуковую голову и резиновый нос, а потом поеду в Москву и уничтожу советскую власть.

Кичин тоже недалеко от него ушел и в нашем отделении удерживался, можно сказать, исключительно моими стараниями. Однажды, придя на ужин, он вдруг с ужасом глянул на репродуктор, поднялся и ушел, не поев, а потом несколько дней вообще не решался приблизиться к столовой. Я аккуратно носил ему еду в палату, а потом забирал пустые миски — из уважения к Великобритании, а также потому, что мне страшно не хватало театра.

Представление начиналось с утра. Кичин присаживался к тумбочке и что-то писал. Затем вызывал корпусного. Тот (в моем лице) немедленно являлся и стоял по стойке «смирно», ожидая распоряжений. Виктор Давидович, моргая глазами и трубя носом, передавал мне исписанные листы.

— Господин корпусной! Я составил некролог по скончавшемуся Эрнсту Бевину на русском и английском языках. Тексты аутентичны. Отправьте в газеты!

Корпусной бережно принимал листочки и спрашивал:

— Других приказаний не будет?

— Нет, поторопитесь!

Читая «Правду», которую ему выписывала мать, Кичин гневался — опять о нем ни слова! А

английских газет он не может добиться, хотя уже посылал протесты и королеве, и Черчиллю, и в ООН, и даже господину Кагановичу, портрет которого видел в «Правде». Виктор Давидович написал Сталину: «Господин Генералиссимус! Ваша ненависть к великому Троцкому и третьей русской революции, к лейбористской партии и лично ко мне...»

Я как-то «обиделся»:

— Виктор Давидович! Почему вы меня называете господином, ведь я тоже социал-демократ!

— Я не знал этого, извините... товарищ Гусаров. Но ведь я британский подданный, и согласно международным обычаям должен называть вас, как гражданина другой страны, господином. Извините.

Мне крыть было нечем, и он продолжал называть меня господином.

Впрочем, я ценил Кичина не только за потеху, временами, не прерывая бреда, он упоминал Коллонтай, Радека, Шляпникова, Троцкого, цитировал заголовки и тексты статей, заявления, воспоминания, мимоходом упоминал факты, совершенно мне неизвестные. Я тянулся к легендарным революционным временам, чем вызывал гнев Зайцева, для которого и Добролюбов с Писаревым были чертенятами. Он считал социал-демократов еще опаснее коммунистов — последних, с Божьей помощью, когда-нибудь все равно перевешают, а вот с социал-демократами непонятно как поступить — действуют в рамках закона,

а между тем утверждают безбожную идею равенства.

Недавно я повстречал Бориса Ивановича Мохова, того самого, который, находясь в сталинской тюрьме, исправно получал свою пенсию. (Теперь генералу Григоренко в этом праве отказано, хоть он и объявлен «больным» на весь мир и пять лет содержится в «стационаре». Болен, но не так...) Мохов сообщил, что видел Кичина, тот сидел на лавочке на бульваре, Борис Иванович подошел, напомнил о Казани, хотел расспросить о здоровье, о жизни, но Кичин не пожелал беседовать.

— Вас освободили? Ну и идите себе! Меня не выпускают на родину... — и при этом, по словам Мохова, замигал и затрубил носом.

СТОРОННИКИ ПАРТИИ

Кроме Лобачевского и Дмитрия Зорина в изоляторе находились и «нарушители партийной дисциплины». Никакого маразма у них, как правило, не наблюдалось, возможно, их, как и меня, спасали. Один из них, бывший директор завода «Борец» Анатолий Петрович Головкин, походил на раздобревшего Портоса — руководящие товарищи имеют обыкновение хорошо питаться и мало двигаться. Потомственный рабочий, в молодости красногвардеец, Головкин с годами стал замечать, что некоторые органы присвоили себе монополию толкования деликатных вопросов

преданности и понимают эту преданность весьма своеобразно. К счастью, Анатолий Петрович сравнительно поздно, лишь после войны, уяснил для себя роль Сталина в истории государства российского (а в тридцать седьмом, возможно, и не решился бы высовываться). Вместо того, чтобы держать свои мысли при себе, Головкин написал в КПК Владимирскому, правда, письмо было вроде бы и невинное: член партии интересовался, когда же, наконец, состоится очередной съезд. Владимирский вызвал его к себе и принялся распекать. При разговоре присутствовал серьезный молодой человек с проницательным взглядом.

Потом Головкин стал замечать возле своего дома и родного завода одних и тех же лениво прогуливающихся граждан, а машину его всюду сопровождала молочная «Победа». В один прекрасный день у Анатолия Петровича сдали нервы, и возле ресторана «Химки» он переколотил заводной ручкой от своего автомобиля фары «Победы» — в ней никого не было (инцидент этот в дальнейшем на следствии не упоминался).

На первом допросе Головкин, с детства владевший уличным аргом, заметил: сдается ему, что беседуют с ним не государственные служащие, а бандюги в воровском притоне. Дабы рассеять это заблуждение, Анатолия Петровича бросили в карцер с водой. Но при следующем свидании со следователем Головкин опять сокрушался, что попал в воровскую малину.

К сожалению, я не в состоянии передать живописный рассказ Анатолия Петровича, мне не хватает его словечек, к тому же многие подробности просто забылись. С «изящной словесностью» он не расставался и в Казани, особенно входил в азарт, играя в волейбол. Вообще на нем лежала некая печать приклатненности, видимо свойственная любому потомственному пролетарию, но в целом это был спокойный, солидный и жизнерадостный человек. Мне нравился его отличный московский выговор, но разговаривать с ним быстро наскучивало — главной темой его разговоров было, кто когда кем был и сколько имеет наград, а я не меньше его повидал ответственных товарищей и был совершенно равнодушен к их передвижениям по службе. Кроме того, поговаривали о связях Головкина с «кумом». Однажды, помню, он заметил:

— У Сталина надо переиздать «Национальный вопрос» и «Вопросы ленинизма», а на полное собрание сочинений он рылом не вышел.

Теперь Головкин персональный пенсионер, я встретил его в сквере возле театра Пушкина (во время матча Ботвинник-Таль), он шел, нагруженный аккуратными белыми пакетиками, явно не магазинной упаковки. Меня он тотчас узнал и спросил:

— Как здоровье Николая Ивановича?

Я с ним никогда об отце не разговаривал, но он, конечно, был в курсе — где и кем теперь Гусаров, оставалось только поинтересоваться здоровьем. Потом Анатолий Петрович рас-

сказал, что видел Андерста, тот ведет себя невозможно.

— Подошел к нему, говорю, здорово, Андерст, как жизнь? А он как шарахнется от меня и давай орать: «Граждане, это чекист! Что он ко мне пристает? Это чекист! Убийца!»

Анатолий Петрович оставил мне свой телефон и адрес, я записал, но так и не собрался ни позвонить, ни навестить, а потом и книжку потерял.

Многих фамилий уже просто не помню, но люди стоят перед глазами как живые — старый рабочий-большевик с седыми усами, его даже Зайцев считал приличным человеком; еще один, тоже, видно, рабочий, с серым, землистым и невероятно изможденным лицом, настоящий дистрофик, зубов у него почти не сохранилось и от этого и без того худые щеки вовсе провалились. Сидел он за анекдот, услышал однажды в пивной: «Абрам пришел к Сталину: Иосиф Виссарионович, переспите с моей Сарочкой, мы хотим умного сына, а это, говорят, зависит от отца» — «Я сейчас русскими занят, освобожусь, начну е... евреев». Дистрофик вернулся из пивной навеселе и рассказал анекдот соседу, а тот знал, где такие шуточки в цене, отца четырех маленьких детей забрали. Жена пишет, что наложит руки и на себя, и на детей — все равно ей четверых не поднять. Дистрофик курит, материт соседа, органы, партию и правительство. Из рабочих был и Лактионов с ЗИСа. Его, Лешу Саркисяна и Зайцева я пригласил отметить со мной день

рождения Эды. Купил торт, дорогих конфет, ромовых баб и устроил торжественное чаепитие. Гости рассматривали фотографии жены и сына, и Леша вдруг произнес опечаленно:

— Володя, зачем ты на армянке женился, они же все б...

Зайцев с Лактионовым поперхнулись, но я не стал оскорбляться. Глядя на мою сияющую физиономию, остальные тоже заулыбались и трапеза чинно продолжалась...

Осень была холодная, сырая, в декабре ударили настоящие морозы, шестое отделение перевели куда-то в связи с ремонтом.

Первого декабря Зайцев вычитал в газете про пленум тульского обкома — моего отца «избрали» первым секретарем. Александр Иосифович благожелательно поздравил. Через несколько дней меня неожиданно вызвали на комиссию, вместе с испанцем Фернандесом, который постоянно спорил сам с собой на непонятном никому языке, и подвели к столу, за которым сидело несколько неизвестных мне старичков во главе с психиатром Андреевым, сторонником крутых мер. Андреев неодобрительно глянул на мои роскошные рыжие усы и растущую где-то у горла бороду и сказал:

— Что это вы растительность развели?

— Я актер. Другой возможности носить настоящие усы у меня не будет.

— А вам больше не захочется растить усы, если мы вас выпишем?

— Не захочется. Я вас понял.

- Но вы были с чем-то несогласны?
- Да. Но в стране многое изменилось.
- Что именно?
- Вы сами знаете что.
- Ладно. Идите.

Я понял, что мне недолго осталось жить в Казани, но ни с кем своим счастьем не поделился. Как об этом скажешь тем, кто раньше тебя сел и неизвестно когда выйдет?. Однако Зайцев сам догадался, и когда мне велели не выходить на прогулку, он тоже не пошел. Я подарил ему шахматные журналы и записи партий. Когда он сжал мою руку, на скулах у него выступили красные пятна. Я назвал адрес, он кивнул...

Все мои старания найти Александра Иосифовича в этом мире не увенчались успехом. На мои запросы отзывались многие его однофамильцы, даже один шахтер, но воспитанник Гарварда как в воду канул...

После ареста Берии надзор был деморализован, разрешили вынести даже папку — подношение бухгалтера Тищенко, а на письма родных и не глянули. Я горько пожалел, что не вел дневника на разрозненных листках — сошли бы за письма.

На пересылке блатные жадно слушали мои речи, пока меня не водворили в бокс.

На этапе услышал новое выражение — «бериевец». Этап собирали во дворе тюрьмы, уголовники жались к окнам, и вдруг, кого-то увидев, дружно засвистели и заулюлюкали:

— У-у-у-у, сука, беривец, чтоб у тебя на лбу х... вырос!

В поезде меня сначала сунули в битком набитое «купе», но потом перевели к двум изменникам родины. Через некоторое время к нам поместили четвертого, средних лет еврея, который поведал, что его жена, чтобы спасти его, отдалась следователю, и вот уже, видно, начинает помогать...

Один из «изменников» рассказал свою историю: ему не только записали в протоколе, какую шпионскую школу кончал, но и точную дату вербовки проставили, а на его возражение, что именно в это время он командовал отделением под Севастополем, помнит своих солдат и командиров, может имена назвать, ответили, что это несущественно — органы располагают собственными сведениями и не нуждаются в показаниях тех, кто в окопах сидел. Тоже правильно — если уж кому посчастливилось из-под Севастополя живым выйти, так он наверняка расположен больше доверять работе органов, чем собственной памяти. К чему тревожить людей...

Конвойные собаки куда-то исчезли, и заключенные моментально учуяли послабление, были даже такие наглецы — просились прогуляться по перрону. И некоторым иностранцам действительно разрешали.

Все радовались освобождению «жуковцев». То и дело рождались «параши» — то врачей снова арестовали (вместе с Берией), то Микоян сам лично позвонил в лагерь, поговорил с кем-то из

заклученных, и тут же после разговора самолет за ним прислал, а в самолете — генеральская шинель и вся форма.

Наконец, меня привезли в Бутырки, снова всего обрили, вымыли и тут же — в Сербского.

Возле ванны стоял тот же фельдшер — толстый флегматичный тюлень с оттопыренными ушами. Я сообщил ему, что менее чем час назад уже мылся. Он посмотрел на меня и лениво проговорил:

— Мылся, не мылся, положено — лезь...

КИНОРЕЖИССЕР КАПЧИНСКИЙ

Старик двигался с трудом, пытаясь сохранить вертикальное положение, хватался за стенки и попадавшие по пути предметы, «кадил» всем без разбора, начиная от няньки и кончая главврачом, и даже когда никого не было, не переставал умиляться — какие тут чудесные, нежные, отзывчивые, вежливые люди!..

Еще до революции Михаил Яковлевич изучал в Киевском университете математику, но потом вдруг увлекся кино и сделался видным режиссером «великого немого» — он называл такие фильмы, как «Кафе Фанкони», «Еврейское счастье», «За монастырской стеной». Затем снял звуковой фильм «Ошибка инженера Кочина», но в последние годы художественных фильмов снималось так мало, что Капчинский не мог уже и

мечтать получить постановку и довольствовался работой в «Научпопе».

Однажды другой режиссер, Илья Фрез (создатель фильмов «Слон и веревочка» и «Первоклассница»), пришел на работу крайне расстроенный — в школе избили его сына (то было время врачей-отравителей, и евреям сделалось опасно не только проходить мимо национальных бастионов — пивных, но и вообще показываться на улице). Желая как-то утешить коллегу, Михаил Яковлевич сказал:

— Не принимайте близко к сердцу, конечно, неприятно, но что поделаешь — среди некоторой отсталой части населения еще бытуют антисемитские настроения...

Кто-то моментально донес, и Капчинского арестовали за «клевету на советских людей». Конец января и февраль старик провел на Лубянке в одиночке. Ему не давали спать. Всю ночь напролет Михаил Яковлевич должен был сидеть в кабинете следователя, а под утро тот вызывал конвой и командовал:

— Уведите этого диверсанта!

Очень скоро старик уже не мог ходить, его волокли в камеру, бросали на кровать, и тут же раздавалось:

— Подъем!

Молодцеватый следователь честил Капчинского жидовской мордой и просил «не крутить ему яйца».

— Вы понимаете, Володя — я кручу ему яйца...

При обыске дома нашли несколько альбомов со срезками пленки (такие срезки уборщицы в конце рабочего дня выметают корзинками). Капчинский признался, что воровал в студии пленки. Еще у постановщика фильма «За монастырской стеной» нашли католический крест. В конце войны, будучи подполковником Красной армии, Капчинский стоял на квартире у венгерки-католички и, чураясь разыгравшегося вокруг «веселья», читал Евангелие на латыни. На прощание хозяйка подарила своему постояльцу Распятие. Следствие установило, что этот крест являлся паролем и тайным знаком шпионской организации, оставалось только установить имена ее членов, но Михаил Яковлевич, хоть его и пытали бессонницей полтора месяца кряду, упрямо отказывался назвать соучастников.

— Не спать! — старик вздрагивал от каждого стука в дверь камеры.

Как-то в середине февраля после завтрака он присел и на мгновение задумался, но тут же раздался стук.

— Я не сплю!

Открылась кормушка, и русская женщина в погонах прошептала:

— Я вижу, что не спишь, — обед принесли!

Дежурная по коридору не только не прервала его сидячего обморока, но и охраняла сон бедного старика, но вот принесли обед и нужно предупредить разоблачение.

Михаил Яковлевич хорошо помнил, как отдал пустую миску, убрал в тумбочку кружку и остаток

хлеба, сел, пальцами раздвинул месяц не смыкавшиеся веки, но куда девалось время от завтрака до обеда — не знал... Наверно, эти несколько часов забытья позволили ему дожить до марта. А в марте его вдруг перестали вызывать и совершенно оставили в покое. Недели через две вызвали уже днем, и тот же следователь, которому жидовская морда крутила яйца, отослав конвой, сказал любезно:

— Михаил Яковлевич! — Капчинский вздрогнул — «знает, как меня зовут!» — я лично убежден, что вы невиновны, и выскажу свою точку зрения, но решаю вашу судьбу не я... Вызывать я вас больше не буду, но если станет скучно, проситесь ко мне, я с вами с удовольствием побеседую — вы много повидали, за границей бывали, интересно послушать... У меня тут приемник есть... — он включил приемник и кабинет наполнился мягкими, умиротворяющими душу звуками.

Михаил Яковлевич, ничего не понимая, молча плакал...

Затем его водворили обратно в камеру, где, всеми позабытый, он провел еще восемь месяцев, и действительно начал сам проситься к следователю. «Милейший молодой человек» не знал, что теперь делать с Капчинским, не очень знали и выше. Наконец, продержав «агента империализма» почти год, догадались отправить его в Сербского — там много врачей и болезней, что-нибудь да подберут.

И вот теперь, с трудом передвигаясь по палате, Капчинский не перестает восхищаться чудесным персоналом института и гуманностью советских законов.

ИНТЕЛЛИЖЕНС СЕРВИС

В железной клетке воронка я устроил импровизированный концерт: пел революционные песни и декламировал стихи на смерть Ленина. Трое моих слушателей — преподаватель географии, бывший эсер и какой-то иностранец — ехали в таких же железных клетках.

Географ потом оказался неприятным, склочным типом, так что я не стану называть его фамилию, эсера звали Иваном Георгиевичем, а иностранец предложил мне отгадать его национальность. Говорил он очень чисто и правильно, безо всякого акцента, но когда разговариваешь на родном языке, всегда что-то подразумевается, опускается — «пробрасывается», а тут прямо какой-то учебник русского языка.

— Прибалтика? — предположил я. — Латыш?

— Нет.

— М-м-м... Странно. Тогда эстонец или финн...

— Да англичанин он, — не выдержал эсер. — Тут и угадывать нечего!

Почему же нечего — на Черчилля не похож, на бульдога тоже, высокий светлый шатен, красавец, глаза как у немца из кинофильма «Радуга».

Выяснилось, что наш сосед — граф Ленарт Фортуэмс, сын английского лорда, а на герцога Мальборо не похож, возможно, оттого, что мать австриячка. Разведчик и коммерсант, сторонник крайних консерваторов, Ленарт явился в нашу комендатуру в Вене и потребовал аудиенции у Сталина или кого-нибудь из приближенных. Его тут же отправили на Лубянку, где, правда, в камере подавалось меню на завтра, но выше генерал-лейтенанта никто с ним не беседовал. Отчаявшись, Ленарт заявил, что на худой конец, готов передать свои предложения Жукову. Тут его перестали катать по Москве и, осудив на пятнадцать лет, перевезли во Владимирский изолятор, где поместили в одной камере с академиком Париным, «медицинским шпионом». Несмотря на мягкий режим и перины, англичанин был недоволен и вообще не мог понять — как можно сажать человека, который сам пришел да еще с весьма заманчивыми предложениями?

После смерти Сталина Берия вдруг решил ознакомиться с этими предложениями, Ленарта снова отвезли в Москву, но свидание так и не состоялось — Берия пал (может, из-за Ленарта он и сделался английским шпионом?) Ленарт был счастлив, что не успел войти в сношения с шефом тайной полиции — если Жуков обошелся ему в пятнадцать лет, то за Берию могли бы и кокнуть.

— Вы разведчик, Ленарт?

— Я разведчик, но не русского отдела, меня глупо называть шпионом — английская разведка

не стала бы тратить единственного сына лорда Фортуэмэс на то, чтобы выдать его за какого-то Витьку, для этого более чем достаточно природных русских!

Он намекал, что его миссия была связана с англо-американским соперничеством в какой-то ближневосточной стране, и поскольку все это было архисекретно, довериться рядовому генералу МГБ он не имел права, но теперь, по прошествии стольких лет, Ленарт вовсе уже не был уверен в своих полномочиях.

— Интересно, ваш отец знает, где вы находитесь?

— Он знает, какого цвета у меня одеяло и у какой стены расположена моя койка.

Ленарт славный парень, ненавидит тиранию, гордится своей нацией, говорит, что английские коммунисты, если и придут когда-нибудь к власти, институт монархии не тронут — иначе какие же они англичане. Однако любимая тема его разговоров — женщины, тут он щадит одну только королеву, разумеется, английскую. Знает восемь языков, польский среди них не назывался, но когда у нас появился мальчишка-полячонок, выяснилось, что для Ленарта не составляет труда объясниться и по-польски. (Мальчишка был маленького росточка, по-детски проказливый, в лагерях уже три года — с тринадцати лет. Однажды блатняк вздумал по праву сильного тираниить беднягу, я заступился, сцепились, социально-близкий плеснул в меня щами — «Я этому сохатому покажу!» — и угодил в карцер.)

Юрка Никитченко похвалялся, что говорит по-английски, но оказалось, что амбиция превышает амуницию, болтать с Ленартом по-английски мог только Славка Репников, недавно окончивший школу. Ленарт заметил, что у Славы нью-йоркское произношение, и тот расцвел — по моему, в устах англичанина это сомнительный комплимент.

В Англии народ все еще уважает своих аристократов, познакомившись с Ленартом, я понял, почему — это тебе не русский барин, не Обломов и не Облонский (хоть и порядочный шалопай). Ленарт все умел — натирал полы, мыл окна, когда пришел парикмахер, он и его ремесло мигом освоил и всех перестриг. Няньки в нем души не чаяли и подкармливали, как могли — он заметно пополнил и сиял красотой. Врач, литовка с грустными глазами, как-то сделала ему комплимент, он галантно ответил:

— Если вы и в дальнейшем будете мне подмахивать, я еще больше поправлюсь.

Очевидно, хотел сказать «подбрасывать», имея в виду дополнительное питание. Все грохнули, молодая женщина вспыхнула и убежала. Другой раз, пустив в няньку струю папиросного дыма, он радостно воскликнул:

— Здорово я вам задул!

Все охотно поверили ему, когда он рассказал, что однажды в альпийском походе вырезал своему спутнику аппендикс консервным ножом, в газетах, дескать, потом об этом писали.

Но больше в газетах писали о других его подвигах — его совсем юная жена погибла во время бомбежки Лондона, и он вел довольно скандальную жизнь холостяка. Как-то привел с улицы девочку и, чтобы усилить ее удивление от графских хором, предложил искупаться в молоке. Рабочий, доставивший цистерну и наполнявший ванну, прописал об этом развлечении в лейбористской газете, хотя Ленарт, по его словам, не поскупился на чаевые: «В то время как английский народ получает молоко по карточкам и терпит многие другие лишения, аристократический отпрыск купает в молоке свою любовницу». В другой раз Ленарт прогулялся по Лондону с леопардом на поводке и тоже любовался своей фотографией в газетах.

Ему было тридцать два года, о женщинах он говорил гораздо больше, чем о политике, в Сербском увлекся новым главврачом, эффектной брюнеткой с седой прядью, и вслух мечтал на ней жениться (хороша была бы парочка, оба засекречены, всяк по-своему), что не мешало ему между прочим скомпрометировать медсестру Аллу. Нужно, конечно, учесть наш эротический голод — мужчины в самом цветущем возрасте, ничем не занятые и вполне прилично питающиеся, неудивительно, что фантазия разыгрывалась, и рассказы в духе «Декамерона», а то и похлеще, об «интимных уловках любви», продолжались до поздней ночи. Ленарт никак не хотел выглядеть пошляком, доказывал, что все допустимо, когда есть любовь и влечение, и охотно делился с нами

своими познаниями в науке страсти нежной, вспоминал об испанках и негритянках, но предупредал, что к креолке белому мужчине лучше не подходить — замучает, а потом даст по физиономии (боюсь, что никому из нас не представится в жизни случая проверить справедливость его слов). Русская женщина была у него только однажды, и то сколько страху он с ней натерпелся! — она была актрисой красноармейского гастрольного театра (эмигранток он, видно, за русских не считал). Он пытался заставить меня поделиться своими наблюдениями в этой области, но я отвечал смущенно:

— Так что же я вам расскажу — моя жена армянка... — и поощряемый им, принимался рассказывать о жене, о единственной, в сущности, моей женщине, с которой так трудно было заснуть и еще труднее проснуться... Пусть уж русские красавицы меня простят.

ЭСЕР ЛАПШОВ

Иван Георгиевич родился в зажиточной крестьянской семье и был сельским писарем — далеко не последний человек в деревне. В юности, согретый словом «товарищ», вступил в партию социалистов-революционеров, стал пропагандистом, угодил в ссылку, после февраля семнадцатого был сторонником Чернова, после октября — колебался.

Какой-то штаб, кажется, Мамонтова, расположился в их селе и потребовал подводу для доставки пакета. Отец Лапшова подводу дал, но велел ехать сыну — чтобы лошадей потом вернуть в хозяйство. По пути Иван налетел на красных и его доставили прямо в ЧК. Он твердил, что он человек подневольный, в белых не верит (а то бы уже давно был с ними), но, правда, роспуска Учредительного собрания не одобряет. Чекисты месяц думали, а потом решили Ивана отпустить, но за время его отсутствия дома красные повесили отца (от Лапшова я впервые услышал, что красные вешали). Иван ушел к Деникину.

Отступал с «добровольцами» до Новороссийска, но вместо парохода попал в плен. Молодого офицера «смазали по портрету», сорвали погоны, но, как трудящегося, не пустили в расход, а поставили в правильные ряды.

В Красной армии он находился до двадцать восьмого года, дослужился чуть ли не до комбрига, но тут случилось, что в частном разговоре Иван Георгиевич высказался: «Армия без погон — это армия дезертиров», за что и был посажен. С небольшими перерывами провел в лагерях двадцать пять лет, и потому не мог видеть светлых сторон советской жизни, но вдруг недавно освободившись, побывал в Москве и был потрясен социалистическими завоеваниями — метро и высотное здание нового Университета ошеломили его своим величественным видом, он сел и написал письмо властям: «Большевики, оказываются, умеют не только разрушать, но и строить».

В другое время его бы за такую похвалу по головке не погладили, но тут, при всеобщей растерянности, сошло, разрешили даже поселиться в маленьком приволжском городке Хвалынске. Иван Георгиевич женился и вместе с женой обслуживал фотоателье, проявлял и закреплял.

Но и тут злая судьба его не оставила — на его глазах выкинули из дому за неуплату женщину с детьми. Иван Георгиевич вступил в бой с местными властями, написал во все инстанции, в саратовские и московские газеты, а поскольку работал в фотопавильоне, напечатал множество фотокопий своих заявлений. Его забрали, привезли в Саратов, он объявил голодовку, тогда переслали в Москву, но тут даже вникать не стали, сразу отправили в институт Сербского.

Теперь Лапшов весьма пожилой человек, но судьбы России и мира его занимают — «историю России не повернешь» и «надо бороться за сохранение мира». Временами в нем вскипает такая лютая ненависть к большевизму, что и в Казани поразились бы, да оно и неудивительно — рощинские хождения по мукам лазоревы по сравнению с лапшовскими...

Особенно не может он простить большевикам уничтожения крестьянства, народное счастье меряет по Некрасову — чтобы все были сыты, даже свиньи, чтобы крыша была у каждого и дровишки на зиму, вдовы с малыми детьми надрывают ему сердце, но при всем том не лишен он великодержавной гордости, хвалит великие стройки, гордится победой над Германией. Анти-

семит, часто поминает гражданскую и «комиссародержавие», любит охотнорядские анекдоты: «Мы с его превосходительством на «ты»! — «Да ну?!» — «Да, подхожу я, а он мне: «Пошел вон, жидовская морда!». «Сруль, какой ты грязный!» — «Дурак, я ведь старше тебя».

Однажды Лапшов разъярился (цветущий Ленарт раздражал его):

— Англия! Проклятая проститутка! Мы у них пятьдесят танков просили — крутили, вертели, обещали, да так и не прислали, а были бы они, посмотрел бы я на Левкино воинство, на красноперых! Англия!

Ленарт принялся сбивчиво объяснять, что профсоюзы грозили забастовкой, и грузчики не стали бы грузить, но Лапшов ничего не желал слушать и продолжал выкрикивать проклятия в адрес Англии и англичан.

Офицер-белорус (утверждавший, что мать Ленина еврейка) сказал, усмехаясь:

— Видишь, как сердится? Еще бы — сейчас министром был бы...

Когда мы встретились с Лапшовым уже на воле, он сказал:

— Пятиконечные звезды вырезали? Нет, не было этого ни у Деникина, ни у Колчака. Вот Дзерзинский (так он произносил это имя), это да, его молодцы вбивали гвозди офицерам в погоны — сколько звезд, столько и гвоздей вобьют! Попался бы мне этот Дзерзинский!..

Мне это было жутко слышать, да и теперь... Шепилов как-то рассказывал: Держинский после

объявления ему смертного приговора сидел, читал по-английски, а Берия в свою последнюю ночь онанизмом занимался, наверстывал последнее, и оторвать его от сапога руководившего расстрелом офицера так и не удалось, пришлось пристрелить без команды «пли» и рискуя собственной ногой. Так что, что ни говори, разные они были люди...

Летом шестьдесят третьего года Иван Георгиевич приехал в Москву, хлопотал о чем-то, радовался, что достал экспонометр для фото, хоть и не по карману ему была эта покупка, пришлось мне одолжить ему денег.

— Иван Георгиевич, а вы «Один день Ивана Денисовича» читали?

— Читал... — он недобро усмехнулся. — Лакировщик ваш Солженицын. Я вот в лагере одно время извозчиком был, так подвод пять-десять за день трупов вывозил... А он мне «трудовой энтузиазм» показывает!..

— Да кто ж ему позволит трупы описывать?

— Тогда так и скажи прямо: «Заказ собачий исполнял!»

Я принялся защищать автора и доказывать, что не в заказе дело, что какое ж это искусство, если одни морги и подводы с трупами, ведь должна же какая-то надежда оставаться...

Лапшов моих доводов не принял, хотя сам он пессимистом не был и в свои семьдесят лет умел еще радоваться жизни — в Москве он искал какое-то стимулирующее лекарство и вздыхал, что в Париже вот искусственные члены продают, а у

нас, что уж говорить... (Жена его была моложе его на тридцать лет.)

Умер Лапшов легко и тихо — приехал в Саратов за каким-то закрепителем (а может, стимулятором), выпил пивка — и инфаркт. Жена, с которой мы не были знакомы, прислала мне по почте десять рублей — чтобы помянул Ивана Георгиевича, что я сейчас и делаю.

ДИКТАТОР

Славке Репникову восемнадцать лет. На суде он признался, что хотел поступить в институт международных отношений, чтобы стать дипломатом и таким образом выбраться за границу, а затем бежать в одну из латиноамериканских стран, совершить там переворот и сделаться диктатором. Судьи обалдели от этого хитро задуманного плана, и Славка оказался в нашем отделении.

Многие теперь попадают в Сербского до всякого суда — беда, с тех пор как отменили ночные допросы и стоячие карцеры, следствие то и дело заходит в тупик — хоть караул кричи! Про иностранцев, вроде Ленарта, даже думать страшно — что же это получается: сперва пятнадцать лет, а потом «отсутствие состава»? Никак невозможно: самое гуманное в мире — и вдруг такие странности! Один выход — болен. Сперва не заметили, но теперь подлечим и вернем.

Еврейский поэт из Вильнюса Иошва Ланцманас пробыл под следствием дольше, чем Капчинский. На него был донос из домоуправления: жаловался-де, что квартплата большая. Иошва категорически отрицал: «Не мог я этого сказать! Как это большая — самая низкая в мире у нас квартплата! А какой у нас климат? Идеальный! А люди какие золотые! А какая политика мудрая! Есть еще, правда, много плохих евреев, но они перевоспитываются. Они ликуют вместе со всем советским народом! Я тоже ликую (хоть до смерти замучайте...)». Следовательно, видно, попался вовсе неумелый, без воображения — так, кроме квартплаты, ничего в протокол и не записал. С таким обвинением теперь на суд не выведешь, так что — в Сербского его!

Даниил Романович Лунц любит улыбаться, улыбается всем — и террористам, и шпионам, и диктаторам, одного Ланцманаса хмуро обходит.

— Боится, как бы не заподозрили в сочувствии, — объясняет Иошва.

Итак, психиатры спасают запутавшихся следователей, но ведь всему должна быть мера, Институт тоже не резиновый! Если все так «законно» пошло, так и не берите их, в самом деле! Но как не брать, когда враги явные — взять хотя бы этого чёртова эсера Лапшова, зачем только ему дали из лагеря живым выйти, а теперь он все законы знает лучше любых следователей, раздувает провокации и еще общественность привлекает... Евреев тоже не тронь... Следственному отделу вертись, как знаешь — все упираются,

гады, хоть сам вместо них оформляйся!.. Так что последняя надежда на психиатров: нервничает — ненормальный, спокоен — не понимает своего положения, утверждает, что невиновен, — умственно неполноценный...

Правда, очень трудно сохранить олимпийское спокойствие в сумасшедшем доме, то и дело кто-нибудь срывается. Литовец из казанских изрезался матрацной проволокой — Ленарт от ужаса вскочил ногами на койку.

— Б...ди! Протянули руку помощи, б...скую руку помощи! Кто их звал? Кто просил? — а сам продолжает полосоваться, кровь так и хлещет — санитары боятся подступить.

И с полячком тоже была истерика, кричал:

— Спасители! Избавители! У них правда на семь метров в землю зарыта!

Да и я сам тоже хорош — часами выступаю с разоблачительными речами, всё, чего наслушался в Казани и в других местах, теперь так и прет из меня. Раньше, на воле, можно было объяснить мою неуравновешенность пьянством и распушенностью, невозможно ведь знать, оттого ты выпил, что у тебя скверное настроение, или наоборот, алкоголь действует угнетающе. Но тут ведь я не пью, а временами не только что руки опускаются, но и ноги подкашиваются — в самом прямом смысле. Зато в другой раз могу вдруг вспылить и наорать.

Привезли к нам поэта-песенника М. Вершинина, автора песни «Москва-Пекин», он принялся трогательно рассказывать, какой Сталин в гробу

красивый лежал, а в газетах — какая бестактность! — четыре дня ни одного теплого искреннего слова, только приветствия перестали печатать, а трудящиеся по-прежнему следят за языкознанием и экономическими проблемами, а бюллетени печатаются: «дыхание по Чейну и Стоксу»... Еще Михалков — невежда. Иосиф Виссарионович поднял тост в его честь, а он — какой конфуз — ответил: «За здоровье к-к-китайских детей!»

Тут я вдруг взорвался и заорал так, что ключевой испугался:

— Замолчи, лакей! Тебя посадили, а ты все восторгаешься! Презренная сталинская банда! На каких банкетах ты свое вдохновение черпал? Запомни — твой Сталин бандит! Такой же бандит, как Берия! Я тут сижу из-за этих сволочей, и ты мне не смей говорить о своей любви! Коммунизмом он восторгается! Трусливая кодла!.. Подручные!

Мне дали что-то выпить, обвязали голову полотенцем, и я заснул. А когда проснулся, даже жаль сделалось этого подонка — тоже ведь жертва режима.

Арестовали его за то, что он умудрился уже после смерти Сталина написать пьесу о революционной деятельности Берии, да еще дружил с его племянником (который, как выяснилось, на всякий случай закладывал писателя). Правда, Вершинин и о Маленкове песню написал — старался как мог поцеловать родную партию пониже спины, в точности по анекдоту: стоит чело-

век, сокрушается: «Язык мой — враг мой», — а в чем дело? — спрашивают, — «да не ту жопу лизал».

— Так трудно выбиться в люди, — скулит Вершинин. — Вот ты говоришь — Бабаевский, а он ведь тоже очень трудно жил, пока печатать не начали. И Орест Мальцев ютился на десяти квадратных метрах. Сейчас, правда, у него и дача, и машина...

Сам-то он, Вершинин, вроде бы выбился в люди — вся страна слушала:

В мире прочнее не было уз!

В наших колоннах ликующий май —

Это шагает Советский Союз,

Это могучий Советский Союз,

Рядом шагает новый Китай! — а вот поди ж ты, судьба-индейка — автор в институте Сербского, да и сами узы оказались не того, как вскоре выяснилось...

— Ты вот Бухарина жалеешь, — продолжает стихотворец, — а он Есенина травил и Маяковского...

Но все-таки общая атмосфера стала веселее: нет смертников, нет плачущего лесничего, нет армянского националиста. На Ленарта Фортумэса смотреть одно удовольствие: в халат сзади тесемку продел, сборочки получились, а под воротник подшил полотенце, краюшком выглядывает — ну как есть граф! Неважно, что полы натирает. И ведь как работает — легко, красиво, с наслаждением. Закончив труды, не довольствуется пятком гвоздиков, как наш брат,

а требует каждый день ванну — империалист...

Черненький уркаган — тот, которого я треснул по башке ложкой, чтобы отвязался от полячка, — поет «красивше» Кольки, с цыганским «дражементом» и руслановскими «подъездами»: «Аксана, Акса-а-ана, я помню твой го-олас, мне ветер радно-ой с Украины при-н-ёос...» И в изоляторе не замолкал ни на минуту: «Вот скоро вернусь я вы наш город любви-и-имый... С предутренним све-стам тибя абниму-у!...»

Я сам изменился в сравнении со своим прошлым пребыванием в этих стенах — не лезу под койку и не поминаю «Брута, который проданся большевикам».

Какая-то аспирантка практикует на мне биотокси, вежливо беседует улыбающийся Лунц (он уже заметно вытеснял старика И. Н. Введенского, которого в шестьдесят первом году мне случилось встретить в Центральной больнице на Первомайской — приделали ему пузырек со шлангом, чтобы не мочился в кальсоны, но он не мог осознать назначения этого приспособления, вытаскивал его наружу вместе с членом и играл, за что няньки безжалостно его били).

Наконец, меня вызвали на комиссию, и потом «королева Марго» долго увещевала:

— Институт берет на себя большую ответственность, выписывая вас. Смотрите, не подведите!

Год спустя я встретил в магазине, возле МАИ, няньку из Сербского, она первая заметила меня, окликнула и рассказала, что красивая заведу-

ющая с седой прядью, на которой мечтал жениться Ленарт, после комиссии сказала: «Если таких, как Гусаров, освобождают, то я вообще перестаю что-либо понимать — что же это делается у нас в стране? О чем думают наверху?»

Лет десять назад, поджидая возле метро Эду, я увидел «королеву Марго». Мы вспомнили Славу Репникова. Как только органы очухались от пережитого страха, парня снова взяли, и на этот раз никакое диктаторство ему не помогло — дали десять лет.

— Вы знаете, Маргарита Феликсовна, — сказал я, — я часто вспоминаю Институт, сейчас бы сотню дал, лишь бы провести ночьку в «парламенте»...

— Правильно, Гусаров, вам нужно быть благодарным Институту, — и выразительно посмотрела на меня.

БУТЫРКА

Хрущев обещал ликвидировать и Бутырку, и Таганку, не знаю, как Таганка, но Бутырка-то стоит. Я работал в литературном театре ВТО, в клубе МВД, он помещался в Горловом тупике, и из окон, хоть их и пытались завешивать, тюрьма была видна прекрасно. Ликвидировали лишь административные и жилые корпуса, они тоже были с решетками и выходили на Новослободскую и на Лесную — портили городской ланд-

шафт. Их заменили веселенькими «хрущобами» с балкончиками.

Бутырская тюрьма — это огромный комбинат, за час, пожалуй, и не обойдешь. В центре комплекса находится больничка — отдельный двух-, местами трехэтажный корпус. Здесь я провел последнюю неделю заключения.

Один из трех моих соседей был настоящий сумасшедший — с черными расширенными глазами, погруженный в какие-то свои горькие раздумья и на вопросы не отвечающий. Неожиданно он как бы пробуждался и принимался корить нас — зачем мы подключаемся к его мозгу?.. И так же неожиданно он вдруг набрасывался на человека и принимался царапать и кусаться. На вторые сутки, после очередного буйства, его увели, и мы облегченно вздохнули.

Двое других были Владимир Пеппер и Коля Хохлов.

Пеппер — русский, но родившийся в Финляндии уже после революции. Доблестные чекисты выкрали его из Хельсинки, вошли в дом в форме финских полицейских и среди белой ночи успешно доставили на «родину», утро он встречал уже на Лубянке. (Знал я случай, и из Парижа выкрали человека. Остается только удивляться, до чего же ценятся у нас в стране люди!)

Состав преступления у Володи был серьезный — воевал в рядах финской армии (кстати, не просто воевал, но и ногу потерял) против своей исторической родины (кто знает, может, и всю финскую войну для того затеяли, чтобы добрать-

ся до этого Пеппера). Но здесь, в бесклассовом обществе, трудно было его использовать, без ноги он для великих строек не годился, можно сказать, вовсе, приходилось держать в тюрьме.

Хохлова красть не пришлось — свой товар. Деревенский парнишка, прямо от мамки взяли его во власовскую армию, служил в стройбате, больше лопаты ему не доверили. Был интернирован англичанами и попал в Бремен. Уговаривали его добрые люди не возвращаться в Россию, но Коля не послушался — всю Европу пешком прошел и добрался, наконец, до своих. Ничего плохого ему не сделали, а мобилизовали, как всех его сверстников, и действительную службу он закончил ординарцем у генерала, выходит, даже доверяли. После армии стал шахтером, женился, но жена не поладила со свекровью, и, снявшись с места, поехали они искать счастья. Тут Колю забрали и дали двадцать пять лет (на два года больше, чем успел он прожить на свете). Но кроме себя, никого он не винит — не уехал бы от матери, так ничего бы и не случилось, не надо было жены слушаться. В лагере выучился на маркшейдера, стал начальником. Вместе с ним сидело много прибалтов, все они почему-то, по Колиным словам, не любили русских и грозились: «Погодите, пройдем мы по русским костям, когда американцы придут!..» Однажды Хохлова чуть не задавило куском породы.

И от этого всего он начал бояться. К тюремной пище не прикасался, потому что знал, что она отравлена, питался только тем, что мог ку-

пить в ларьке. Вот принесли кашу, я проглатываю ложку, другую — Коля смотрит, потом не выдерживает и говорит:

— Давай меняться!

Я беру нетронутую кашу, а он доедает мою. (Чтобы не «объедасть» беднягу, я потом старался отхлебывать понемножку.)

Иногда он стучит в дверь и принимается укорять ключевого:

— Зачем же? Я ведь все слышу... Нет, я слышал, вы шептались в коридоре: завтра этого маленького на расстрел... А за что? Я же не как латыши и украинцы, я американцев не жду, я русский человек... Зачем же так?.. Нет, я все слышал, вы говорили: земля оттаяла, зарывать легко будет...

Я пытался успокоить его:

— Чудак, если бы тебя хотели расстрелять, так зачем бы в Москву везли? Там бы в Воркуте и расстреляли.

— Не-ет... В Воркуте земля знаешь какая мерзлая? А тут оттаяла... Мне следовательно тоже говорит: «Твои дела, Николай, сейчас пошли к лучшему». Но я понимаю... Говорят, а сами ток к койке подвели — ляжешь — ка-ак дернет!.. Нет, я ведь сам слышал, сказали: этого на расстрел...

Но бывают минуты, когда Коля успокаивается и начинает мечтать о женщинах. Мечты эти романтичны и лишены какой бы то ни было пошлости. Не много ему, бедняге, пришлось поластиться между армией и лагерем, но он помнит

и трогательно перебирает каждую встречу — как обнял, как поцеловал. Его не огорчает, если кроме объятий и поцелуев ничего больше не было, по его мнению, и это очень много и само по себе прекрасно, а о тех немногих женщинах, с которыми «что-то было», готов рассказывать без конца, причем в самых нежных выражениях. Здесь, в Бутырках, он многозначительно улыбается «сестричке», черствой и постной особе.

(Вернувшись домой, я написал старшему брату Коли, Владимиру. Он приехал ко мне из Ленинграда, худой, очень бедно одетый, с кожаной сумкой железнодорожника, сидел на кухне и плакал, слушая мой рассказ. Я принялся уверять, что Колю скоро выпустят. Надеюсь, мои слова сбылись.)

Вместо буйного сумасшедшего привели плотного коренастого немца, коммуниста Эвальта Францевича Гешвента. Он получал прекрасные посылки международного Красного креста и угощал нас шоколадом и дорогим табаком. Табак был странный — тонкие длинные сладковатые на вкус нити. Гешвент курил, не затягиваясь. Несмотря на помощь Красного креста, он заболел в тюрьме туберкулезом и старался щадить легкие.

— Когда я справлял пятилетие своего заключения, я объявил десятидневный личный траур и не курил, а по прошествии этого времени стал курить, не затягиваясь...

По-русски он говорил очень хорошо, но не с немецким, а с украинским акцентом — он вырос

на Украине, но потом семья переехала в Германию. Когда Гитлер пришел к власти, Эвальта, коммуниста с двадцать седьмого года, арестовали. К счастью, дело вело не гестапо, а обычный суд, с соблюдением всех процессуальных норм. Он получил три года тюрьмы и отсидел их. Изучать нацистскую теорию и выслушивать речи фюрера не заставляли, хоть и предложили подписать бумагу — отречься от своих взглядов. Гешвент отказался. Отказ не мог увеличить срока, но подписание могло бы его сократить. (Наши политзаключенные не имеют такой свободы выбора и все как один посещают политзанятия, иначе просто с голоду сдохнешь. Но в то время, о котором я рассказываю, была полная неразбериха — одни рыдали по Сталину и ни на что уже не надеялись, другие кричали ура и бросали в воздух шапки.)

Выйдя из тюрьмы, Эвальт устроился на кожевенный завод. Хозяин не сочувствовал «наци», и они сдружились. Гешвент, к тому же, был хорошим специалистом — после нападения на СССР хозяин порекомендовал его самому Коху, и Эвальт был назначен директором Бердичевского кожевенного комбината.

Тщетно герр директор пытался нащупать связь с партизанами — местные жители никаких контактов с ними иметь не желали и, напротив, охотно выдавали властям евреев и коммунистов. Впрочем, одного сочувствующего Гешвент все же нашел, это был его шофер-украинец. Однажды у Эвальта в гостях перепилась группа эсэсов-

цев, хозяин попросил шофера прокатить гостей — машина угодила в овраг, правда, все остались живы, но не обошлось без травм. Шофер успел выскочить.

Гитлеровцы обвинили Гешвента в саботаже — за год комбинат так и не был пущен. Какие-то люди пришли ночью и пытались убить его. Эвальт предполагает, что это были каратели, которые хотели убрать его без особенного шума, а потом свалить все на мифических партизан, но он принялся отстреливаться, и нападавшие скрылись. Утром Эвальт поджег бездействующий завод и покинул Бердичев.

Почти три года он вынужден был скрываться. Помогала ему только жена да очень немногочисленные друзья. Однажды он повидался с сестрой, она плакала:

— Подумал, Эвальт, что ты наделал — ты предал отечество, ты предал свой народ!

Война близилась к концу. Эвальту сообщили пароль: «Вы знаете Фридриха Вольфа?» Он явился в какой-то штаб, где все были в стельку пьяны, и никаких паролей не знали и знать не желали. Один из командиров согласился проэкзаменовать лазутчика:

— Говоришь, коммунист... Тогда скажи — Сталин кто по национальности?

— Товарищ Сталин грузин, родился в Гори...

— Врешь, не знаешь ты ничего! Сталин — жид!

Кто-то вызвался расстрелять фашиста, отвел подальше, выстрелил в воздух и шепнул: «Беги!»

Потом немцы снова потеснили русских и на радостях повесили мать Эвальта (сам он успел спрятаться), даже снимок поместили в газете: «уговаривала не бояться русских». Но вскоре пришла окончательная победа, и когда положение нормализовалось, Эвальт Францевич Гешвент был назначен «цивильным комиссаром» по узаконенной эвакуации (не бегства) с родной земли. Был свидетелем постоянных грабежей и насилий (в том числе и коллективных изнасилований) и, не выдержав, выразил официальный протест — гражданского комиссара бросили в эшелон и увезли на Восток...

На Урале дело хотели замять — выдать ему советский паспорт, пусть считается советским немцем, всю войну проработавшим на уральском заводе, но Гешвент заупрямился и тогда его судили как военного преступника. Он и зверства совершал, и коммунистов выдавал, и грабежом занимался. Что поделаешь, при таких режимах выбор невелик — либо ты жертва, либо палач. Гешвент так и не понял, чем в советском суде прокурор отличается от защитника — оба требовали самой суровой кары.

Гешвент признавал вину немецкого народа, но все-таки считал, что те, кто не был замешан в злодеяниях, не должны нести наказания. Будучи коммунистом, он тем не менее считал, что Бог и нравственность необходимы — человек должен знать, что Некто всегда с ним, и все его поступки известны. Отказываясь от Судии, мы поощряем порок и увеличиваем преступность. Атеизм бес-

плоден. Христианский брак был прочнее, потому что держался страхом Божиим... У него была своя теория, как следует упорядочить отношения полов: нельзя превращать половую жизнь в повседневное развлечение, физиологически женщина нуждается в мужчине только раз в месяц, в середине между месячными, в остальное время следует заниматься полезным трудом и разумными развлечениями, внимание и интерес к подруге можно проявлять и другими способами, супруги не должны спать вместе, разрывы происходят именно оттого, что чувственность притупляется, и, главное, брак должен быть освящен верой...

Эвальт напевал мне песни Буша, я ему — наши, он их узнавал, тоже когда-то пел. Когда я спел о юном барабанщике, он воскликнул:

— Это кляйне тромпетер! (маленький трубоч) — и запел на тот же мотив.

Рассказывал он о борьбе коммунистов и социал-демократов с фашистами. Все ходили в своих военизированных формах, но рядовые не испытывали друг к другу злобы, ссорились на верхах. Я вспомнил когда-то удивившие меня слова из учебника Емельяна Ярославского: «Самыми крупными партиями Рейхстага являются рабочие партии: коммунистическая, социал-демократическая и социал-националистическая».

Я узнал от Гешвента, например, о том, что в гитлеровской Германии платили жалование не столько за должность, сколько за стаж, так что стрелочник мог получать больше начальника станции.

В ответ на многие мои замечания Эвальт сокрушался и вздыхал:

— Проглядели русские товарищи свою молодежь...

Он все время повторял:

— Нам этот вопрос предложено понимать так...

Однажды он заметил, что Россия держится только на женщинах.

— Если бы не ваши женщины, вы давно бы пропили и родину, и революцию — они покрепче вас будут... — и добавил, что если бы овдовел, то женился бы только на русской.

С ВЕЩАМИ

Простился с Володей и Колей, с Эвальтом даже расцеловался — такая взаимная любовь между фашистами потрясла надзирателя. (Через месяц получил от него открытку, почему-то на мамино имя, «партайгеноссе» писал с пересылки, возвращался на родину, разумеется, в ГДР). Час продержали в боксе, а потом привели в просторный кабинет с большим, не помню чьим, портретом. Начальник тюрьмы Шокин в присутствии мамы объявил о моем освобождении «на поруки» и заполнил справку, где написал, что я должен жить в Туле (откуда и ветер дует). Я сказал полковнику, что никуда не поеду, лучше останусь в тюрьме, чем стану жить там, где у отца другая семья. Мои мать, жена и сын живут в

Москве. Он молча вычеркнул Тулу, вписал московский адрес и сбоку: «на попечение матери», хотя предполагалось, конечно, попечение отца, первого секретаря обкома.

От растерянности мы с мамой даже не поздоровались, выслушали напутствия полковника, потом еще минут пять шли по территории тюрьмы, то и дело показывая справку об освобождении, а выйдя на Новослободскую, почему-то пошли не к метро, а в противоположную сторону... Но какая разница — земля все равно круглая.

Гусаров Владимир Николаевич,
Москва А-80, ул. Саврасова 6, кв. 3

P.S. У Ильи Габая конфисковано пять пишущих машинок, у Петра Григорьевича Григоренко только три, но одна из них моя, чехословацкий «консул». «Задерживают» не только пишущие машинки. Но если со мной ничего не случится, к Новому 1970-му году — вторая часть будет готова и передана в самиздат с правом неограниченной перепечатки.

В. Гусаров

Далее приписка от руки: Этот экземпляр пролежал лето и зиму в земле, отсырел и подгнил. Мне казалось, что это черновик, что по нему я сделаю второй вариант: меня упрекают некоторые читатели в смаковании секса и прочих грехах. Но этим маем при аресте Амальрика забрали последний, кстати, самый четкий экзем-

пляр. Ведется охота за этим, последним. Нужно спешить.

В. Гусаров. 7. VII. 70

(Перепечатано автором. 1 сентября 1975 года.)

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

КАК МНЕ ЖИЛОСЬ НА СВОБОДЕ

Весну и лето пятьдесят четвертого года я не мог устроиться на работу: весной боялся лишний раз выйти из дому, летом встретил В. В. Готовцева и от него узнал, что во МХАТе объявлен конкурс. Я пошел, читал успешно, потом позвонил, женский голос ответил: «Вы приняты». Но в отделе кадров мой пыл быстро остудили:

— Почему у вас паспорт выдан на основании справки из Бутырской тюрьмы?

Замявшись, я начал что-то лепетать насчет болезни, сказал, что теперь здоров, но лежал в больнице МВД, вот и выписывали через тюремную канцелярию — судимости нет, срока не было.

— А что было?

— Белая горячка, наболтал лишнего...

— Понятно... Вас не предупреждали — будет второй тур. Звоните, узнавайте...

Звонки ничего не дали, видно, второй тур был отложен до греческих календ.

Показывался в Театр Красной армии, подыгрывал мне Дима Бородин — серьезный, добросовестный, трудолюбивый и еще более скованный, чем я, актер. Смотрели режиссеры Окунчиков и Львов-Анохин — опять принят. На этот раз про второй тур не говорили, кадровик, заведующий труппой Г. И. Шагаев сказал:

— Знаете, не дали нам единицы, на которую мы рассчитывали.

Как видно, просмотр устраивался для развлечения режиссеров.

От этих огорчений я опять начал потихоньку выпивать. Приехал отец — с неизменным праведным гневом:

— Опять за свое? Вождя всего передового человечества с Гитлером сравниваешь! Никакой ты не больной — ты враг!

Убежал, схватившись за сердце. Я спустился следом — сидит на скамеечке, валидол сосет. Не может уйти — нужно что-то делать, меня убеждать, с кем-то договариваться...

Через ЦК милиция моментально выдала мне другой паспорт, начальник паспортного стола удивлялся, как это я сам не догадался его «потерять», еще какую-то работу искал! (Закон для дураков, умный найдет, как его обойти.)

Теперь я писал в анкетах только о болезни — болел-де два года, потому и не работал. Смотрели меня в ТЮЗе, Центральном детском, но в этих театрах и без анкет могли знать всю мою историю, педагог Центрального детского Литвинович позднее мне рассказала:

— Володя, наши все были за то, чтобы тебя взять, но Кнебель заявила: «У нас своих пьяниц хватает».

Я начал думать, что дело, возможно, вовсе и не в моем прошлом. Что ни говори, а двадцать девять лет для детского театра уже многовато. И кто знает, может, я и показываюсь неважно.

Если я сам чувствую, что я бездарен и невыразителен, то почему бы и другим этого не заметить?..

Пошел на прием к большому начальнику Ф. В. Евсееву. Он сидел за большим столом и сурово напомнил мне, что все советские люди имеют одинаковые права.

— Показывайтесь, а если действительно, как вы говорите, будут затруднения с отделом кадров, приходите сюда.

Говорят, евреи держатся друг за друга. «А нам, евреям, повезло — не прячась под фальшивым флагом, на нас без маски лезло зло, оно не притворялось благом». Все советские люди равны, бывает, правда, семитские черты выступают настолько отчетливо, что и в паспорт заглядывать не надо, тогда выясняется, что на это место нашли более подходящего человека, или просто — нет вакансий.

В сентябре мне все же удалось подписать договор со Свердловской киностудией и полгода я был занят в съемках фильма, который назывался «Хозяин поезда». В картотеке Мосфильма не значилось, кто сидел, а кто нет, там только было написано — мною же, что я немного владею немецким и чуть-чуть пою. Узнав, как я заполнил анкету, киноактер Миша Воробьев рассмеялся.

— Если режиссер спрашивает, водишь ли автомобиль, говори: вожу! Знание языков? Все в совершенстве! Пою, танцую, делаю тройное сальто. Ничего этого от тебя все равно не потре-

буют, а если и потребуют, скажешь: об этом не было разговора.

Оператор Т. З. Бунимович, узнав, что у меня 1-ый разряд по шахматам, тут же сказал: «Он мне подходит». (Он был лауреатом сталинской премии, а на Свердловскую студию его загнали за то, что его бывшая жена вышла замуж за англичанина и сына с собой увезла. Партбилет у него тоже отобрали.)

Данный фильм снимался «лично по указанию товарища Кагановича» и начинался цитатой из его высказываний.

На первую же, пробную, съемку Миша Воробьев явился пьяный и «занял» у меня десять рублей. Тут уж надо мной смеялась вся группа. Больше я ему денег не давал, а если он особенно приставал, говорил:

— Все что угодно, Михаил Сергеевич, душу за вас отдам, но денег дать не могу.

Хотя, надо признаться, никогда в жизни я не зарабатывал так много — 120 рублей — почти столько же, сколько получает начинающий участковый. Дело в том, что я играл заглавную роль. Позднее я понял, что легче заменить паровоз, даже целый вокзал, чем актера, когда отснято столько-то полезных метров. В театре, если даже сам Жаров или Плятт подадут заявление об уходе, многие только обрадуются — ведь наш театр, как и все остальное, свободен от конкуренции. Не зритель решает, что хорошо, а что плохо, а начальство. А вот в кино актера ценят. И даже выходки его терпят.

— Что ж, он понимает, что мы от него зависим, — говорил обо мне режиссер Александров и покорно моргал глазами, — вот и вытворяет, что ему вздумается...

Теперь актеру легче живется, поскольку кроме кино появилось и телевидение. Работа в кино неинтересная, чувствуешь себя пешкой, берут не тот дубль, где ты хорошо играл, а тот, где дождь за окном лучше получился. Зато платят больше, чем в театре, и популярность огромная.

На съемочной площадке актер независимо от сценария и сюжета постоянно играет одну и ту же роль пьяного скомороха. Опоздав, он тупо твердит: «Не знаю, я все время здесь». Другие охотно включаются в сцену: «Он все время был здесь, я видел». Если уж поймают с поличным и припрут к стенке, тогда говорят: «Значит, мне показалось...» Да и весь «шухер» ни к чему — только что искали актера, кричали, грозили всеми карами, но вот он появился, и выясняется, что забыли плащ. Бегут за плащом. Наконец, и актер, и плащ на месте, но тут вспоминают, что плащ должен быть мокрым — с дождя. Бегут за ведром с водой. Актер дремлет. И зачем, спрашивается, ему было торопиться?

При натуральных съемках частенько случаются вынужденные простои — ненастье никогда не планируют, но оно обязательно случается. Дождяся погоды, дружно всем коллективом пьют и режутся в преферанс.

Как-то в Рославле, в монастырском подворье, виноват, в гостинице с церковью, часовней и

скрипучими полами, я постучал в номер к директору.

— Одну минутку!

Вхожу, вижу — все в сборе — и Тритуз, директор, и Александров, и Бунимович, и рыжий ассистент, и электрик Гриша Померанцев, и Воробьев, дружно так сидят вокруг стола, на столе какие-то закуски, довольно-таки усохшие, но бутылки нет. Странно, думаю, столько взрослых людей, даже пожилых отчасти, собрались, чтобы вместе покушать консервы и накануне сваренную картошку. Уж хоть бы чайку, что ли, вскипятили, а то ведь так, всухомятку, трудно. Самовар, думаю, тут бы был к месту — монастырь все-таки, хоть и бывший... Посидел, огляделся и заметил под столом солидную батарею бутылок. Одну из них вскоре извлекли, разлили и опять на всякий случай убрали под стол — Боже сохрани, чтобы кто-то заподозрил группу в пьянстве. Провинциалы люди темные, им не объяснишь, что в дождик все равно работать невозможно (дождь делается в кино с помощью пожарной охраны и тоже снимается при солнышке). Так что лозунг кинокомандировочной жизни «Мы на работе». Особенно нужно держать ухо востро с гостиничным персоналом, могут «стукнуть». Допустим, ты об этом и не узнаешь, но информация поступила и будет храниться, а когда-нибудь выплывет формула: «и не случайно...»

Рядом стояла церковь, при ней жил не старый еще священник. Однажды наш профсоюзный мяч закатился к нему в палисадник. Почему-то все

решили, что я умею вести переговоры со служителями церкви, и выручать мяч отправили меня.

Священник недавно вернулся из лагерей. «За что?» — я не спрашивал, этот вопрос задают «простые» советские люди. Я спросил, возможна ли у нас революция (это было уже в другой раз, мы куда-то шли с ним рядом), он отрицательно покачал головой. Странно было прогуливаться по маленькому городку со священником, но я дорожил этими встречами, в его обществе я чувствовал себя гораздо приятнее и легче, чем с нашими преферансистами, поддерживающими «честь советского коллектива» (личной чести давно не осталось...)

Как-то в том же Рославле я зашел в пивную, выстоял очередь и увидел, что все присутствующие, включая буфетчицу, испуганно поглядывают на кружку пива, стоящую одиноко на столике. Поинтересовавшись, в чем дело, я выяснил, что какой-то очень подозрительный человек взял пива, долго бродил с кружкой между столиков, а затем ушел, так и не выпив. Присутствующие тотчас сообразили, что это шпион и диверсант, убийца в белом халате. Я взял заминированную отравленную кружку и выпил. Все обмерли.

— Сколько с меня?

— Ничего, — пролепетала буфетчица.

Тогда я взял еще кружку — за свои (а больше у меня и денег не было).

Уходил я, провожаемый взглядами онемевшей публики.

Таинственный злоумышленник, видно, был в том состоянии, когда видит око, да зуб неймёт — взять-то взял, а выпить не смог.

Поскольку фильм наш был железнодорожный, то к нам прикомандировали группу путейцев — для консультации, а заодно и паровоз с товарным составом. Жили мы все вместе, в одном вагоне, единой семьей. Железнодорожники свою зарплату пропивали в тот же вечер, а потом две недели жили на одной картошке, которую воровали с ближайшего склада. Однажды они отправились вместе с нашими киношниками смотреть какой-то фильм, бесплатно, разумеется.

Оставшись в вагоне один, я не удержался и стал вертеть приемник директора Тритуза, хотя Михаил Зиновьевич строго-настрого запретил мне ловить «Голос Америки» и все остальные вражеские станции. Глушилок в Рославле не было, так что слышимость была отличная, и я, улегшись поудобнее, закрыл глаза и наслаждался инакомыслием. Говорили о советской литературе.

Неожиданно распахнулась дверь, и ввалились железнодорожники. Бросаться выключать приемник было как-то неловко — выходит, мне можно, а им нельзя. Спросил, что так скоро — «фильм не привезли». Все они чинно уселись и стали внимательно слушать. Советских писателей поносили за лакейство, за писанину по партийной указке, а чтобы крепче устыдить их, цитировали Толстого и Чехова. Вдруг слышу, опять хлопает дверь — Тритуз. Я мигом сорвал-

ся с верхней полки и выключил приемник. Железнодорожники поглядели на меня с удивлением, переглянулись и сообразили:

— Это что, не наши?

— А вы что, не слышали: «Советские писатели, не уподобляйтесь чирикающим воробьям»?

— Да, но Толстой, Чехов...

Никогда «голосов» не слушавшие, ребята думали, что те только на Гитлера и ссылаются.

Случалось, что в подпитии я принимался что-то доказывать, объяснять им, они слушали и улыбались. Если я сваливался — язык еще работал, но ноги отказывали, бережно относили на место и укладывали спать. «Больно красно говорил, — сказано, артист...»

У Миши Тритуза глаза были печальные, как у Юрского — извелся он из-за непогоды и простоев, однажды ему даже приснился Берия, который обещал поговорить с ним по-свойски. Месяц мы ждали погоды в Москве, где проживали и все штатные работники Свердловской киногруппы, а потом, в декабре, отправились догонять ее в Адлер. Снова вернулись в Москву, а за февраль и март сняли павильоны в Свердловске, озвучили. Таким образом работа, рассчитанная на полтора-два месяца, через полгода была, наконец, закончена.

В Свердловске я видел опального Чаурели и еще не восстановленного в правах Правова, режиссера фильма «Парень из тайги». Правов со слезами рассказывал, как его, «незаконно» приехавшего в Москву, принял актер Иван Перевер-

зев, когда-то у него снимавшийся. Правов не забыл добра и потом пригласил Переверзева в свой фильм по Мамину-Сибиряку «Во власти золота».

Учитывая два года «отсутствия», мне теперь необходимо было вписать свою работу на студии в трудовую книжку, но сделать это удалось лишь с большим трудом и тоже «незаконно».

ДЕЛА АМУРНЫЕ

В Адлере меня обуял бес — захотелось женщину. В первую ночь, лежа в отдельной комнате и прислушиваясь к далекому шуму моря, я долго не мог заснуть.

Все наши, и я тоже, зарплату переводили домой семьям, а сами жили на суточные — двадцать пять рублей в день (попробуй теперь прожить в командировке на два пятьдесят). На базаре продавали сухое вино — два рубля стакан, с разрешением попробовать — на пробу наливали «полстолько». Выходя с базара нетвердым шагом, я обычно не переставал удивляться очередям у пивных и водочных ларьков, где толпились местные. У многих дома было собственное вино, а на базаре можно вдоволь «напробоваться», так зачем деньги тратить?

Зимой и в Адлере было непросто продолжать летние натурные съемки — моросил дождь, все сидели за преферансом, а я шлялся по городу и однажды увязался за симпатичной брюнеткой моих примерно лет, невысокой и крепенькой.

— Скажите, как пройти к почте?

— Так вы же у почты стоите!

Завязался разговор — «насчет картошки, дров поджарить», женщина очень просто и естественно дала понять, что побеседовать непрочь, однако погода была для прогулок неподходящая, а жила она в общежитии.

Дня через два, выходя с базара в довольно «теплом» состоянии — казалось, каждая клетка во мне, каждая кровинка пропитана вином — я опять столкнулся с той же брюнеткой. В руках я нес курочку-рябу с подрезанными крыльями, мне ее всучили не то за 15, не то за 20 рублей. Теперь я уже окончательно созрел для лихого солдатского разговора. Женщина привела меня к себе в совхоз, где мы пристроили курицу (больше я ее не видел), купили несколько бутылок сухого, одну водки и отправились в общежитие.

В комнате стояло пять или шесть кроватей, стол, простенькие стулья и табуретки — ни занавесочек, ни ширмочек. Кровать моей знакомой отличалась от прочих — ее украшали четыре сияющих никелированных шара и горка подушек. На стене был ковер — целлулоидовые лебеди плавали на фоне бюргерского замка (по определению профессора эстетики Разумного).

Все было очень благородно — я без умолку тарыхтел, девушки почтительно слушали, интеллигентно попивая сухое вино (к водке они не прикоснулись, так мне самому пришлось ее выпить — «на загладку»). К ночи я собрался уходить, девушки дружно запротестовали: куда!

Дождь, пять километров... Я ссылался на то, что негде лечь, тогда моя дама, кубанская казачка, сняла с горки самую маленькую подушечку-думку и сказала, что она будет перегородкой между нами. Все сочли, что это прекрасный выход из положения, и я остался.

Владелица кровати с бомбончиками полагалась не столько на думку, сколько на то, что сожительницы скоро заснут, и шёпотом просила меня подождать. Это было кстати — я невропат и вне привычной супружеской постели обычно оказываюсь ни на что не годен, к тому же в такой ситуации еще надо заботиться о том, чтобы не было последствий. Не знаю, что на меня нашло в ту ночь, но у нас почти не оставалось времени пошептаться. Утром, когда зажгли свет, мне пришлось притвориться спящим, девушки незло пошутили насчет думки, но особенно происшествия не смаковали.

Я всегда считал себя слабаком, природными данными не награжден, частые выпивки тоже не способствуют подвигам в этой области, в подпитии я обычно совершенно беспомощен, то, что в народе называется «сухостой», а в медицине «сатириазис», ко мне не имеет никакого отношения, и к тому же я только что уехал от всегда желанной супруги, а тут была совершенно чужая и безразличная мне женщина, но вот поди ж ты — ей, занимавшейся физическим трудом на свежем воздухе, пришлось уговаривать неврастеника побережь здоровье — я вновь и вновь «повторял пройденное», совсем не заботясь, как это бы-

вало с женой, о том, какое впечатление произведу.

На следующий день я чувствовал себя отлично. Киношники отыскиали меня на базаре, торгующим вином в разлив — молодой ларешник-азербайджанец ушел пообедать и оставил меня за главного.

Казачка моя была женщина простая и самая обыкновенная. Если судьба послевоенная даст, из нее получится хорошая хозяйка, заботливая и домовитая. Может, и поцапает, и покусает, но за дело, а не из баловства. Я давно не помню ни ее имени, ни лица, но об этом эпизоде не жалею. Гораздо обиднее вспоминать, как искал приключений, где-то с кем-то ходил до утра, стоял под окном, заходил в подъезд — сколько дней и ночей потрачено ни на что! Сколько нелепых ситуаций, промоченных ног и убитого времени! Вытянув пустой номер, еще втайне радуешься, что не осрамился. Мы делаем много глупостей из любопытства или по воровской поговорке: «Бог увидит, хорошую пошлет». Думаю, что любовные приключения порой необходимы, но у меня они случаются нечасто, да и обставить их красиво как-то не получается.

Казачка еще раз нашла меня на улице и увела к себе, хотя я и бормотал что-то насчет неважного самочувствия. Я увидел, что она успела обзавестись ширмой. Но это не помогло — я переночевал, «не причинив вреда здоровью» — ни ее, ни своему...

Вернувшись в Москву, я устроился в Областной театр Юного зрителя, на конференции в ВТО меня отметили как способного актера, но ролей я не добивался и даже не просил, и вообще чувствовал себя чужим в коллективе и в обществе. Карьера не удавалась.

На терраске, где я летом спал, повесил портрет Сталина, написав на нем: «Царю, прославляемому древле от всех, но тонущу в сквернах обильных. Ответствуй, безумный, каких ради грех, побил, еси, добрых и сильных?»

Иной раз выйдешь с ребенком в город, погулять, куда ни глянешь — с души воротит: монумент Юрию Долгорукому поставлен с явным расчетом загородить единственный памятник Ленину; Гоголя такого воздвигли, что я аж плюнул — не Гоголь, а Чапаев. Ребенок уже научился и тянет за руку:

— Папа, пойдем на бандита Джугашвили посмотрим.

Скверно. Пью. Пьяный пришел забирать Славу из садика, не отдают. Устроил скандал:

— Сталинская банда! Отдайте мальчика...

Какой-то родитель помог меня скрутить, потом мама ходила к заведующей, просила не подымать дела: «Больной он...»

Дома по-прежнему не ослабевает война между матерью и женой. Правда, есть и утешение некоторое: молоденькая домработница Нина — смотрит на меня приветливо и с явной симпатией. Бегает целоваться с Вартаном, Эдиным племянником, но это ничего. Я начинаю размышлять,

не жениться ли мне на Нине: девушка она хоть и простая, выросла в деревне, но мягкая, вежливая, чувствуется в ней какая-то внутренняя интеллигентность. Простому русскому человеку такие черты, как правило, не свойственны. Разница в возрасте десять лет. Вполне приемлемая. Одна беда — всей душой и каждой клеткой своего тела я привязан к Эде. А она смотрит на меня без обожания...

Мать, которая всех подозревает в предательстве и умудряется замечать даже то, чего нет, выгнала Нину. Сцена была безобразная, да и дело к ночи. Потом кто-то мне передал, что Нина сказала:

— Если бы не Владимир Николаевич, я бы ей этого не простила.

Я ей книжки читал, прочел почти всего Гоголя. Без нее совсем холодно стало в нашем доме.

Потом ушла из него и Эда, вернулась к отцу, я отправился вслед за ней, но прожил у тестя недолго. Однажды старшая сестра Эды принялась в моем присутствии удивляться, как это можно со мной жить. Дело кончилось тем, что я вцепился ей в волосы и меня еле оторвали. Очнулся за дверьми, на морозе, сидел под крыльцом и думал: почему жены нет рядом со мной? Она много мне изменяла, но эта измена ранила сильнее: почему не заступилась за меня, почему не оставила сестру, когда та говорила всякие гадости? Пускай я неправ, гадок, но жена — это же не только в постели, должно же быть какое-то по-

нимание, сострадание, хотя бы желание понять, объясниться...

Послал Замкова для переговоров. Эда говорила о кресте, который она несет, о том, что у ее папы большое сердце (папа до сего дня жив-здоров). Не зашла, не написала даже двух строчек... Снова я ухаживал, звонил на работу, дожидался на перекрестках...

Новый — пятьдесят шестой год — договорились встречать вместе где-то на Можайском шоссе, у ее курортных друзей. Уговорил мать ночевать у сестры — хоть одну ночь провести с женой вдвоем. Среди милых и интеллигентных друзей Эды сразу почувствовал себя неуютно и одиноко. Кто-то поднял тост: «За гениального композитора Шостаковича, который тоже живет на Можайском шоссе». Потом хором запели:

А сердце ждет,
И что ж она нейдет —
Необходимая
Любовь навеки...

Я сказал что-то о Бухарине, Леня, инженер, теперь уже покойный, увел меня в кухню, приговаривая:

— Ты кочумай, кочумай...

Вернувшись, я хотел спеть «Таганку», но меня заглушили. Эда была недовольна моим поведением. Я потихоньку вышел в прихожую, оделся и удалился. Посидел полчаса у шоссе, где жил гениальный композитор, поймал такси и поехал домой. Напрасно выпроваживал мать — не удалось мне заслужить этой ночи.

Позднее Эда призналась, что среди гостей был Юрий Поляков, ее возлюбленный с Плеса.

СЛУХИ

Сначала о докладе Хрущева на XX съезде шептались, а потом уже заговорили и в голос — дома, в метро, на улицах. Потом доклад стали зачитывать на открытых партийных собраниях, возникали импровизированные митинги, порой можно было видеть иностранного журналиста, остановившегося возле группки москвичей и что-то записывающего. Я произносил длинные речи перед сотрудниками театра, парторг Хрусталеvская пыталась меня прервать, но на нее зашикали. Она сказала гневно:

— Вы не понимаете — нам еще детей воспитывать, зачем же устраивать поножовщину? У китайцев надо поучиться — у них больше такта и здравого смысла, больше классового самосознания, они понимают нашу трагедию лучше нас самих.

Партийцы отомстили мне тем, что не сообщили, когда доклад будет читаться у нас, так что его текста я так никогда и не слышал, хотя в Москве, пожалуй, трудно найти человека, не охваченного этим мероприятием. Говорят, что в военных академиях выкрикивались негодующие реплики и демонстративно подымались и уходили. У нас был распространитель билетов, пожилой еврей, по делам службы попавший в какой-

то клуб, где зачитывался этот доклад. Он послушал-послушал, потом начал потихоньку озираться по сторонам, встал и незаметно выбрался из зала — не может быть, чтобы это хорошо кончилось.

В эти дни ко мне зашел папа. У меня сидел Жан Невесель, корреспондент газеты «Франсуар», русский по происхождению. Отец не понял, что человек «не наш», долго набычившись слушал, что мы говорим, а потом медленно, внятно отчеканил:

— Не думаю, чтобы от этих разоблачений на столе у рабочего появилось лишних полкило масла.

Потом был международный фестиваль, по улицам толпами сновали «шпионы и диверсанты», но я ничего этого не видел, потому что уехал во Фрунзе. Даже Пастернаковских событий не застал.

АМЕРИКАНСКАЯ ВЫСТАВКА

Вернулся я в Москву в пятьдесят девятом году. Летом мне удалось побывать на американской выставке, по которой я бродил целый день, пил пепси-колу и выписывал изречения со стендов:

«Я не считаю одного человека большим, а другого меньшим — тот, кого считают меньшим, в свое время, на своем месте, равен всякому другому». *Уитмен.*

«Писать хорошо — это значит жить в одиночестве. Организации писателей смягчают одиночество автора, но я сомневаюсь, чтобы они улучшили его творчество, потому что создает свои произведения он сам. Если он хороший писатель, он должен каждый день оставаться лицом к лицу с одиночеством». *Хемингуэй.*

«Такова непреодолимая природа истины: все, чего она хочет, это свободно выявить себя». *Пэйн (?)*

«Доверие не может быть создано принуждением. Нельзя заставить человека верить».

Списал еще много всего, потом перенес в дневник, знаки вопроса означают, что я до сих пор не знаю, что это за люди.

Некоторые уверяли, что их от пепси-колы рвало, но мне этот напиток помог целый день продержаться на ногах — ходил, ходил, смотрел, слушал, только моды не поглядел — не пробиться было, да и не к чему они мне. В павильоне «Род человеческий» гид обращался к толпе:

— Граждане, не толкайтесь, зачем вам обгонять друг друга, обгоняйте лучше Америку!

— Почему вы так хорошо говорите по-русски? — спрашивал кто-то.

— Мой папа и мама венчались в Киеве, а дедушка родился в городе, который назывался Санкт-Петербург... Кроме Маркса есть еще философ Вебер (?) Человечеству угрожают не монополии, а догматизм и религиозный фанатизм, рост бюрократии, а не классовая борьба. Умение идти на компромисс важнее борьбы — компромисс

лежит в основе отношений мужа и жены, власти и оппозиции, профсоюзов и владельцев, личности и общества...

Какой-то тип, стараясь заглянуть поглубже гиду в глаза, спрашивает:

— Сколько вам платят?

— Восемнадцать долларов в день.

— Как же так мало — за такую трудную работу?

— Восемнадцать долларов — это не мало, это хорошие деньги, гостиница, проезд и питание оплачиваются отдельно, а потом нельзя сказать, что это такая уж трудная работа — молоть языком. Я считаю, что мне повезло — ведь я никогда раньше в вашей стране не был.

Гид не понял, на какую «трудную работу» намекал советский человек — ведь такого «диверсанта», небось, годами готовят... Он живо и с радостью отвечал на все вопросы — о коммунистах, о Швейцарских горах, помянул товарища Сталина (ах, как он это выговаривал!), рассуждал о праве знать, свободе выбирать и возможности заработать.

В другом павильоне стоял румяный жизнерадостный американец, видимо, учитель русского языка, но говорил он с сильным акцентом и с трудом подбирая слова:

— Я зарабатываю 450 долларов в месяц, моя работа мне нравится, когда я женюсь, жена, если захочет, тоже будет работать...

— Почему у вас коммунистов преследуют?

— Потому что они шпионы. В Америке есть магазины с коммунистической литературой, там, где на нее есть спрос. Я не люблю коммунистов за то, что, например, во Франции они относились к Гитлеру лояльно и только в сорок первом году по сигналу Москвы начали борьбу.

Москвичей особенно поражало, что американцы не смущаясь ругали своих лидеров:

— Да, вы правы, Эйзенхауэр много глупостей делает.

Раздавались на выставке и недовольные голоса:

— Фотографий и текстов много, а экспонатов мало. Москва словам не верит — фотомонтаж мы и сами сделаем — закачаешься...

Мало кто из наших граждан знал, что американцы собирались бесплатно кормить посетителей, но наши власти не допустили такой провокации. К электронным машинам, к книгам пролезть было так же трудно, как и к модам. Посетители удивлялись, что в космосе, оказывается, летает семь или восемь американских спутников — наши газеты сообщали только о советских.

Посетив выставку, я сразу и окончательно понял, что в мирном соревновании американцы непременно нас победят.

ЕЩЕ ДВА ГОДА

прошли тускло и незаметно. Я жил во Фрунзе — конечно, и там что-то происходило, бывали

забавные происшествия, но боюсь, что сейчас, в канун ленинского юбилея, не успею рассказать обо всем. Ходят упорные слухи, что дни нашей свободы сочтены (имеются в виду такие, как я), поэтому следует ограничиться самым главным. О своем знакомстве с Шепиловым я написал и, насколько мне известно, очерк «И примкнувший к ним Шепилов» на Западе опубликован.

В первых числах июня шестидесятого года Эда приняла «окончательное» решение со мной расстаться и вышла замуж за другого. Я был убит, целый год не мог глядеть ни на одну женщину, побросал в огонь «веселые» фотографии — сам я, наверно, особого интереса к ним не испытывал и раньше, но хранил для одного своего приятеля, большого любителя «ветвей персика». Даже на похороны Пастернака не пошел, хоть и был в это время в Москве. И политическая, и культурная, и вообще всяческая жизнь сделалась мне не мила.

Но через год я решил попробовать, по русской пословице, вышибить клин клином, и мне стало немного легче. Шестьдесят второй год не принес ничего нового, если не считать пробудившегося интереса ко мне со стороны «органов» — результат переписки с Репниковым и встреч с его лагерным приятелем, «американцем Гарри». Встреч, впрочем, не таких уж частых.

Посмотрел у Вахтангова несусветную чушь под названием «Алексей Бережной», пьесу написал Евгений Симонов, сын и наследник театра.

Спектакль начинался с того, что выходил Шалевич и говорил:

— Я умер (такого-то) января (такого-то) года.

Мой бывший шеф, Виталия Фридман, заметила в антракте:

— А если жэ ви умэрли, то лежите спокойно в земли...

БЕЛАЯ ГОЛУБУШКА

Десятого февраля в Ермоловском театре был общественный просмотр «Игры без правил», поскольку пойти мне было не с кем, я пригласил маму. Мы опоздали, пришлось стоять, я взглянул на нее и вдруг подумал — как она состарилась, я и не заметил...

Она уже год была на пенсии, временами жаловалась на желудок, я гнал ее в поликлинику:

— Будь добра лечись, я без тебя не протяну, только на твою пенсию и вся надежда.

Мама пошла. Прописали грелки, змеиный яд. Теперь она вечерами сидела за телевизором, обвязанная грелками. Пес Бенька почему-то рычал, если она хотела его погладить. Даже во сне различал, кто к нему прикасается — я или мама. Я говорил:

— Кто его больше бьет, того он больше и любит.

У Бориса Рунге услышал запись песен Окуджавы. Мы сидели, пили и «закусывали» Окуджавой. Песни были трогательные, но одна была

совсем особенная. Я сразу же запомнил и мелодию, и текст. Невозможно было поверить, что это о живом человеке, хотя о смерти ничего не говорилось.

Мама, белая голубушка...

Я почувствовал, как у меня защемило в груди.

И слышней, чем в полдень пасеки,

Как из детства голоса,

Твои руки, твои песенки,

Твои в е ч н ы е глаза...

В е ч н ы е! Меня будто ударило. Это правда — у мамы в е ч н ы е глаза...

Недавно я поскандалил с ней и орал:

— На что мне твои деньги? Ты мне жизнь искалечила! Провались ты со своими деньгами!

Она сказала тихо:

— Потерпи... Теперь уж недолго...

И у меня сжалось сердце. Ее одиночество ужасней моего — ни водки, ни театра, пусть даже плохого, и надежд уже ни на что никаких...

Одинокий мужчина — это чудак, анахорет. Мясорубок хватало, мужчин намного меньше, даже самый заваливающий найдет себе пару, а женщина... Сколько бы она ни говорила, что одиночество ей привычно и приятно, а в душе, наверно, ждет, наверно, надеется... Миллионов двадцать мужиков унесла война (а если бы еще десять, так и меня Эда не бросила бы, — думалось в горькие минуты).

Я слушал песню и рыдал — не знаю, была ли это пьяная истерика или очищение искусством, потом Борис усадил меня, зареванного, в такси,

совал зачем-то какую-то ценную, но совершенно ненужную книгу — «для Паны Алексеевны». Я приехал домой и бросился перед матерью на колени:

— Мамочка, не умирай!

Кто-то позвонил внизу в дверь. Мать поплелась открывать, я решил опередить ее, ринулся, полетел с лестницы, расшибся, и она тащила меня, пьяного, наверх...

Утром я позвонил отцу:

— Моя мама скоро умрет...

ИЗ ДНЕВНИКА

16/4/62.

До сих пор болит плечо. Все время реву. Ведь это невозможно — навсегда. Нельзя вынести. Вижу маленькую девочку. О чем она мечтала, чего ждала от жизни?.. Никто меня так не любил, и никому я не сделал столько зла. Неделю назад сказал: «Нам надо разъехаться!» По ее худым, серым щекам потекли слезы. Некому ее защитить. Я не стал искать слов — подошел и молча стал гладить ее по голове. Никогда ей ничего не удавалось...

Читаю ей «Прощай, оружие!» и не отхожу от нее. Ты только выкарабкайся, последний раз вылезь — я тебя больше не обижу. Эда сказала: «Мы тебя не оставим».

Сейчас она задремала. Стесняется стонать. Как-то ночью я пришел на ее стон, сел на кушетку.

— Иди...

— Ты заснешь, и я уйду.

— Ты уйдешь, я засну.

Я ушел. Она больше не стонала.

(Того же числа ночью, после бутылки:

«Матушка моя родная, ты княгиня молодая, поглядите-ка туда — едет батюшка сюда». Нет, батюшка не приезжал взглянуть на матушку мою родную. Мама, белая голубушка, поживи, родная!.. Опять горе, опять убытки — как в «Скрипке Ротшильда»... Пускай случится чудо! Моя белая голубушка... Не могу — слезы душат. Противные слезы пьяного, слабого, бездарного человека. Она тоже была в жизни бездарна. Но не в любви. Как она любила меня и моего отца... А мы топтали ее. Я все хотел девочку, дочку, а она рядом жила — самая красивая, святая... Верила Сталину, шла за ним — привет ему! Любила советскую власть — я буду внимательней к ней. Но чем помочь больному с раковой опухолью?! Тебе больно сейчас, родная? Какой же это гуманизм — чтобы человек умирал в таких страданиях? Твои вечные глаза... Пана. Прасковья. Параскева. Со всеми твоими неврезами — ты плоть от плоти своего народа. Благословенна ты, давшая мне жизнь. Целую твои дряблые щеки, моя девочка, моя белая голубушка... Ты со мной, ты со мной, ты со мной...

Мои слезы, мои клятвы — два восемьдесят им цена... Нет, это теперь всегда со мной — когда сплю, когда просыпаюсь, смотрю на стены, тоскую, молюсь неведомому Богу...

Целую тебя. Люблю тебя. Всегда. Навсегда... Это нервы. Я с тобой: я люблю тебя. Я только сейчас это понял, но теперь это навечно.

Не хочу, чтобы ты страдала. Уж лучше во время операции... Мне ничего не нужно, только, чтобы ты не страдала, не хочу... Ты никогда не знала ни любви, ни тепла, а что я теперь могу дать тебе!..»

СМЕРТЬ И ПОХОРОНЫ

Я знал, что надежды нет. В поликлинике велели собирать анализы и класть грелку на больное место. Бедные чиновники от медицины — скольких больных они должны обслужить за день, какой рекорд поставить!.. Пришла Эда и прощупала у бывшей свекрови громадную опухоль. Я побежал сам в поликлинику — говорил, умолял — мать не болеет, она умирает! Мне поверили и, отменив дальнейшие «исследования», вызвали скорую помощь.

Но не так-то это просто — положить тяжелобольного человека в больницу. Врач из поликлиники проинструктировал маму, как симулировать приступ аппендицита — раковых больных не принимают (отцу до сих пор при любом недомогании выделяют отдельную палату в «Кремлевке»). Раковая опухоль при пальпации не болит, но мама должна была вскрикивать. Комедия эта повторялась дважды — дома, а потом в приемном покое. Мне вынесли ее пальто, платье,

туфли. Я повез сверток домой — держал, как ребенка, и плакал. Не везти мне эти тряпки к выписке...

За свою жизнь мама успела переписать всех марксов и энгельсов, набралась гора толстых тетрадей. Я собрал их и вместе с источниками отнес в приемный пункт макулатуры. На что убита жизнь!..

Она прожила еще месяц. Была веселая, верила, что вылечат, и купалась в лучах моей любви.

Ее готовили к операции — кололи, делали переливания, я бегал за соками, лекарствами. Даже чагу привез, ездил за ней к деду в Тайнинку, но больница категорически отказалась от помощи знахаря. От болей, а может, от желания выздороветь мама бросила курить — пять пачек «чайки» лежали в тумбочке нетронутые. (Я часто корил ее, что только оттого и курю, что в доме вечно валяются папиросы, а вот уже тринадцать лет нет ее, а я, если купить не на что, бегаю «стрелять» к соседям.)

Однажды я пришел в больницу и застал возле мамы тетю Зину. Бесконечные разводы сына увезли ее сначала на Рижскую, а потом в Бабушкин. Теперь она вдруг решила вернуться на Сокол (тридцать лет назад они вместе со Славкой прожили у нас полгода).

— Володя, ты не возражаешь, если мы пропишем тетю Зину? — спросила мать.

Я возражал.

— Она будет за мной ухаживать...

— Для того, чтобы ухаживать, прописка не нужна.

— Да, но тогда ты в любой момент сможешь выгнать меня! — объяснила тетя Зина.

— А ты хочешь, чтобы я никогда никого не мог выгнать?

Перепалка кончилась тем, что я встал и, хлопнув дверью, вышел. В коридоре еще слышал голос мамы: «Володя, Володя!», но не вернулся.

На следующий день я шел к ней, чтобы сказать: «Прописывай кого хочешь, хоть всю слободу Николаевку.»

Она глотала кислород и знаками просила сделать укол. Одна половина лица была багрово-красная, другая желто-зеленая. Тетя Зина прокричала ей на ухо:

— Володя пришел!

— Где?

— Вот он!

— Вижу...

Вряд ли она могла что-нибудь видеть, у нее было общее заражение крови.

Агония продолжалась двое суток. Время от времени она стонала:

— За что?

К кому она обращалась с этим вопросом — к комсомольской или партийной организации?..

Последние ее слова были:

— Володенька, умираю... Всю искололи, места живого нет... Впереди мир и покой...

Мир и покой! — она никогда так не говорила. Мы вместе ходили на американскую выставку,

но мама там ничего не записывала — ведь школьникам об этом нельзя рассказывать.

Сидя у ее изголовья, я повторял:

— Да, мамочка, мир и покой — впереди мир и покой, позади мир и покой, вокруг мир и покой...

Мать потеряла сознание. Я поплакал, потом выпил вино, которое стояло в тумбочке, забрал термос, фрукты, папиросы — те самые пять пачек — и пошел домой. Там меня ждала Эда, и я спрятался в нее.

Утром я позвонил Ларисе; она сказала:

— Мужайся, Володя — она умерла. Мы ушли через полчаса после тебя, а когда я приехала домой, мне позвонили...

С идиотской улыбкой я повернулся к Эде:

— Все в порядке — сдохла Паночка...

Эда не пошла на работу, мы поехали в парк, сидели возле какого-то грота, и я наливался вином.

Потом были похороны. Скорбно-деловые люди сновали, поправляли веночки и глядели в ручку. Уже в морге, несмотря на объявление, что «плата не взимается», вошел какой-то тип с оперированной челюстью и попросил за «уборку». Я дал десять рублей, он требовал еще:

— Нас трое было.

Я отвернулся.

Многие дают, сколько ни спросят — как будто усопшему дорогому.

Еще в первые дни маминой болезни, во время очередного скандала в присутствии родственни-

ков, я объявил, что на поминки их не приглашу (не мог себе представить, что она больна смертельно, думал, притворяется, чтобы на меня «воздействовать»).

И вот теперь были поминки, были родственники, даже отец пришел. Все им восхищались — какое бесстрашие, какая сила духа — после XXII съезда он разглагольствовал о Сталине, с почтением вспоминал «отца и учителя».

— Можно было Сталину правду говорить, можно! Бывало, в штаны наложишь — а всё как на духу!

Покойница никого не интересовала, моему горю сочувствовали из приличия, дескать, так уж положено — переживает...

Пришел Юрка Яговкин, «родственник по жене». Даже сосед снизу зачем-то приперся, кавказец Нурил. Человек он неплохой, но это, верно, на Кавказе поминают всей улицей...

Боря Рунге, которому мать столько помогала в его студенческие годы, на похороны не пришел, не пришел и Шепилов — тоже мог бы отдать последний долг человеку, который поддержал его в трудную минуту. Ну да, может, это и к лучшему, что их не было — Боря артист, такую похабель развел бы в подпитии, что все повеселились бы славно. А на Шепилова глядели бы как в ООН...

Я пил стаканами и всё вспоминал, как мать ответила мне тогда:

— Хоть на помойку брось, сынок...

Ни водка, ни Эда не давали забвения...

Потом Лариса приезжала за тряпками — «только для Зины и Гриши» — и потихоньку сунула себе каракулевый воротник (я был в таком состоянии, что не заметил бы ничего, даже если бы всю мебель вынесли, но соседка Кира видела и шепнула мне).

Действительно, воротник пропал, но это не имело никакого значения — мать оставила меня состоятельным человеком. По страховке не выплатили, поскольку она умерла естественной смертью, но зато выяснилось, что из «откупных» отца она не истратила ни копейки, все откладывала на книжку и завещала мне. Пришлось, правда, долго доказывать, что я ей сын, а не сожитель и не квартирант, — фамилии разные.

Тетя Зина, хоть и добивалась прописаться у меня, но к тряпкам проявила полное равнодушие — все отослала бедному Грише — тому, который побывал и в белых, и в красных.

На следующий день после похорон опять явился верный сталинец (теперь уже ленинец) и попросил свидетельство о смерти. Они с мамой не были разведены, и он не мог дать своей фамилии младшему сыну. Старший родился, когда отец был на взлете, и в обход закона фамилию получил, а младшему было в этом отказано. Накануне отец не решился просить бумажку, хотя, видимо, только за этим и приходил. Развода он смертельно боялся — как бы не обвинили в аморальном поведении, но теперь узел развязался сам собой, ко всеобщему удовольствию...

Я уже не помню, сколько тысяч оставила мне мать. Когда я показал книжку Эде, она испугалась:

— Ой, лучше бы я этого не видела! Теперь ты будешь думать, что я возвращаюсь из-за денег.

Она не оставляла меня ни на минуту и даже сказала:

— Ни за что бы не развелась с тобой, если бы знала, что Пана Алексеевна умрет. Я думала, она лет восемьдесят проживет — такая настырная была, упорная.

Я в свою очередь издевался над ней, что теперь она уже неизвестно кто — то ли любовница, то ли сожительница, то ли мать моего сына. Она говорила, что развестись не трудно, но я заявил, что второй раз на такой «б» не женюсь.

Она только улыбалась:

— Может, ты хочешь, чтобы я опять ушла?

Я сдался.

— Ты как твоя мать, — сказала Эда. — Как Паночка... (Все девочки в школе так называли ее и Эда тоже.)

И вот Эда уже протирает окна и мечтает о покупке новой мебели.

Когда она мыла меня в ванной — как обычно тепленького, но уже несколько утешившегося — пришел отец, Лев Карпыч, и увел ее к плачущему «законному» супругу.

Потом была телеграмма: «Срочно самолетом Гусарова» (театр выехал на гастроли, меня, как актера-«надомника», не взяли, но кто-то запил, надо было срочно вводиться. Я улетел. Когда

вернулся — Эду переубедили: «он никогда не простит тебе этих двух лет». Кто знает — может, решать свои дела нужно было нам самим, без советчиков. Всю жизнь она раздражалась — ты паяц, работаешь на публику, громко говоришь, поешь, целуешься в троллейбусе, а нам не восемнадцать лет, но в те — последние — дни она простила мне все...

И вот я остался один — и без матери, и без жены. Пропивал вещи, книги, мебель, распродал все за несуразный бесценник, хотя карманы были набиты деньгами.

Каким-то ветром ко мне занесло студента-атомника Зуянова, он как бы снял у меня комнату и поселился с женой, но как-то явился его отец, полковник, и сказал: «Если ты не съедешь отсюда, то ни я, ни Галкин отец вам помогать материально не будем. Этот дом под наблюдением». (Это был разгар хрущевских либерализмов.) Студент съехал.

Но однажды случилось чудо — открылась дверь и вошла бабушка Федосья Петровна, я уже не чаял видеть ее в живых, ей было за восемьдесят (сейчас ей девяносто четыре). Она медленно подошла к моей кровати, увидела рядом со мной девицу (студентку циркового училища) и спросила:

— А это кто?

— Девочка... — ответил я смущенно.

Баба Феня помолчала, словно в раздумье (сама она овдовела в двадцать четыре года), видно, что-то вспомнила и громко плюнула:

— Тьфу!

Потом она принялась расставлять свои баулы, распаковывать узлы — одних утюгов в ее багаже было с десяток.

Мне стало легче и веселей — бабушка варила овсянку, рассказывала о себе, родичах, соседях, знакомых, о Господе нашем Иисусе Христе — да будет воля Его, о библейских героях и о своем путешествии в Палестину в тысяча девятьсот одиннадцатом году.

ИВАН ДЕНИСОВИЧ

В «Новом мире» была опубликована повесть. Я прочел ее, не отрываясь. Произведения такой плотности, такой насыщенности я еще не встречал, но тогда мне думалось, что это не столько от выдающегося таланта, сколько от пережитого, от досконального знания материала. И когда снова мелькнула в журнале фамилия Солженицына, я, не ожидая нового чуда, прочел сначала очередную порцию «Люди, годы, жизнь», а потом уже принялся за «Матренин двор». Дойдя до последней строки, я понял, что в литературу пришел человек, не жаждущий славы, как таковой, а ждущий чего-то от людей, чем-то восхищенный и поверженный в ужас, и требующий перемен.

Я написал автору письмо, полное восторгов и клякс, и выразил уверенность, что Игнатъич — это и есть сам автор, а поскольку я живу один в

двух комнатах (бабки еще не было), то почему бы в одной из них не поселиться Игнатъичу — писателю-классику в лагерной телогрейке. Ответ пришел через несколько месяцев (я уже успел забыть о своем письме). Солженицын благодарил за внимание и добрые чувства и выражал желание познакомиться. Я был взволнован — как-то даже не верилось, что я увижу его, буду с ним разговаривать. Я тут же написал, клялся, что всегда был равнодушен к знаменитостям, но в нем вижу именно того человека, который необходим, чтобы найти в жизни смысл и точку опоры.

Знакомство состоялось на Центральном телеграфе. Ко мне подошел рослый, провинциально одетый, никак не бросающийся в глаза мужчина. Володя Гершуни, сидевший с ним в лагере, позднее сказал мне: «Исаич совсем не ходил в гениях, много было более ярких людей». Так ведь, я полагаю, чтобы их, этих «более ярких», разглядеть и описать, самому нужно оставаться в тени — не давить, не коноводить, не привлекать всеобщего внимания.

Я думал, что увижу больного, измученного, пронзительного старика, а передо мной стоял кавторанг до БУРа — веселый, молодежавый. Мог бы и сейчас быть капитаном-артиллеристом. «Так вот какая она — совесть России...» — думал я, разглядывая его.

Мы поехали на Сокол. Походка у него была легкая, тоже веселая.

Увидев бабу, Солженицын, видимо, отказался от мысли останавливаться у меня.

— Я вас стесню.

— Слово «стеснение» имеет два смысла, — возразил я.

У него вспыхнули глаза. («Не вспыхни взглядом при другом...»)

В следующие два года я видел его часто, многое хотелось записать, но друзья запрещали мне, упрекая, что я и так «закладываю Саню». Я слишком многим обязан ему, чтобы совсем не упомянуть о нашем знакомстве, но разговоров передавать не стану. Может быть, когда-нибудь после...

Вообще писать я начал только после смерти мамы. Первое мое произведение «Брак и семья при коммунизме», памфлет. Потом было бредовое и высокопарное «Письмо к Ленину», угодившее в КГБ. Познакомившись с Солженицыным, я узнал, что не я один надрываюсь от одиночества и не я один пишу. Узнал, что такое Самиздат. «Эрика берет четыре копии. Вот и все. Этого достаточно». (Колю Глазкова я знал давно, но в его устах «самсебиздат» звучал не-серьезно).

Очень жалею, что не сохранилось у меня текста «Докладной записки» (последний экземпляр изъят во время обыска в квартире Григоренко 7 мая 69-го года). «Докладная записка» в свое время наделала шуму. «Документ» этот был составлен на имя председателя Комитета Государственной безопасности. Говорили, что у Кантова

— следователя Григоренко и Даниэля — были неприятности: дальневосточные перлюстраторы сочли, что выплыл подлинный документ. Потом, при последнем обыске у Григоренко, следователь и понятые шептались:

— Кантов. Вот что бывает, когда своих же не знакомят с «совершенно секретно».

Не обратили внимания, что дата «Записки» 1-е апреля 66-го года и что Семичастный назван без инициалов — какой Кантов мог бы позволить себе такое неуважение! (Я-то просто поленился узнавать, как звать этого товарища.)

Писать я разрешал себе только тогда, когда нечего было перепечатывать. Через мои руки прошел «Новый класс» Джиласа, многие главы «Крутого маршрута» Е. Гинзбург, работа В. Л. Теуша об «Иване Денисовиче», многие вещи Солженицына, несколько раз я перепечатывал «процесс Бродского», записанный Ф. Вигдоровой.

На похоронах Вигдоровой я попросил траурную повязку, чтобы встать в почетный караул. «А вы откуда будете?» — «Я ее издатель». Повязку дали.

Погорел я на «Докладной записке». А. Кузнецов уверяет, что Самиздат — это почти дозволенная деятельность, игра в кошки-мышки, дескать, «Скотский хутор» или «1984» в Самиздате не ходят... Не берусь судить, почему они не ходят, но я знаю члена Союза писателей, который берет пишущую машинку напрокат — чтобы «сами у себя конфисковали», а уж нас так стараются запугать, столько всего изымают, что

«игра» получается совсем не забавная. Мне, например, вполне реальным кажется пикантное положение, когда ответственный чекист будет прятать свои «самиздаты» от сына, а тот, в свою очередь, от папаши. Самиздат — естественная реакция на то, что свободы слова лишены все, даже те, кто правит, даже крайние реакционеры и искренние конформисты.

Знакомые комментировали мою деятельность: «Он еще допечатается». О Гершуни те же люди говорили: «Он еще добегается». Но до тех пор, пока им в руки не попала «Докладная записка», меня не трогали. Чекист Скобелев лепетал какую-то чушь, дескать, сам не знает, откуда она у них взялась, но я-то знал. Я послал ее письмом Эрнсту Махновецкому (обратный адрес я давно уже «лепил от фонаря», а корреспонденцию свою, как правило, старался отправлять не из Москвы, но все эти маленькие хитрости не спасли), Махновецкий послания не получил, оно очутилось на столе у Скобелева.

26 июня 1966 года я подошел к своему дому, имея при себе зонтик и «Новый мир» с последней повестью Катаева. У калитки стоял «воронка» с решетками. Два милиционера и две медицинские сестры любезно сообщили:

— Владимир Николаевич, мы хотим показать вас Енушевскому...

В «воронке» меня везли только до отделения милиции, там пересадили в «психовоз» с красным крестом — санитары свое дело знают не хуже милиционеров, а заболеть может каждый

трудящийся, медицинская помощь у нас бесплатная...

Экспертизная больница находилась у Новослободской, в Институтском проезде, 5. Никакого Енушевского не было, но и без него врачи хорошо играли свои роли. Когда я попытался обратиться к их чести и совести — «вы же Гиппократову клятву давали!» — вздрогнула только одна красивая женщина с семитской внешностью. Но и эта небольшая победа вдохновила меня, я стал говорить, что существует понятие врачебной тайны, что если какому-то журналисту вздумалось написать фельетон о Тарсисе, то это еще не значит, что больница должна услужливо предоставлять ему эпикриз — стыдно, товарищи, стыдно... Женщина сидела понурившись и грустно поглядывала на мужчину напротив — наедине они, вероятно, тоже говорили на эту тему.

Не расспрашивая ни о «видениях», ни о «голосах», меня отправили в больницу имени Кащенко, в «академическое» 15 отделение, заведующим которого был парторг больницы Феликс Енохович Вартамян.

Дома у нас сделали обыск, взяли альбом с фотографиями и вольными подписями к ним, но через несколько дней альбом вернули (теперь тот же самый альбом с семейными фотографиями держат уже пятый год, не знаю, что в нем обнаружили — то ли антисоветчину, то ли тайны какие).

В Кашенко я пробыл июль, август, сентябрь, но сейчас у меня нет под рукой записей об этом времени. Могу только сказать, что выпущен я был совершенно оглушенным, залеченным и раздавленным.

ТРУДОВЫЕ БУДНИ

К тому моменту, когда я очутился в Теновом театре, основательница его Свободина, престарелая дама из Наркомпроса была безнадежно больна, и дело вел предприимчивый режиссер Владимир Наумович Тихвинский, писавший вместе с Марком Айзенштадтом маленькие басенки и сценки для Райкина. Марк — скромный, сдержанный, очень грамотный и углубленный в себя человек. Если бы не Тихвинский, не пробиться бы ему. Злые языки говорили, что сам Тихвинский без Азова никогда не написал бы ни строчки.

Я попросил у Тихвинского роль «от автора» в телевизионном спектакле «Малыш и Карлсон». Выразительно поглядев на меня, Владимир Наумович сказал:

— Вы знаете, мы пригласили на эту роль Ростислава Яновича Плятта. Мы думаем, так будет лучше.

Я не мог не согласиться с таким выбором, но роль попала не Плятту, а энергичному и трудолюбивому, но совершенно лишенному сценического обаяния Илье Бейдеру. Несчастный много-

семейный Илюша, как всегда, очень старался, работал четко, но дети после первых же фраз дружно решали, что он шпион и все ждали от него какой-нибудь коварной выходки.

Несмотря на свою пассивность, я в те годы много читал по радио, о чем ни один актер Теневого театра не мог и мечтать. Однажды во время фестиваля я даже отказался от удовольствия посмотреть «Вестсайдскую историю», поскольку должен был читать что-то об энтузиастах новостроек и буднях взрывников. Мог, конечно, сказать, что занят и не могу, работа ведь совместительская, но я этот приработок очень ценил, да и связываться с ними мне было сложно, телефона у меня не было. Как-то я прочел малоизвестные антирелигиозные рассказы Марка Твена — для Сибири, передачу заметили, редактор поздравил меня и сказал, что решено повторить ее по первой программе. Потом я случайно узнал, что по первой программе рассказы читал Названов. Я позвонил режиссеру Крячко выяснить, в чем дело, тот расвирепел от моей «наглости»:

— Мы сами решаем — кому чего читать. Мы вам дали другую передачу на эти часы, если бы вы простаивали, тогда другое дело, а мы вам дали, что вам больше подходит.

Я сказал, что не собираюсь тягаться с Названовым, уверен, что он читает лучше, но чем Сибирь хуже Москвы? (Конечно, хуже — там начальства меньше.) Меня перестали приглашать, хотя отвечали всегда вежливо: «Звоните, звоните». Один мой сокурсник так и делает, хотя

дома у него есть телефон, видно, надеется, что «стучащему да откроется» — это так сказал следователь кому-то из огурцовцев.

Так я лишился прекрасного заработка — за месяц набегало до сотни, а делов-то всего — два-три вызова в неделю. Мы все давно отвыкли от моральных критериев, никто не откажется от роли по моральным соображениям, как Яворская отказалась от участия в антисемитской пьесе «Контрабандисты». Занимает актеров только то, много ли занимают и сколько платят. Неудивительно, что мое «выступление» взбесило режиссера.

И в театре решили открыто обсудить «способ моего перемещения». Выступил Брейдер:

— Когда мы учились, все ждали, что Гусаров будет новым Хмелевым, но с ним что-то произошло...

О том, что я «потух», говорила впоследствии и другая актриса, Новикова. Тихвинский сказал, что мне не подходит специфика театра — пришлось подать заявление об уходе по собственному желанию.

Год спустя, когда Тихвинского самого выперли из театра, он разговорился со мной за коньячком в буфете ВТО:

— Звоночки, понимаешь, были, вот Климова и решила от тебя избавиться, а я был против...

Избавиться, значит, решила Климова, а «творческое оформление» поручила главному режиссеру.

Еще через несколько лет, после «острых лечений», я встретил Тихвинского в вестибюле кинотеатра «Космос».

— Ну и что ваш Самиздат? Кому он нужен, до кого дойдет?

— А кому нужны ваши побасенки?

— Побасенки свое дело делают...

— Самиздат тоже свое дело делает, только за побасенки вы гонорарчики получаете, а мы за Самиздат — тюрьмы и сумасшедшие дома!

На том знакомство наше окончилось.

Следующим местом работы был Литературный театр. ВТО. Литературного в нем ничего не было, только что декораций ставили мало, вот и вся его литературная специфика. Создала богатая организация ансамбль для шефской работы и нужно было подвести идейную базу — все театры как театры, а мы, извините за выражение, «литературный».

Играли без грима, без костюмов, один актер исполнял несколько ролей и так далее, и тем не менее это был обычный гастрольный театр, только более неповоротливый — он находился на солидной дотации ВТО.

Вся группа была влюблена в одноногого режиссера из театра им. Гоголя (причем тут Гоголь? Свободный классик, что ли, остался, ни к чему еще не приспособленный?) Владимира Владимировича Бортко. Человек он был неприятный, но спектакли ставил бойкие, ритмичные. Будучи сыном какого-то секретаря обкома, погибшего в тридцать седьмом, Бортко старательно обыгры-

вал тему «реабилитанса позднего», даже «Бег» Булгакова хотел протащить. У себя в Гоголевском поставил «Опаснее врага», спектакль вышел много хуже ленинградского, хотя Владимир Владимирович и воровал у них без зазрения совести.

Нам приходилось встречаться со зрителем глубинных районов Сибири, где «романтические треугольники» не обходятся без мордобития, а то и хуже. Поэтому было бы нелепо и опасно представлять моего героя просто влюбленным в замужнюю женщину — безо всякой уважительной причины. Смысл притчи должен был сводиться к тому, что героиня, любя мужа, добивается того, чтобы он глядел на нее романтическими глазами вечного странника, а не пресыщенным взглядом законного супруга.

Тема спектакля «не нацеливала», а развитие зрителя оставляло желать большего. В одном из лучших клубов — районном — группа допризывников изнасиловала двух милых девчушек — культпросветработниц. Случилось это вскоре после диспута «Брак и семья при коммунизме», который пострадавшие так старательно готовили. Девочки искренне стремились нести культуру в массы, учили понимать прекрасное, танцевать и даже думать...

В другом городке меня пригласил к себе в гости директор клуба, выставил обильную выпивку и попросил... снять чары с его чересчур ревливой супруги. Жена утверждала, что ревность тут ни при чем, что он сожительствует

с их шестнадцатилетней дочерью. Я понял, что и директор, и его жена, поглядев спектакль, уверовали, что я на самом деле волшебник (о культурном уровне «рядового» зрителя остается только догадываться). Я не стал их разочаровывать — чего доброго, узнав, что кудесничать я умею только на сцене, сочтут себя обманутыми и пойдут жаловаться, что им не артистов прислали, а жуликов каких-то. (Чародейство мое заключалось в том, что героиня представляла на сцене то Принцессой, то Золушкой — в зависимости от того, какими глазами смотрел на нее мужчина, но это были материи, абсолютно недоступные зрителю.) Отец и дочь-школьница клялись перед «волшебником», что не состоят в кровосмесительной связи, а мать требовала, чтобы я их разоблачил и вывел на чистую воду. Она наверняка была психически больна (я пришел к такому выводу, не потому, что считаю невозможным факт сожительства отца с дочерью, а просто понаблюдав за ней и послушав ее рассуждения. В той же поездке я узнал о другом случае, когда муж перешел от жены к подрастающей падчерице, а мать довольствовалась ролью режиссера и зрителя. Дочка в конце концов родила, и ее записали матерью-одиночкой хотя ни для кого не было секретом, кто отец ребенка.)

В середине мая, после долгого отсутствия, мы вернулись в родную столицу, и всю труппу вызвали на Петровку 38 (когда-то вмещавшую все жандармские ведомства России). Каждого по отдельности расспрашивали, какие я вел разгово-

ры, и потом брали подписку о неразглашении. Затем каждый, как мог, «не разглашал». Директор Виктор Краснорядцев, весьма трусливый и чувствительный к табели о рангах человек, чуть ли не со слезами на глазах умолял меня уволиться и уехать из Москвы насовсем. Все предлагал мне «вслушаться в подтекст его слов». Последним в том, что его вызывали, признался мой собутыльник Рыжков. Сказал, что про журналиста какого-то спрашивали (сечешь?). Мы с журналистом А. писали письма и посылали бандероли «американскому шпиону» Репникову. Органы пытались разгадать наш сатанинский замысел. Пришлось уйти и из Литературного театра.

Больше двух месяцев я был без работы, затем получил открытку от И. Н. Русинова и месяц ездил с кукольным театром Гайдаманского. По сравнению с Гайдаманским Бессеменов Горького чистый король Лир, такого отвратительного выжиги и жмота я, пожалуй, никогда не встречал. (Просматривая дневник, почти ничего не нахожу об этом месяце.)

Встреча с труппой Гайдаманского ознаменовалась знакомством с тремя куклами, вытащившими у меня из письменного стола пятьдесят рублей и больше не показывавшимися. Мне понравилось, с каким цинизмом эти молодые девки рассказывали о своих похождениях, захотелось пополнить жизненный опыт — не уверен, что он стоил пятидесяти рублей.

Одну из них звали Раей, она работала парикмахером, Светлана тоже работала, поваром, третья, Таня, легальной профессии не имела, но жила с весьма благополучными родителями. Шоферов такси они называли «шеф», клиента «фраер». Такси возило их по кругу, пока страсть клиента не удовлетворится, а карман не похудеет. С особым удовольствием они рассказывали о тех случаях, когда удавалось выманить деньги раньше и, оставив «фраера» в самом нелепом положении, смыться. После знакомства со мной они тоже, верно, рассказывали, какой дурак попался (хотя брюк я не снимал, просто заснул пьяный). Поначалу я со зла заявил о краже в милицию, но там явно заинтересовались не девицами, а мной, так что я решил больше блюстителей порядка не беспокоить.

Эротического голода я не испытывал, поскольку бывшая жена меня не забывала, ей нравилось, что я всегда к ее услугам (хоть и жалуясь на усталость и слабость). Были у меня и еще женщины — машинистка и пионервожатая (в дальнейшем сделавшаяся преподавателем марксизма). Правды ради должен сказать, что пионервожатая была поскромней остальных, хотя тоже участвовала один раз в «обмене», или, как говорит Эда, в «перекрестном опылении». Но мне кажется, что и тогда она это делала без большой охоты, а теперь она замужем и вряд ли тяготеет к подобным развлечениям.

С театром Гайдаманского я попал в Калмыкию — сушь, пыль, воды нет, зато насекомых

много — в гостинице села Советское (Сухота) хозяйка уничтожала у дочери гнид: «Завтра ей в школу».

В магазине слипшиеся конфеты, пряники, плиточный калмыцкий чай. В книжном магазине — «Скажи смерти нет!» и объявление: «Тетради отпускаются только организованно». Попросил у библиотекаря «Литгазету», она протянула мне «Советскую культуру», я стал ей объяснять, что это не одно и то же, а потом подумал, что, в сущности, она права. В библиотеке сидели какие-то очень неестественные девочки с модными прическами и в узких брючках, просматривали позапрошлогодний «Экран».

Первого января шестьдесят четвертого года меня пьяного затащили в милицию и ограбили. Я умолял дать мне хоть что-нибудь, какую-нибудь одежду, чувствовал, что получу воспаленные легкие. Пиджак вернули мой, а брюки дали чужие, старые, кошелек тоже вернули, но пустой, авторучку обменяли на другую, похуже. Я оценил милицейское благородство — уличные грабители не оставили бы ничего.

В Ростовской области во время бурана мы застряли в районном селе, с трудом пробирались до местного ресторана пообедать. Кукольники осточертели окончательно, хихикающего Гайдманского я уже просто не мог выносить. Актрисе Тилес он говорил:

— Какая очаровательная евреечка!

А в ее отсутствие:

— Почему жидов все ненавидят, а? Я думаю, не случайно.

Причитал как баба:

— Ох, жизнь трудная, а жить нужно... Спасибо Никите Сергеевичу, если бы не он — не иметь бы мне отдельной квартиры, спасибо ему, спасибо. А Сталин — такой царь-батюшка — за одно слово сажал...

В другой раз:

— Сталин? Что ж, он был приличный человек...

Корреспондент областной газеты водил в номер девочек, а потом попросил меня сбегать в аптеку за серной мазью.

— А почему бы тебе самому не пойти?

— Мне нельзя, я местный.

Буран. Актеры сидят в гостинице без света, без заработка, некому «передать наш пламенный привет»... На черных землях гибнет скот, в коридоре дремлют шоферы и чабаны, я лежу на койке и читаю «Секретаря обкома» Кочетова: «Это были рассматривальщики, но рассматривальщики особого рода...» Витя Михайлов (с внешностью урки) читает Стефана Жеромского. Гайдманский вознамерился выдать за него аккордеонистку, некрасивую девку, но дело, как видно, расстраивается: Михайлов пропал где-то две ночи, Нина сидит с распухшим носом и красными глазами...

У гостиничной хозяйки пропал сын-шофер, наверно, застрял на дороге, а тут еще упало и

разбилось зеркало — переполох... Гайдаманский, мелко перекрестившись, бойко командует:

— Все стекло соберите и выбросьте — несчастье!

— А раму?

— А раму оставьте!

Никогда я не слышал, чтобы актер был неспособен выговорить слова «джентльмен», он же не просто меняет ударение, но вообще говорит: «жэнтельмен». Анекдоты рассказывает такие: «Жена мужу телеграфирует: «Целуй маму и поливай фикусы», на телеграфе перепутали, пришло: «Поливай маму и целуй фикусы».

Увидев, что я от нечего делать взялся натирать полы в гостинице, бедняга прямо в лице переменялся — разве можно так опускаться! (Очень характерное отношение к труду в государстве рабочих и крестьян.) Но одной его фразы я никогда не забуду:

— У кого нет родственников коммунистов? Так что — в случае чего — всех под нож?

Я подумал, что, верно, эта мысль никогда не оставляет благонамеренного и лояльного человека, декламирующего со сцены монологи стахановцев и челюскинцев. Уважай кнут, пока он крепко зажат в чьих-то руках. С пламенным приветом!

ЧАПАЕВСКИЙ ПЕРЕУЛОК

Когда я ходил в нолёвку, этого пятиэтажного дома не было. Теперь в нем останавливался у

свояченицы Солженицын. Дверь открыла женщина. По телефону она сказала мне:

— Вы напрасно волнуетесь — он обыкновенный...

Я подумал, что она пожилая и умудренная жизнью. Верным оказалось только второе — передо мной стояла молодая красивая брюнетка с очень знакомым лицом.

— Мы с вами где-то встречались, — сказала она.

Да, да, когда-то я видел на Соколе такую девочку...

Я стал бывать в Чапаевском постоянно, незаметно обосновался на кухне, где Вероника Валентиновна жарила-варила и проверяла сочинения своих учеников.

Некоторое время спустя она потащила меня в магазин и выбрала для меня приличное пальто — в старом я напоминал торгового агента (а в плаще — председателя колхоза). Потом она присмотрела мне костюм, рубашку, и я уже начал капризничать:

— Велика...

Юра Штейн, муж Вероники, сказал сдержанно:

— Может, он прав? Зачем опекать? Что он, ребенок? Может, ему действительно не нужна рубашка?

У них было две девочки — дошкольница и второклашка, и в доме всегда полно народу. На работу Вероника ездила на другой конец города — в Сокольники, от метро еще на троллейбусе, словом, и без меня забот хватало.

Я записал в дневнике: «У нас нет традиций платонической любви, они остались другим классам и другим эпохам».

Правда, платоническая любовь у меня уже была. Во Фрунзе я умудрился влюбиться в тринадцатилетнюю девочку Наташу Пономареву, похожую и взглядом, и чертами лица на «Неизвестную» Крамского. Хотя я не перекинулся с ней и двумя словами, дело кончилось скандалом. Я много раз выступал в той школе, где она училась, у меня до сих пор хранятся грамоты за «общественную работу», но видел я лишь чёлочку моей незнакомки — она все понимала и не могла поднять глаз от смущения и стыда. Стыдиться-то надо было нашего уродства — дескать, знаем мы, как ни крути, а чинные прогулочки когда-нибудь кончатся... А мне хотелось только сидеть возле своего кумира, читать ей перед сном самые замечательные книги и слушать ее дыхание, когда она заснет...

А как же артист МХАТа Артем? А Тургенев? Существует, наконец, особый душевный контакт между матерью и сыном, между дочерью и отцом. У Вересаева описано, как дочь тут же покончила с собой, узнав, что отца нет, и никто ничего другого и не ожидал...

Если это и секс, то особого рода, тут не может быть речи о самоограничении или «вынужденности». Он имеет мистический, что ли, характер.

Ясные карие глаза Вероники невольно встречались с моими — беспомощными глазами

алкоголика, и разговор принимал туманный характер...

Юра уезжает на киносъёмки месяца на два, на прощанье бросает:

— Не баловаться у меня!

Мы не «балуемся», но когда он возвращается — я сижу на том же самом месте. Будто он в магазин спускался.

Раз я подошел слишком близко, Вероня не отстранилась, лишь сказала:

— Хочешь, я заплачу?

А Юра прислал жене письмо на десяти страницах, что-то насчет свободы. Такой вот «дворянский» роман...

Вероника — племянница последнего петроградского коменданта Полковникова, отец ее — автор многих киносценариев, кажется, в том числе и «Закройщика из Торжка».

Солженицын, рисуя героиню «Свечи на ветру» описал Веронику, он тоже был равнодушен к ней и не скрывал этого.

Как-то уходя я поцеловал Веронику, она сказала:

— При Юрке не смей этого делать!

— Почему?

— Я не позволю играть у него на нервах!

По-моему, игра на нервах начинается там, где есть пища для фантазии: как далеко у них зашло?

— Вероня, ты меня за мужчину держишь — напрасно...

Я действительно не представлял себя соперником мускулистого, энергичного Юры, однофамильца моего Сережи (кстати, оказалось, они были знакомы до меня). Вероня заметила, что не верит в проблему состоятельности, есть проблема желанности... Главной моей проблемой, да и ее тоже, было сохранить право смотреть ему в глаза, и в этом мы преуспели. Изредка и она меня целовала, однажды нечаянно поцеловались в губы, и Вероника сказала:

— В губы нельзя.

Как-то на даче ушли в лес, долго бродили, сидели и лежали рядом — не знаю, испытывала она «танталовы муки», но я не чувствовал ничего, кроме бесконечной нежности.

В день ее рождения я написал стишки, они кончались так:

По житейскому морю, без карт и без лощей,

Как кутенок незрячий куда-то плыву.

Мне как раз не хватает одной из эмоций:

Дай мне, Юра, по морде! Пожалуйста! Жду!

По морде я получил, но не от Юры, а от Верони, но об этом не стоит вспоминать...

БЕЗРАБОТНЫЙ

На этот раз я пребывал в данном качестве больше семи месяцев. Дело тут не только в том, что трудно устроиться «неблагоденственным». В Москве вообще много скрытых форм безработицы. Конечно, всегда можно устроиться каменщи-

ком, землекопом, грузчиком, то есть, разно-
рабочим. Кстати, даже и тут есть «синекуры»,
на которые не пробраться — попробуйте-ка про-
лезть в кладовщики, скажем, в камеру хранения,
или попасть на такие «земляные» работы, как
рытье могил. Но инакомыслящих, неблагонадеж-
ных выживают даже с грошовой работы: моего
приятеля Анатолия Е. выгнали из ночных сторо-
жей, где он и получал-то всего шестьдесят руб-
лей (и даже замечаний не имел). Дорожил он
этой работой, потому что она оставляла много
свободного времени, необходимого вовсе не для
безделья.

Все хотят в Москву, уезжать никто не собира-
ется, как-никак, а в Москве даже и колбаса есть
— и конская, и ливерная. Поедешь на перифе-
рию, выпишешься, а потом попробуй пропишись
обратно — не тут-то было! Моя мама, напри-
мер, не могла прописать своего единственного
сына, хоть и имела большие излишки жилплоща-
ди. Для милиции и это не аргумент. По счастью,
рядом жила еще не разведенная со мной Эда, к
ней меня прописали, разрушать советскую семью
не полагается. Потом уж мне удалось перепи-
саться к матери, когда она вышла на пенсию.

Энергичные молодые люди ради того, чтобы
после окончания института остаться в Москве,
вступают в фиктивные браки. Специалистов в
Москве как собак нерезанных. Эде, например,
пришлось после окончания института почти год
работать «врачом-стажером» в поликлинике за-
вода Сталина-Лихачева.

В московских театрах актеры, исполняющие главные роли, получали и получают не больше контролеров и уборщиц. Пушкина, убитого Дантесом, очень жаль, но актера, играющего великого поэта в нашумевшем спектакле и получающего шестьдесят рублей, еще жальче.

Безработное состояние было прекрасно тем, что можно было безвылазно сидеть у Верони. Впрочем, иногда я ходил в шахматную секцию ВТО. Наконец, я пересилил себя и попросил дать мне какую-нибудь работу. Меня отправили в двухнедельную командировку в Томск для помощи народным театрам — под девизом: «Профессионалы — любителям».

ТОМСК

Вместе со мной был командирован опытный «говорильщик», театровед Анатолий Юрьевич Гуз, постоянно кормящийся такими поездками. Вид у него был самый плачевный, хотя он и забирался привычно на трибуны, ходил по инстанциям, серьезно относился ко всяким «смотрам» и «показам». Чрезвычайно жалок он был своей несуразностью, кричащей бедностью, нелепой семейной жизнью...

В Томской области три народных театра — в Колпашево, Асино и в Кожевниково. В Кожевниково в последние годы воздерживаются посылать — театр их полная фикция, играли они одного только «Блудного сына», где всего пять

исполнителей — все районное начальство по культуре. Но теперь даже «Блудного» невозможно показать — район разукрупнили, и главный герой переехал к месту нового назначения, рядом, правда, но патриотическая заинтересованность в сохранении ставки режиссера и художника у него пропала. А без его повседневного участия и руководства спектакль бесславно погиб.

Из района привезли спектакль «Барабанщица». Пьеса про шпионку, то есть про разведчицу. Все думают, что героиня «немецкая овчарка», а она на поверку оказывается совсем не немецкой. Все ее презирают, но никому не кажется странным, что ее не забирают. Героиня терзается, но даже любимому человеку не смеет намекнуть, что выполняет задание командования и драматурга. Исполнительница была женщина малокультурная, но в жизни славная и естественная, зато на сцене она все становилась в какие-то позы и вообще выглядела дура-дурой. От страха она даже дышать забывала. Перед «смертью» она простерла к нам пудовую ручищу и фальшиво улыбаясь сказала:

— Запомните нас красивыми.

Колпашево — райцентр на самом севере области, платят «северные». Стабильный состав жителей, в том числе и интеллигенции. В смысле культуры — надеяться не на кого, добратся в Колпашево можно только самолетом, гастрольные коллективы не навещают. Наверно поэтому самодеятельность в большом почете. Скорей

всего, актеры имеют всякие поблажки вплоть до освобождения от работы с сохранением содержания. Советская действительность полна такими явлениями — спортсмены-любители все до единого профессионалы.

Колпашевский режиссер — абориген, студент-заочник Вахтанговского училища, парень тупой и необразованный, страстный рыболов и почитатель Софронова.

— Почему москвичи так не любят Софронова? Заелись?

Но нам Софронова все же не показали (повезло!). Угостили «Иркутской историей» про Вальку-дешевку, оказавшуюся очень дорогой, когда сошлась с другим. Это бывает...

В Москве нас «категорически» предупредили, чтобы мы о драматургии Софронова не высказывались и никому несогласованных мнений не навязывали.

К счастью, в Колпашево был еще коллектив школьников, к народному театру никакого отношения не имеющий. Ребята показали «В добрый час!» В. Розова. Этот спектакль я подробно и обстоятельно разобрал, похвалил за вкус и пожелал самодеятельным артистам стать коллективом единомышленников, как, например, театр «Современник» или журнал «Новый мир». Робкие аплодисменты вызвали мою бурную радость.

В Томской области голода не видел: капуста за квашено достаточно, есть сало, даже мясо в то время было, кое-где разрешают рыбачить — под видом воскресного развлечения, есть места, где

можно и поохотиться, особенно если ты не «рядовой труженик». Хлеб серо-пшеничный. Пьянство, самогонование, с которым милиция не справляется — иной раз ломают аппараты и выливают самогон, иной — пьют вместе с колхозниками, но «дела» никогда не заводят: своя жизнь дороже.

Немало записал сибирских названий, вроде: Кабырдак, Кизец, Ябейка, и частушек:

С неба звездочка упала
И блестит, хрустальная.
Полюбили мы Хрущева,
Как родного Сталина!

С неба звездочка упала
Прямо милому в штаны —
Пусть бы все там разорвало,
Лишь бы не было войны!

А вот эту услышал в московском интеллигентном доме, кажется, у кого-то из Покрассов:

Ах, огурчики,
Да помидорочки —
Сталин Кирова убил
Да в коридорчике!

Собирала меня в Томск Эда, я ей все уши прожужжал Вероникой, кончилось тем, что она спросила:

— Ты ее трахнул?

Сдержался. Сам виноват, так воспитал. Да нет, кроме меня было много «воспитателей» — и всё больше доценты да аспиранты, один даже профессор и лауреат, Женька Мищенко.

Расцветая улыбкой, Эда поделилась с моей соседкой Симой секретной информацией: за ее подругой Тamarой ухаживает сам Леонид Ильич. При этом она сказала нежно:

— Леонид Ильич всё понимает...

Тут я не выдержал:

— Мне противны все! Особенно бабы! Особенно те, которые нравятся Леониду Ильичу! А также те, которым это нравится!

Так под влиянием новых людей и новой культуры я стал по-иному смотреть на свою Эдочку.

Впрочем, и Вероня однажды высказалась в несвойственном ей лексиконе:

— Ты чего бабу зря обижаешь, зря ее томишь? Не знаешь, что ей нужно?

Кто-то из нашей рассерженной молодежи, типа Губанова, назвал Евтушенко Гапоном. Кличка прижилась, даже грозили сжечь на улице его чучело, знаменитый поэт дал сто рублей откупного, чтобы бросили эту затею...

Я написал лорду Расселу бестолковое письмо по поводу евреев, дескать, не одним евреям плохо, всем плохо. Жду неприятностей.

Шатуновский сказал о нас в печати, что мы «запаслись справками». Я тоже думаю, что многие носят звание душевнобольных незаслуженно. Никогда не замечал, например, ненормальности в Есенине-Вольпине, о Славке Репникове уже не говорю, правда, отсидев десятку, он стал изрядно выпивать, но это, так сказать, патология всеобщая.

«На Страстном бульваре на страстной неделе, обнимаясь страстно, мы с тобой сидели»... Проснулся, записал и снова заснул. Другой раз всплыло что-то вроде: «На Трубной площади услышал трубный глас». Надо бы записывать, но лень, а потом забываю.

Солженицын сказал, что «Зависти» Олеси не читал, но это ерунда, что он видит контрреволюционные сны, — человеку снится то, что его окружает. А этот оптимист, который пел по утрам в клозете, что его окружало? Обстановка первого десятилетия? Не так-то еще плохо...

— Когда я был зэком — не люблю несклоняемых слов в русском языке, я и во сне видел, что я зэк.

Я принес в Чапаевский пленку с Окуджавой, Солженицын целый час слушал.

— Настоящая поэзия... «Девушки за денежки»... — А взгляд невыносимо пристальный, я отвел глаза.

В Рязани, в Касимовском полуподвале, у него на правом столе бронзовая статуэтка зэка — прислали родственники заключенного-скульптора.

— Есть ошибка — зэк должен держать миску к себе, а не от себя.

Два издания «Денисыча» на японском языке: в хиросимской язве глаз Сталина, в другом овале — его грудь со звездой. В американском издании Сталин во весь рост, перечеркнутый двумя красными полосами.

Хозяин дома резкий, стремительный, даже укладывая спать, повелевает.

БАБА ФЕНЯ

Читаем с ней Евангелие — других книг она не признает, а мне тренировка нужна.

«Любовь никогда не перестанет, хотя и пророчества прекратятся и языки умолкнут и знание упразднится».

«Ибо надлежит быть и разномыслящим между вами, дабы открылись между вами искусные».

— Гусаров — так себе, — сказал Исаич, — а вот его бабушка — какая музыкальная речь! Мы же не говорим, а каркаем...

У бабки нет простонародного выговора, на украинском она отвыкла говорить.

— Попала я маненькая в пятнадцать лет в пьяную русскую семью...

Поволжского «о» у нее тоже не слышно, видно, царицынские, саратовские и астраханские не окали. Словом, церковные книги тому причина, или еще что, но только нашим вождям неплохо бы поучиться у нее русскому языку. Лишь однажды я услышал от старухи с приходским образованием украинизм:

— В Николаевке открыли нефть и бурлят ее, и бурлят...

Жаль, что я до Исаича не записывал ее выражений: «брыляет» означает брызжет, «набукла» — набухла, водой пропиталась. «Я не слышу ни-

чего, а тут заходит милиционер без стуку, без грюку» (Казакова она не читала, Блока тоже, но говорит: «А на улице такая вьюга поднялась».) Умер человек не слишком похвального поведения. Бабка, сжав губы, кивает сама себе и говорит:

— Пошел на пекло скворчать.

Видимо, уже в городской жизни услышала слово «бюст» (не вождя, а женская грудь), но поскольку их две, она говорит:

— Я тогда молодая была, бюсы у меня большие были. А турок на меня смотрит: «Карош москов, карош».

— На тебя? — переспрашиваю я с сомнением. Она скромно потупляет взор.

Как-то я на нее наорал, она отвернулась, разобиделась. А я поостыл, жаль стало старую, подошел к ней и поцеловал — чтобы обстановку разрядить.

— Ты чего меня целуешь, ведь сегодня не четверг...

— Причем тут четверг?

— В четверг Иуда поцеловал Христа.

(Кажется, это случилось в среду, но бабка тут ни при чем — так мне запомнилось.)

Любит бабуля рассказывать про младшего брата Георгия, умершего после австрийского плена, хотя, по словам бабки, жилось ему там неплохо, учил детей австрийского офицера. Но самый частый рассказ — про Палестину. Недели две хлопотала, да так, не дождавшись разрешения губернатора, и уехала. Почти год там про-

вела — из дому запаслась мешком муки да ведром постного масла, семья-то у них была — ни тебе движимости, ни тебе недвижимости, один только гнет вековой... (Поди-ка теперь попутешествуй.) Больше всего она говорит о Христе, о святых. Слушая ее рассказы об Иосифе Прекрасном, о Суламифи, о царе Соломоне, я принимаюсь донимать старуху:

— Бабушка, так ведь и Христос еврей.

Она, поспорив и попрепивавшись, в конце концов изрекает:

— Тогда, Володя, время такое было — все тогда евреями были.

Один из ее рассказов — про Николю-дурачка — я записал. Он был найден славными чекистами во время повальных обысков после ареста Якира. Потом, когда дело Якира-Красина закрыли, какие-то пустяки вернули, в том числе и бабкин рассказ (фотографии оставили на память). Сейчас я опять не могу его найти, видно засунул куда-то, так что буду передавать по памяти, по возможности, бабкиным слогом, а не своим «каркающим». Приятно сознавать, что он уже прошел цензуру, так же, как «Голос из хора» Терца-Синявского.

НИКОЛЯ — ДУРАЧОК

— И-и-и! Так ты что? Против властей? — бабушка неодобрительно мотает головой. — Власти — это дело не наше. Всякая власть от Бога!

— Понимаешь, бабуля, я давно чувствую, что хоть и не доживу, но на Старой площади еще будут выкидывать из окон письменные столы. Пузырь, сколько ни раздувай, а когда-нибудь да лопнет!

Бабка вдруг оживляется и говорит торопливым шепотом:

— Знаю! Это я лучше тебя знаю! Это еще Николя-дурачок предсказал! — и не дожидаясь моих расспросов, начинает: — Бегал Николя-дурачок по Слободе, как Василий Блаженный, когда и босой, когда и без шапки. Если кто похвалит его одежду — норовил снять с себя и отдать, но разумные люди старались его покормить и что-нибудь дать. Знали его и в Камышине. Цвиркуниха, его племянница, возила его туда к своей тетке, а его сестре. Они и родом оттуда, и реальное Николя там кончил — ученый человек по тем временам был! Тогда гимназии были только в Саратове и в Сталинграде (так именно она и сказала, но простим ей — полгода осталось бабушке до девяноста пяти). Поставили его начальником станции в Покровском, Энгельс теперь. Человек он был степенный, хотя и холостой, но... впал в буйство. Увезли его в Саратов, в дом сумасшедший, в Сталинграде такого дома не было, а мы, хотя и сталинградские, а нам одинаково — в Саратове и Маруся училась, и Георгий помер, и я в больнице лежала...

— Ой, бабуля, ты про это уже...

— Да... Пробыл Николя в Саратове лет пять, потом родственники получают письмо: заберите

вашего больного! Приехали. Там вроде как больница — и врачи, и санитары, и монахини. Говорят: буйствовать больше не будет, но и в ум не придет, хотя он, может, умнее нас всех. Врач однажды к нему подошел, за руку взял, ну, этот, пульс, щупать. «Как ты сегодня, Николая, спал?» — «Я спал здесь, а ты где?» Врача смущение взяло: как бы Николая не рассказал при санитарях, что он не дома ночевал.

Цвиркуниха, мать Кирика, ему племянница, так что он жил в нашем дворе, она ему печку отвела, потом пришлось скамеечку ставить, чтобы пришедшие могли с ним разговаривать: сколько, мол, проживу, да какой урожай будет, пора ли сына женить... Николая много не говорит — буркнет два-три слова и под тулуп. В Камышине, у другой племянницы его, родилась девочка. Окрестили ее, принесли и пошли в другую горницу — обмывать с крестными. Гуляли-гуляли, захотели взглянуть на дите, открыли, развернули белые новые пеленки, а дите все золой обсыпано. В углу Николая забился — ну, кому еще такое натворить? Спрашивают: «Николя, ты чего наделал?» — «Ничего не наделал, земле предал.» Через месяц девочка и умерла. Я еще замужем не была, чужих детей нянчила, да по улице с девчонками гойкала, у нас к празднику Казанской Божьей Матери готовились — в управе убирались, церковь наряжали. Николая заглянул в управу и сказал: «Романовы блины печь собираются!» Потом в церковь сунулся: «Романовы блины печь собираются». Никто из уборщиц в толк не

возьмет, что он бормочет, а он опять свое; да так ясно, громко сказал: «Романовы блины пекут!» Тут уж сомнение многих взяло: какие блины? какие Романовы? Пошли в управу, а там уж служащие собрались, у них только что депеша получена: государь скончался. Блины пекут — значит, к поминкам готовятся... Меня он звал Федопся Андревна, а я уж, бай дюже, как зовет, так и зовет. Когда наши собрались в Палестину, бумаги исправнику подали, я уже вдовая была, муж мне книжку оставил, я струмент продала, а сама шила да свекру гробы красила — сколько раз в гроб ложилась, если покойница моего росту, мне теперь в гроб ложиться не страшно, лишь бы не палили, а то как перед Господом предстану — в виде золы?

— Бабушка, не отвлекайся, ты же про Николю начала!

— Зовут меня с собой богомолки, у них уже разрешение, я тоже подала, но мне нету ответа, потом я узнала — губернатор в Курскую губернию запрашивал, Гусаровы оттуда приехали после воли... Пошли мы к Николе, спрашиваем: «Поедет ли Андревна в Палестину?» Он голову высунул: «Без Федопси Андревны не уедете!» Ан уехали. Не дождалась моей бумаги. Одна на пароход садилась. У меня и баулы, и узлы, и ведро с мешком. А тут пожилой еврей говорит, что билет нужно закомпосировать, а то без места останешься. И обещал вещи мои постеречь. Я тогда молодая была, не знала, что евреев нужно остерегаться, и оставила его стеречь.

— Ну и что?

— Ничего, постерег, пока я компосировала... Приехала в Одессу, а наши там — турок воспы боялся и карантин сделал. Опять по-Николиному получилось — «без Андревны не уедете». В Одессе мне писарь говорит: «Почему губернаторского разрешения нет? Может, ты малолетнего сына бросить хочешь?» Я и не знала, что говорить, а Маруся дала ему три рубля, он и понял, что не брошу, и написал бумагу. Посадили на пароход, џинокель дали...

— Бабушка, ты про Палестину сто раз рассказывала, говори про Николю!

— Ну, а я про кого? Одному купцу, Кириенкову, в его же саду на его скамейке написал и день, и месяц, и год — он в этот день и помер... Когда ерманская началась, Павлючиха, мельничиха, аж за двадцать верст к Николе ходила — Павлюка на войну взяли. «Николя, когда война кончится?» — «Третьего ноября». Пришло третье, пятое, десятое — война не кончается. Потом прислали Павлючихе пакет, там написано: «Ваш муж убит третьего ноября». Вот и выходит, что для него и для нее война кончилась. Шуба у Николи была овчинная, ее не в ту краску макнули, красная она стала, ее и подарили Николе, он ей укрывался и в холод надевал. Холодно еще было, приходят люди, а Николя всю шубу разодрал, делает из волосков пучочки и перевязывает их. «Ты зачем это, Николя?» — «Скоро много красных бантиков нужно будет! Нужно побольше...» И верно! Прошло недели две — царя скинули,

пристава об столб головой зашибли, и все красные бантики нацепили — кто на грудь, кто на картуз. Много бантиков понадобилось... Даже сахарозаводчик Курылев, сурьезный человек, и тот бантик нацепил. После перевороту пропал он — жену с детьми бросил и убежал, а, может, и сгинул. Года через два пришел к Курыльчихе вдовец свататься, а она не знает: чи вернется хозяин, чи нет. Пошла к Николе, спрашивает: «Увижу ли когда сваво Афанасия Петровича?» — «Ни его, ни могилки его». И пошла Курыльчиха за вдовца. Я потом не раз спрашивала и в Камышине, и в Слободе: «Не объявлялся ли Курылев?» — «Нет», — говорят. Как-то увидел меня Николя с Николаем, маненьким, три года ему было, но сам ходил, за руку его вела. Николя посмотрел на нас и говорит: «Дети у нас великие, больше нас выросли, ба-альшие люди стали!» И что ты скажешь? Николай каким начальником был! Свой вагон имел, самолет свой, и Ворошилов, и Маленков, и Шверников в гости приезжали, про них и в календарях написано было. Хоть недолго, а поцарствовал... А Василь Васильича и вовсе в кремлевской стене палили, с самыми большими секретарями. Еще когда отец на Урал полетел, я вспомнила Николины слова: «Дети у нас великие, больше нас выросли». Когда деникинцев прогнали, в Камышин Троцкий приезжал на красной трибуне выступать — народу бежалось — тьма!

— Ты не путаешь, может, это Сталин приезжал?

— Нет, Троцкий. Сталин сзади тогда стоял, должно, слушал и проверял. А уж потом, когда его ругать стали, бабка твоя, Андреевна, божились, что видела у Троцкого под фуражкой рожки, маненькие такие, совсем не видные из-под волос, приглядеться надо. А Николая шнырял в толпе и все приговаривал: «Повернулась бочка вверх дном. Придет время — на место встанет!» А на трибуну и не глядит, только раз и сказал: «Коммунары... комиссары... Еще горло друг другу перегрызете!» И ведь правда! Чиво только я по радиву о Сталине ни слыхала: урожаем его и солнышко его, а теперь и схоронить где, не знают. А я и тогда думала: «Ну, великий человек, ну, спасибо ему, но чтоб вместо соньца почитать — это еще зачем?» И еще я вспомнила Николаю, когда погоны надели — бочка-то на место становится! Похоронили Николаю в двадцать третьем, рядом с отцом Василием, хотели угодником Божьим объявить — не велели. А потом и церковь сломали, и кладбище срыли для культуры и отдыха. Только на том месте, где Николая схоронен, ну точно! — там клумба получилась. Угодник он и есть, как ни верти! И я тебе скажу — и не доживем, а будет все, как Николая-дурачок говорил, он ни разу не ошибся. Только ты, бай дуже, никому не говори, а то меня затаскают к Сугинту (Сугинт — уполномоченный ЧК в первые годы революции, мужики и тогда говорили: «С твоим языком к Сугинту попадешь»). Не говори никому, а то я тебе, аминь-каменючка, ничего больше не скажу, хоть убей, хоть разрежь...

А Николины слова запомни: «Повернулась бочка вверх дном — придет время, на место станет!»

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Отец помог устроиться помощником режиссера в московской редакции. Впрочем, стоило мне отказаться от функций агитатора на выборы, все тотчас поняли, что я чужак и контрик, хотя с удовольствием продолжали слушать в моем исполнении Коржавина и Галича. Я играл за телецентр в шахматы на первой доске и выиграл у психиатра из Соловьевской больницы. На повышение меня не выдвигали, но в передачах занимали охотно, так что в метро и на улице до сих пор узнают — когда я бываю без бороды.

Чем хорош телевизор? Посмотришь — и маму вспомнишь, те же передачи шли, когда она живая была, некоторые ленты по пятнадцать лет крутят. И сам был молодой, и любимая жена еще не ушла...

— В кулуарах все говорят о политическом и экономическом кризисе, а с трибуны — о поступи коммунизма, — сказала Галина Чистякова, парторг нашей редакции.

Она же в другой раз:

— При Сталине — ленинское руководство, при Маленкове — ленинское, при Хрущеве — ленинское, и теперь — ленинское! Да что они нас — за дураков считают?

Но та же самая Чистякова приглашает выступить Софронова и возмущается:

— А кто не любит Софронова? Снобы!

Заместитель главного редактора Иван Иванович Съедин, пьяница и номенклатурный прохиндей, оказался в Чехословакии в то время, когда скинули Хрущева.

— Чехи возмущаются. Методы осуждают. Не могут понять, что не все можно делать открыто — у Хрущева на письменном столе есть такая кнопка, что нажал бы, и такая тут тебе демократия началась бы! Не понимают этого чехи, не понимают, возмущаются...

Редакторы, как правило, люди безграмотные, о режиссерах уж не говорю, хотя, возможно, кто поумней, тот помалкивает. Редактор Марголин, человек как будто прямой и не глупый, говорил, что «Пережитое» Дьякова выше, чем «Иван Денисович».

При падении Хрущева все пережили легкий шок, но радовались только такие антисемиты и карьеристы, как Съедин.

Забавный эпизод: режиссер Швабрин, чьим помощником я был, поручил мне найти что-нибудь о Пизанской башне, кто-то надумал рассказать о проекте советских ученых по спасению сооружения. Не имея в этом деле достаточного опыта, я долго рылся в архиве и вдруг нашел ленту, рассказывающую о посещении Пизы А. Н. Косыгиным, только что ставшим председателем Совета министров. (Все материалы, где фигурировал Хрущев, в этот период тщательно изымались.)

Я был счастлив порадовать наших деятелей своей находкой и сообщил, сияя, что будет не просто падающая башня, а еще и с новым премьером. В комнате воцарилась мрачная тишина. Редактор Нина Носкова медленно отчеканила:

— Ну вот, мы сами культ создаем.

Пизанскую башню показали, но Косыгина вырезали.

Та же Носкова возмущалась фильмом «Обыкновенный фашизм»:

— По Ромму получается, что евреи — это совесть второй мировой войны, но разве это так? Они сами виноваты, что их уничтожали — почему они не сопротивлялись.

«Когда они стали сопротивляться, так тут же оказались агрессорами», — подумал я про себя, но промолчал.

Посмотреть этот фильм на телевидении мне так и не удалось, мешал фашизм, освященный Ролланом и Фейхтвангером. Главный редактор Мушников был таким же сталинистом, как и Съедин, но еще более безграмотным. Несмотря на это, относились к нему с уважением: инвалид войны и не лезет «подремонтить», как Съедин, беззастенчиво использовавший свое служебное положение. К тому же аккуратист, трезвенник. Когда он умер, его искренне оплакивали. А такие типы, как я, на телевидение попадают крайне редко и держатся там не долго.

ЗНУИ

ЗНУИ — Заочный народный университет искусств — находится в Армянском переулке. Я хотел стать театральным педагогом, но на Левобережной, в техникуме, узнав, что я не член партии, долго со мной разговаривать не стали. Правда, директор посоветовал звонить, но я понял, что толку от этих звонков не будет.

Наконец, бедный папа, все мечтавший найти мне такую работу, в которую я ушел бы с головой и «перестал бы позорить его седины», помог мне «воткнуться» в ЗНУИ. Чувствовал я себя там очень неуютно. ЗНУИ — хозрасчетное, однако полностью подконтрольное учебное заведение. Учиться могут все желающие — только денежки плати. Учащимся высылаются литература, даются письменные консультации. Аттестат никаких прав не дает, разве что на какого-нибудь малограмотного директора клуба произведет впечатление.

Есть там интересный и мощный факультет — живописный. Действительно, здравому смыслу это не противоречит — и пионер, и пенсионер могут под контролем педагога писать свои ноктюрны, виноват, натюрморты, отправлять бандеролью в адрес ЗНУИ и получать в ответ оценку, отзыв и следующее задание. Сложнее обучать заочно игре на балалайке, или, скажем, исполнительскому и режиссерскому мастерству. Конечно, и «мастерам художественного слова» высылаются пособия, пластинки, наставления, но

уж как они там со всем этим справляются, никого не касается. Вполне возможно, что отец не выговаривает половины звуков русского языка, но это его личное дело. Плати деньги и учись. Были случаи, когда числился один, а свидетельство получал другой: за учащегося давно отвечал брат или сосед. А в общем, пусть учатся, кому от этого плохо? Советская власть все кичится своим бесплатным образованием, а тут — за свои кровные и без всяких прав...

Но нет! Пришла райкомовская комиссия — многим партийным пенсионерам делать нечего, а коммунизм достраивать надо, вот и направились нас инспектировать. ЗНУИ залихорадило, всполошилась и дирекция, и педагоги — комиссия установила, что наше учебное заведение окончил один заключенный — скандал! Этот случай удалось уладить: заключенный оказался отличником трудовой и политической подготовки, не контрик какой-нибудь, обыкновенный вор, и учился с разрешения начальства (а как еще можно?), но другой замять не удалось и оправданий для него никаких не нашлось. В Луганске жил священник, Торундо Лев Никитович, посмевавший окончить театральный факультет ЗНУИ и поставить чуть ли не «Кремлевские куранты» с самим Лениным. Скрывая свою истинную сущность, он присылал высокоидейные ответы по марксистско-ленинской эстетике — что это, как не поношение? И как он еще воспользуется в дальнейшем полученными знаниями?..

Народ здесь не такой, как на телевидении, — там отдел кадров работает весьма внимательно, а здесь эту должность исправляет по совместительству завхоз. Такое попустительство привело к тому, что в ЗНУИ пробралось много людей нервных, озлобленных, лишенных перспективы. В день полочки отправляются «в разлив» чуть ли не всем коллективом (директор с подчиненными не пьет), но язык держат за зубами даже в пьяном виде.

Приняли меня настороженно — что за птица, да еще на девяносто? Есть правда и такие, кто получает больше, но это не зарплата, выколачивают «часы», ФОПы. Где-то наверху придумали Факультет общественных профессий при вузах, хотя ни смет, ни программ этим факультетам не дали, просто такая лазоревая идея: учится человек на агронома, преподавателя или врача, а попутно совершенствуется на баяне. Получит удостоверение с «корочкой» — направят его потом в какую-нибудь тьмутаракань, и пожалуйста — село получит как бы двух специалистов в одном лице. Культура, так сказать. Чуть ли не съезд по этому поводу провели — уж больно понравилась выдумка — город несет деревне просвещение и искусство! Днем он, молодой специалист, недужных врачует, а вечером руководит танцевальным кружком при клубе (вот только захочет ли крестьянин лечиться у балетмейстера?). Эту проблему — как агроному руководить хором — я и разрабатывал за свои девяносто рублей в месяц, попутно выполняя другие пору-

чения учебной части, то есть, помогал тем, кому делать нечего.

Дело бы нашлось — можно было бы организовать кино-фото факультет, но министерское начальство предпочитает балалаечников и народные танцы — черт его знает, чего они там наснимают без должного контроля, а ты потом расхлебывай! Я еще идею подкинул: литературный факультет открыть. Пошел в Литинститут, оказывается четких программ, как писать повести, романы, поэмы и пьесы еще не разработали, сами занимаются лабораторными исследованиями, а в заочных консультациях тем более невозможно растекаться мыслью по древу, нужна четкая инструкция: первый год пиши сонеты и патриотическую лирику, второй — баллады и поэмы, третий — романы. Заведующий учебной частью сказал мне:

— Бросьте эту идею: вас графоманы завалят такой антисоветчиной — рады не будете. Мы знаем, что собой представляет вольное творчество — или бред, или антисоветчина...

Ошивался в ЗНУИ студент архивного института, заикающийся сталинист Володька Прокопенко, сын шепиловского архивного начальника. У нас он числился архивариусом, хотя архив находился на Ленинских горах, а он в Армянском. Прибежит с утра, соберет все сплетни, расскажет анекдоты, скажет что-нибудь вроде: «Блестящая победа советской науки — американский космический корабль потерял курс и вынужден был прекратить полет!» и умоляется: где-то еще

подрабатывает. А если останется, так обязательно надерется к вечеру. При Хрущеве его в стенгазете нарисовали с усами — Сталина он просто обожал и не скрывал этого. Однако в сумасшедший дом его не сажали, разве что в наркологическое отделение, и партийность его никто под сомнение не ставил.

Однажды я обругал его по пьянке, но, как правило, терпел: не люблю таинственных политиканов, а этот весь как на ладони: даже гордо носил чекистский значок с мечом, но такой «заговора» не раскроет, хотя и спорить с ним не умно — ему важна не идея, а власть. Я зашел к нему, когда стало ясно, что Светлана Аллилуева драпанула. Его не было дома, открыла какая-то бабка. Письменный стол и книжную полку украшали многочисленные портреты бывшего вождя, на видном месте красовалось известное фото: Сталин с дочерью Светланой.

Больше всего интересных людей было на живописном факультете — Закин, Аксенов, Митурич, но они были заняты своими проблемами, выпивкой не увлекались, доверительных бесед не вели (немного откровеннее стали уже после моего принудительного «лечения»), словом, являли собой тип настоящих интеллигентов, и об их убеждениях я догадывался даже без разговоров. Были такие люди и на музыкальном факультете.

Ближе всего я сошелся с педагогом-живописцем З. (он был знаком с женой Терца). Человек он был талантливый, но разбросанный. Думаю, что он довольно точно выражал общее настроение.

Мною занималась Дина Яковлевна. Чем-то, кажется, стелазинном, отравила меня, появились судороги, рвоты. Целовал ей руки, чтобы отменила. Потом вернулся из отпуска Феликс Енохович (персонал звал его Енукович) Вартанян, заведующий отделением, но мне легче не стало: таблетки отменили, стали колоть. Я себя знаю: мне обычно достаточно недельку-другую полежать, усталость выгнать, а там я берусь за швабру и даром больничный хлеб не ем. Но в этот раз было не так — «лечение» валило с ног. Да я еще и сам невольно им помогал: как кончится ужин, просил снотворное, чтобы никого не видеть и ничего не слышать. Тогда еще никакая общественность не оказывала давления на исполнителей лечебных репрессий, надеяться было не на что. Правда, однажды Гершуни пришел меня проведать и крепко полаялся с Вартаняном, тот даже разволновался и стал уверять, что нет тут никаких репрессий, подавления и расправы, просто я больной человек и требовать моей выписки — неправильная установка. Да и кто ж у нас смеет требовать? Эда тоже приходила. Навещали Знамеровский, Гевондянц.

Поначалу меня еще развлекали матчи на первенство мира по футболу, хотя вообще я к этой игре равнодушен, но тут от тоски смотрел. Перед финальным матчем художник-мультипликатор Эдик Траскин, рисовавший шаржи для «Советского спорта», устроил лотерею — нужно

было угадать результат и счет матча Англия-Португалия. Каждый называет предполагаемый счет и кладет в общую кучу сигарету. Другие болельщики накидали по три, четыре, даже по пять сигарет, а я положил всего одну. Все были уверены в победе Португалии, у них играл всеобщий любимец Эйсебио, а мне хотелось, чтобы победила Англия, государственному строю которой я давно симпатизировал. Сначала я написал 1:0, но потом вспомнил про Эйсебио и переправил: 2:1 в пользу Англии. Выиграл всю лотерею — тридцать или сорок папирос. Кроме меня на Англию поставил еще кто-то, но среди других прогнозов, да и в счете он ошибся. Я с волнением слушал английский гимн, который дружно исполнял весь стадион во главе с королевой, весьма красивой женщиной, и думал: что же наши-то станут петь, если советская команда выиграт в Москве?

Первый месяц я с грехом пополам держался: играл с фельдшером Лешей в шахматы и перепечатывал для персонала «Таньку» и «Наивность», но потом совсем сдал. У нас в отделении лежал Калашников, он принадлежал к СМОГам и напоминал принудчика, но сам здоровым себя не считал, во всяком случае верил, что лечиться ему нужно, я же чувствовал, что для меня все это добром не кончится. Песни больных тоже не веселили:

Я один в этом шумном дурдоме,
Ни друзей, ни товарищей нет...
Только сон, мертвый сон да уколы,
Вот и все... Да от Бога привет...

Вновь поступил Э. Траскин, на этот раз в тяжелом состоянии. Еще недавно он пел загадочную песенку:

Здесь меня давно никто не ждет,
Моей вдове совсем иное снится,
А я иду по деревянным городам,
Где мостовые скрипят, как половицы...

Две недели назад его выписали, был, как будто, здоров, но дома потерял сон. Теперь он целыми ночами слоняется по коридору, а днем лежит с опущенными веками и полотенцем на голове. Как-то среди ночи я вышел по малой нужде, сонный и уверенный, что вернусь в свою койку и снова усну, но Траскин подошел и начал что-то бубнить, как индюк, — дикция у него такая, что разобрать ничего невозможно, но любит рассказывать длинные истории. Я не вслушивался, просто кивал для приличия между двумя затяжками. Вдруг услышал: «обыкновенный фашизм». Понял, что больше мне в эту ночь не уснуть.

С утра выхожу в коридор, прислоняюсь к стене и терпеливо жду, пока принесут клей и картон — коробки клеить. Раньше не стал бы заниматься такой работой, а тут хоть чем-нибудь время убить. У телевизора больше не сижу, журналы

не листаю, даже мимо шахмат прохожу равнодушно... Тихий и тупой...

На прогулке не разговариваю, ничем не интересуюсь, никому не улыбаюсь, ничего не вижу. Вдруг подходит ко мне наша бывшая соседка Серафима Ивановна Халямина. Ну что ж, пришла навестить, как-никак с раннего детства меня знает... Женщина она одинокая, свободного времени хватает. А то, что в органах работает, так никто из этого секрета не делает — вернувшись из Парижа и отгуляв отпуск, Сима идет на работу не в Министерство иностранных дел, а на Лубянку, на площадь Дзержинского. Да и что из того? Мало ли там технических работников. Она и французским языком владеет, и на машинке печатает, и стенографию знает. Понятно, что штаты советских посольств формируются из сотрудников Лубянки. А Сима сколько раз помогала мне заправить ленту в машинку, или почистить, и никогда не интересовалась, что я печатаю. Так же, как я не интересовался, что она печатает. Вот и проведать пришла. Когда бабушка ногу сломала, она и к ней в Кунцево ездила, а уж вряд ли бабкой могут интересоваться органы.

Сима сует мне яблочки и испуганно спрашивает:

— Что с тобой стряслось?

— Да вроде бы ничего, — отвечаю я вяло. — Надеюсь, ты не замечала за мной странностей?

— А может... — она, кажется, не решается высказать «догадку», — может, ты высокой политикой занялся?

— А при чем же тут лечение?

Сима предлагает — вроде бы по своей собственной инициативе и исключительно из любви ко мне — познакомить с очень хорошим человеком.

— Только ты ему все как на духу!

Очень трудно допустить, что человек, столько лет проработавший в органах, десять лет проживший в Париже (а соблазнов всяких там, наверно, хватает, но Сима всегда была безупречна), вдруг решил проявить какую-то инициативу, особенно в деле, связанном с «высокой» политикой.

На следующий день она явилась в совершенно неурочный час и представила мне мужчину лет сорока.

— Скобелев Анатолий Павлович.

Добрый дядя не только не поленился ехать в сумасшедший дом к какому-то чужому человеку, но еще, несмотря на всю свою занятость, прибыл незамедлительно. Сима попятилась к двери и как-то незаметно испарилась.

— Вы действительно изъявили желание встретиться с представителем КГБ? Я вас слушаю.

Я сказал, что готов отдать им свой личный архив при условии, что буду немедленно освобожден, потому что чувствую, что скоро в самом деле сойду с ума. Скобелев возразил, что врачам виднее, сколько кого лечить, однако заинтересовался, что там у меня в архиве.

— Я знаю, что вас интересует: «Докладная записка». Признаю, что я ее автор, готов даже доказать это и отдать оставшийся экземпляр.

Скобелев, «желая облегчить мне задачу», предложил просто указать место, где я храню архив.

— Вы не найдете. Я ни в чем не раскаиваюсь, но хочу такой ценой купить свободу. Вы мне свободу, я вам архив.

— Может, он зарыт в саду?

— Нет. Не трудитесь, не найдете. Только я сам могу принести.

В виде гарантии Скобелев потребовал от меня расписку (это от сумасшедшего-то!), что я обязуюсь такого-то числа представить архив. Я написал. Тут же была проставлена дата, из чего я заключил, что «согласовывать» мою выписку не требуется. Скобелев, видимо, не обратил внимания на эту деталь и несколько раз подчеркнул, что дело сложное, «наверху придется беспокоить».

Тогда мне было не до смеха, но нужно было послушать, как мы торговались! Скобелев настаивал, что поскольку я буду выписан пятнадцатого, то в этот же день должен указать архив. Я сказал, что это день моего рождения и, если уж мне суждено в него выйти, то буду праздновать и «в дело употреблен быть не смогу». Шестнадцатого — пожалуйста. Но чиновник вспомнил, что шестнадцатое воскресенье, не положено работать. В конце концов помирились на семнадцатом.

Разговор этот состоялся тринадцатого, а пятнадцатого меня действительно выписали, хотя еще три дня назад Вартанян уверял, что я очень больной человек. Теперь он что-то долго и нудно говорил и закончил словами:

— Но если вы так настаиваете, мы вас выпишем.

Я давно перестал не только «настаивать», но и умолять оставить меня в покое. От кого к нему поступили указания, Вартанян не стал упоминать.

Дома меня навестил фельдшер Леша и рассказал, что в тот день он спросил Вартаняна:

— Как же это получилось? Поступил к нам Гусаров здоровым, а выписывается больным...

— А! Эти судебные больные... — Вартанян поморщился, махнул рукой и отвернулся.

Леша попросил у меня Цветаеву и Мандельштама, я дал с радостью и еще насильно всунул ему Веру Фигнер с автографом. Не знаю, чем я тогда думал.

Позднее я решил, что пожалуй не стоил того, чтобы так откровенно раскрывать столь тесные связи карательных органов с лечебными — политзахоронение с помощью здравоохранения. Возможно, они рассчитывали обнаружить что-то Солженицына, какую-то часть его архива. После выписки слежка за мной не прекращалась ни днем, ни ночью. Когда Скобелев пришел за архивом, я выложил на стол увесистый пакет — у меня даже не было сил развязать и «почистить»

его. (Володя Гершуни принес мне на несколько часов Аржака, но я не мог читать).

— У бывшей жены хранили? — с торжеством спросил Скобелев — дескать, от нас ничего не укроется.

Любят они похвастаться своей сверхъестественной осведомленностью, хотя ничего чудесного в ней нет — слезка стоит огромных средств, но чего их жалеть, они ведь народные! Я много шлялся в эти дни, одних только забегаловок сколько обошел, к жене зашел буквально на минутку, сколько же надо было за мной протопать сотрудникам, чтобы Скобелев мог с эффектом произнести:

— У бывшей жены хранили?

Да ведь и не дома, а на работе, среди историй болезней (так глубоко проникнуть не хватило административного восторга), бывшая жена ни Оруэллом, ни Набоковым не интересуется, ночь она не потратит ни на какую книгу, тем более такую.

Скобелев велел писать «объяснение». Он диктовал, а я своей рукой писал. Но не было сил. То и дело приходилось откладывать ручку и залезать под одеяло. Помню только, что по стилю это объяснение очень напоминало то, что писал Брокс-Соколов.

Я не верил, что когда-то у меня были мышцы, мне казалось, что даже кровь у меня в жилах останавливается от немочи. Хотелось только одного — погасить сознание. Если бы можно было что-то принять и терпеливо ждать смерти, но

нет, нужно было терпеливо жить. Я лежал против телевизора и не отличал драмы от комедии, все равно было, что там — репортаж с завода «Каучук» или КВН.

Тащился к бывшей родне, там тоже был телевизор, сидел перед ним, ничего не понимая, и думал, как выпросить у бывшего тестя снотворное. Вернувшись домой, глотал все сразу, не хватало терпения собрать столько, чтобы заснуть навсегда...

Скоро снова явился Скобелев и столкнулся с отцом. Я не стал их знакомить, но, кажется, в этом не было нужды. В больнице я отказывался от свиданий с отцом (пока еще мог что-то понимать и изъявлять свою волю), но в день моей выписки он почему-то пришел домой, на Сокол, значит, знал, где я и что со мной происходит. Я сам пятнадцатого утром вовсе не был уверен в том, что выйду.

Скобелев заявил, что над ним все смеются — даже текста «Докладной» не оказалось. Шесть экземпляров «Дела Бродского», «Письмо к старому другу», обсуждение книги Некрича «Июнь 1941-ого», разрозненные главы «Нового класса» Джиласа (у меня сложилось впечатление, что Скобелев, хоть и приставлен к литературе, но Джиласа не читал. Каждый раз, натываясь на него, он спрашивал: «А это чье?») Оказалось и несколько глав «Мы» Замятина, перепечатанных по просьбе Исаича (все его письма конфисковали, конфисковали даже письма Твардовского и Драбкиной, остался только написанный его рукой

перечень глав из Замятина на маленьком листке бумаги да пересланный мне в Кашенко во время чехословацких событий «Денисыч» с автографом). Было в пакете несколько рецензий на Солженицына, самая объемная — лауреата государственной премии В. Л. Теуша, ныне покойного, в «Литературке» его назвали: некий Теуш. Чему тут удивляться, когда нынче академику Сахарову инициалы в газете не проставляют.

Чтобы избавиться от Скобелева, я назвал библиотекаршу Нину и М. В. Гришина, директора клуба Министерства финансов, как возможных хранителей «Докладной записки». Скобелев сел в собственную машину и укатил. Кстати, у Варганына тоже имеется собственная машина.

Меня на время оставили в покое. Я даже попытался переписать свое сочинение, но не хватило сил. Хозяин экземпляра на моих глазах, не выходя из комнаты, порвал и сжег его.

Я до сих пор не в силах признаться Михаилу Васильевичу, что заложил его, а он, конечно, не догадывается — вера во вездесущие органы такого, что их осведомленность ни у кого не вызывает удивления. Легче подозревать каждого второго сотрудника, чем предположить самое простое.

Административных последствий для них не было: Нина свой экземпляр отдала, а член КПСС Гришин заявил, что уничтожил «Докладную записку», когда Гусаров признался, что сам ее сочинил.

— Да как вы могли поверить в этот пасквиль?! Выходит, что работники КГБ требуют

репрессий? Чего он хочет, этот Гусаров? Натравить интеллигенцию на чекистов? Да и в состоянии ли этот психопат написать такое? Не стоит ли за его спиной кто-то другой?

— Нет, он вполне мог написать... А мы поверили, потому что... Мы не должны допустить нового тридцать седьмого...

Позднее Гришина вызывали в КГБ и в КПК, где с ним беседовали такие же тусклые и непроницаемые чиновники, как Скобелев, не брезгуя и шантажом:

— Кто вас рекомендовал на должность директора клуба?

Сами они получают по пять сотен, а на оклад в девяносто рублей особые рекомендации не требуются, у Гришина беспартийные уборщицы получают больше его. Клуб его один из самых лучших и популярных в Москве, и не случайно — Гришин пропадает там с утра до ночи. Такого директора поискать. Года два назад его все же исключили из партии, причем бумагу зачитали в КПК, и не только не позволили ознакомить с ней «товарищей по партии», но и сами обсуждать не стали, молча отобрали билет и проводили к выходу на Старой площади. Сейчас Михаил Васильевич бедствует, перебивается случайными заработками, но это уже не моя вина, хотя и я принял в этом деле посильное участие: приложил к посылке в Целиноград очерки М. П. Якубовича, но об этом никто не знает, и я надеюсь, читатель меня не выдаст.

Я должен был бы для занимательности описать больничную обстановку и людей (в частности, в нашем отделении был Карен Мелькумов, упомянутый в «Палате» Тарсиса), но мне и сейчас страшно вспоминать, до какого состояния довели меня «люди в белых халатах»...

Правда, потом мне помогли подняться на ноги — положили в Покровское-Глебово, единственную больницу в стране, где к больным относятся как к правовым субъектам. Там гуляли без надзора и порошки глотали сами, даже в город можно было отпроситься — по бюллетеню, скажем, получить или внести квартплату. За табаком и за сахаром я вылезал в заборную дырку, через нее же возвращался обратно.

Лечение мне там назначили страшное — инсулин, но я не мог привередничать, оставалось только надеяться... Когда я выходил из шока, мне казалось, что я умираю. Я был счастлив: отмучался. «Товарищ Сталин, разрешите восво-яси», как сказал один католический священник, умирая на лагерных нарах...

Сейчас, я думаю, буду счастлив, даже если придется умереть в тюрьме или соответствующей больнице. В первый день Пасхи в семьдесят первом году меня задержали возле дома Якира и продержали в отделении милиции всю ночь, но при мне оказалась только записная книжечка с хохмами вроде: «Один на льдине и сам себя боюсь». Для оформления, наверно, показалось маловато — ни Самиздата, ни листовочки. К тому же я час отказывался назвать себя — положение

делалось все более комичным: ведь надо хоть как-то объяснить причину задержания. В конце концов порешили: «Шатался, обозвал жандармами.» Действительно, обозвал, но уже будучи впихнут в милицейскую машину. Впрочем, в интересах дела причину и следствие можно поменять местами — следствие не подведет...

Я счастлив, что, несмотря на безалаберную жизнь, «шатался» около истории — хотя и не в самый светлый период ее — был знаком с Якиром, дружу с Григоренками, был в хороших отношениях с Хаустовым, Верой Лашковой. Если я и лишился возможности играть на сцене, то меня ценили как актера такие люди, как Буковский, Сахаров (он слышал меня, когда Григоренко «встречали после долгого отлучения от нас»). Теперь мне не кажется, что я один на льдине и сам себя боюсь.

— Да, ты больной человек, и напрасно этим пользуются всякие Якиры, — сказала Эда.

Но как тут вылечиться, когда «госпитализируют» на пятидесятилетие Октября, на ввод войск в Чехословакию, на пятидесятилетие СССР. На столетие Ильича — «Лукича», как говорят в народе — даже два раза навевывались из диспансера: «Не хотите ли полечиться?» И нет, чтобы хоть из приличия спросить про «голоса» или видения какие-нибудь, сразу: «Не собираетесь ли чего-нибудь предпринимать до девятого мая?»

Эде не понравилось, как мы высказываемся о психиатрах — обиделась за свой цех.

— Зря издеваетесь над врачами — вас КГБ лечит.

Психиатр Евменов высказал такое соображение:

— Владимир Николаевич, неужели вы думаете, что Сербский, то есть Лунц, признает вас вменяемым? Попадете года на три, а то и больше, а у нас вы за месяц-другой отмотаетесь...

И ведь верно — они меня, сколько могут, защищают. Юбилейную тянучку отмечал дома, а за последние два года, если не считать инфаркта, в больницах не лежал.

Находились и тогда сочувствующие, которые пытались меня растормошить, но всё без толку. Я был так залечен, что целый год не включал Лондона, не делал записей в дневнике, ничего не читал, даже на звонки не отвечал.

Я долго звонила и долго стучалась,
В закрытые окна глядеть порывалась —
Лишь ясень скрипел, как скрипят половицы,
Газетой заклеены окна-глазницы, —

написала Наташа Гевондянц.

Мне понравилось про газету — вся наша жизнь заклеена газетами. Но оказалось, что это не только эпитет или метафора (так я и не научился отличать одно от другого), бабка на самом деле заклеила окно газетой, чтобы «соньце не брыляло». Когда моему прапрадеду Ваньке Гусарову было одиннадцать лет, волей государя Александра Николаевича он перестал быть рабом. Но не успели мы еще вжиться в образ свободных

людей, как нам в рот сунули газету «Правда» и апрельские тезисы, чтобы год за годом, с утра до ночи, мы их жевали и белого света не взвидели...

— Возьмите меня к себе работать, — попросил я Скобелева.

И несколько не шутил. Вот Семичастный, говорят, чуть не плачет, жалуется: нет времени *настоящую* книгу прочесть. Действительно, кому такую работу поручать? Посадишь советского человека читать подпольную литературу, он и растлится. А мне это уже не грозит. Буду по долгу службы штудировать всяких Кестлеров и Оруэлов, заводить карточки, составлять аннотации...

— Вы любите писать, — сказал Скобелев хмуро, — так пишите о театре. О Сумарокове, например...

Почему о Сумарокове, а не о Хераскове или Капнисте?

На первомайские праздники Наташа Гевондянц увезла меня в Ленинград, где я никогда прежде не бывал. Нас провожал балетмейстер Янкин.

— Наташа, тебе не надоело возиться с трупом? — спросил я в его присутствии.

По сырому городу сновали толпы людей с такими же пустыми как у меня, глазами... Со стен смотрели портреты со звездочками героев.

Что для нас Спарта, что для нас Троя — Брежнев с Косыгиным наши герои.

— Ох, Боже мой, верно, ведь они все герои! — прыснула Наташа.

Когда-то я мечтал побродить по улицам, которыми ходили Желябов с Перовской, найти место, где Ильич скрывался от Надежды Константиновны, посетить кладбище, где похоронены Петр Великий и Римский-Корсаков, но в теперешнем моем состоянии мне было решительно все равно...

Могила Плеханова заброшена, одна тумба упала, зато могилы Ульяновых в полном блеске — «государственное захоронение». В Петергофском дворце, в спальне императрицы, бюст Ленина. Лежала тут, значит, Екатерина II и созерцала грядущего вождя...

Шлиссельбургская крепость закрыта на ремонт. Мы зачем-то съездили в Гатчину — во дворце какая-то фабрика, полюбовались на зеленую статую Павла и — назад.

На Марсовом поле вечный огонь (тогда еще не внедренный повсюду), пламенные изречения и могила товарища Циперовича. Даже настырной Наташе не удалось узнать, кто он такой. Ходили по Летнему саду, заглянули в бывший «Англетер», но в пятый номер нас не пустили. В Ленинграде полно финнов, даже школьников — им можно приезжать сюда без всяких виз, оставлять валюту и отдыхать от сухого закона. Ходили по Александро-Невской Лавре, где рядом с могилой Гнедича расположился некий петербургский букинист, купивший себе могилу за десять лет до смерти и поставивший плиту с надписью:

Прохожий! Бодрыми шагами
И я ходил здесь меж гробами.
Намек ты этот понимаешь...
До встречи! До свиданья, друг!

Десять лет любовался собственной могилой и бодро шагал меж гробами.

Были на «Горе от ума» Товстоногова, хотя ради этого не стоило ехать в Ленинград. Беззащитного, невзрачного Чацкого играл Юрский. Лавров-Молчалин, солидный, растущий товарищ — не мельтешится, верит в завтрашний день: будущее за ним. Когда Фамусов зло выкрикнул: «Едва другая сыщется столица, как Москва!», ленинградская публика разразилась аплодисментами. Нам, как людям посторонним, восторг этот остался непонятен. Юрский, прошептал: «Карету мне, карету...», грохнулся в обморок — я позавидовал — на спину упал, затылком стукнулся, это не мхатовское «органическое пребывание», тут техника, мейерхольдовский профессионализм.

К концу спектакля я так устал от ассоциаций, что перестал в них верить — это же не чеховская и не горьковская пьеса, где можно ставить любые акценты... На что, например, намекает образ Репетилова? Во времена Грибоедова тоже, наверно, существовали тонкие намеки — и если вдуматься в этого восторженного трепача, то не намекает ли тайный советник Грибоедов на тех, кто, глотнув пунша, вышел зачем-то позднее на Сенатскую площадь пошуметь. Вот ведь на что

мог намекать его высокопревосходительство Грибоедов. В наших условиях даже для трепотни большими компаниями не собираются, разве «самосаженцы», неврастеники и шизофреники. Стоит ли смеяться над обреченными?

После Ленинграда съездил в Тулу, побывал в Ясной Поляне и написал очерк — началось выздоровление.

НА РОДИНЕ ВЕЛИКОГО ПИСАТЕЛЯ

Заведующий агитпропом Щекинского района поинтересовался лишь Аллилуевой:

— Как же это вы, москвичи, Светлану прово-
ронили?

Культурой при райисполкоме заведует отстав-
ной летчик. Три года пробыл на пенсии — скучно.

— Только что на партсобрания ходить... Ну, райком, может, иной раз что надумает: пойди, проверь, накрути, подготовь материал... В деревню вернуться — избу отремонтируй, за водой далеко, за дровами еще дальше, а пурга заметет, так совсем носа не высунь... Отдал избу сестре, у нее и вовсе развалюшка, она мне понемногу компенсирует... Последние годы не летал по болезни, потом Хрущев сокращать армию надумал, я хоть пенсию выслужил, а были такие, что месяц-два не дослужили — иди куда хочешь... Сталин хоть сразу убивал, а этот по миру пустил... Я хоть без специальности, а без работы не могу. Предложили на общее руководство —

руководжу культурой. Дело трудное — всё сам достань, привези, стульев нет, инвентарь воруют, книги воруют, технику, да еще в обком вызывают, в райком — вот учиться заставили, читаю статью о монополистическом капитализме, преподаватель сказал: прочти... — Бывший летчик смотрит беспомощно, о монополистическом капитализме ему рассказать нечего. Зато он исчерпывающе освещает — при поддержке директора районной библиотеки — проблему Солженицына. Похоже, что официальные инструктажи падают на благодатную почву.

— Солженицын личность ordinaria. Мой приятель служил с ним в артиллерии — ничего он из себя не представляет. Раздули — великий писатель! Посадили его в конце войны за какие-то делишки, а он к культу примазался. Какой же после войны мог быть культ? Дьяков пишет хорошо, а этот... Последние его рассказы вовсе какие-то жалкие... Культ личности, конечно, был, никто не спорит... — И он поведал историю своего приятеля Юрия Шитова: — В тревожные дни сорок второго, пролетая над Сухумским пляжем на бреющем полете, расстрелял несколько купающихся: «Купаются, когда война идет!» На аэродроме его схватили в трибунал — расстрелять. Потом заменили на двадцать пять — а может, десять, не помню, отправили в Тбилисскую тюрьму. А там никаких этапов — немец близко. Пришла пора от голода умирать. Вывели его за стены, дали под зад — подыхай за оградой. Стал он, как Алексей Мересьев, питаться травой да

листьями, к счастью, и на помойках кое-что попадалось, дополз до своего аэродрома, там товарищи больше месяца его тайком кормили. Распух, а все ел, ел, ел... Потом начальство пронюхало: Шитов объявился. Чёрт с ним, пусть служит! Сейчас он в Евпатории живет, в двухкомнатной квартире, жена от рака умерла, хоть на десять лет моложе его была, дочка осталась, восемнадцать лет... Культ личности, конечно, был... В Ясной Поляне служили супруги Щеголевы, они и при немцах оставались, на коленях умоляли не трогать национальные святыни. Потом после войны Щеголева организовала выставку «Толстой и дети». Приехали из области: «Почему нет портрета Сталина?» — «А при чем тут Сталин?» Вечерком ее увели, так и до сих пор никто не знает, что с ней случилось. Верно, культ был, но не нужно было Никите поднимать всю эту грязь, наделал он дел' — теперь столько антисоветской писанины развелось. Хорошо еще, что частных типографий нет, а блатные песни поют прямо в эфир — разболталась молодежь... И почему это Израиль побеждает? Когда это евреи воевали? Верно, дело в том, что у евреев техника, а у арабов верблюды... (Мне приходилось слышать и такие объяснения: «Разве там евреи воюют? Эсэсовцы да власовцы...») Вот и Светлана хороша — допустим даже, ей тут в физиономию плюют, так что — значит, надо родину покидать? Да еще в самую реакционную страну лететь? Да еще бога какого-то припутывать? Совсем с ума сошла! Сын, если он взрослый и

умный человек, должен от нее отказаться. Детей не пожалела! Кто ее первый муж? Юрий Жданов? Правильно Шолохов сказал: «Перебежчица Аллилуева». Молодец, ничего не боится! А какие книги сейчас читают? Про шпионов и про любовь. Мопассана воруют, в медицинских книгах половые органы вырезают, в технических — схемы детекторных приемников. Милиция мер не принимает. «Книгу украл? Ну и хорошо, значит, прочтет. Да еще другому даст почитать». Из клубов технику воруют, но это не наши, это городские. Делают радиопередатчики и блатные песни в эфир поют. Готовы каждую деталь, любую железку упереть ради этого... Нет, надо же — крестилась в шестьдесят втором, это надо же!.. А куда правительство смотрело? Почему допустило?

Вместе с бывшим авиатором работает молодой специалист-культпросветчик.

— Нужно знать, какую литературу давать механизаторам, какую дояркам, какую полеводам. Большое значение имеет наглядная агитация, выставки. С читателями нужно проводить работу.

Узнав, что на могилу Сталина кладут цветы, любитель наглядной агитации оживился:

— Я бы тоже положил.

В Ясной Поляне погибли все плодовые деревья, в самом заповеднике — хвойные. Все из-за Щекинского химкомбината. Многие умирают между тридцатью и сорока...

Я тоже искалечен той химией, которую в меня впихнули в Кашенко, но делать что-то надо. Пытался устроиться в библиотеку — не получилось, читать слепым — тоже не вышло. На старом месте оставаться неловко — засыпаю за столом.

Оформил вторую группу инвалидности. Врач спросил:

— На что жалуетесь?

— Ни на что...

— Так в чем же дело?

Медсестра, стоявшая у окна, пояснила:

— Это кандидат в Ленинград...

— А-а-а...

Моя опустошенность бесила Наташу Гевондянц. В конце концов она устроила меня в научно-методический кабинет культпросветработы, учреждение, разрабатывающее клубные темы, но уже через несколько месяцев директор Владимир ругался с ней по телефону:

— Ты кого нам подсунула? Он же сумасшедший!

— Да нет, я не раз бывала с ним в командировках — вполне разумный человек.

— Ох, лучше бы он был сумасшедшим... Так нет — революционер. Даже в командировки его посылать нельзя...

— Я никогда не замечала...

— Так это ты не замечала...

Я тоже не замечал за собой никакой бурной деятельности. До «лечения» я еще мог где-нибудь в гостинице, в клубе или на вокзале «забыть» не слишком ценный Самиздат, но моя ма-

шинка брала не больше четырех экземпляров, и я сомневаюсь вообще, чтобы этот род моих занятий фигурировал в «деле». Мое досье пополнялось за счет перлюстрации нашей переписки с геологом Эриком Махновецким, работавшим в то время шофером на нефтебазе и не занимавшимся распространением. Однако у него сделали обыск, а потом устроили «товарищеский суд». Сказали, что попал-де он, бедняга, под влияние душевнобольного, но решили пока ограничиться воспитательными мерами. Однако напомнили, что тюрьмы пока еще существуют. Директор базы вякнул что-то насчет тридцать седьмого года, но на него зашикали. Обвиняли Эрика лишь на основании его личных записей да моих писем.

На улице я случайно столкнулся с бывшим экспедитором ЗНУИ Колей Сырейщиковым. Мы с ним любили вести глубокомысленные разговоры за пивом, благо он жил один и неподалеку. Но теперь, получая сто двадцать рублей вместо прежних шестидесяти, Коля заметно «поправел». Когда я рассказал ему, как меня «лечили», он возразил:

— Ну и что? Тебе же за это время по биллетю платили. И вообще Даниэлей нужно сажать — что они, стену свернуть хотят?

— Тебе нравится этот режим?

— А где бы еще я за безделье получал сто двадцать?

— Тогда пускай откроют границы для тех, кто не хочет бездельничать!

— Я лично никуда не поеду — я здесь дома. (Видимо, тоже заведует отсутствующим архивом, как Прокопенко, он ведь тоже из историко-архивного. Как, к сожалению, и Якир.)

Не порадовал меня и сосед и друг детства Юра Андреев:

— Стыдно, стыдно — двоих евреев посадили, так такой шум подняли!

— Почему двоих? Синявский — русский.

— Все равно — одна шайка...

Юра — авиаконструктор, владелец легковой машины, упитанный мужчина. Говорит, что для счастья ему не хватает еще двух любовниц. Но я помню его не только таким...

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ

В августе шестьдесят седьмого года я так «раздышался», что поехал в Химки купаться и посмотрел себе на пляже жену — очень красивую женщину, киевлянку. Она была отличной хозяйкой и мы прожили с ней душа в душу больше двух лет — пока она не ушла к более молодому Славке Репникову, только что вернувшемуся после десятилетнего заключения. Меня ее измена не очень огорчила, я сам полюбил другую, но у нее тоже был молодой муж, которого она долго не решалась покинуть. Следующие два года я провел в доме Якира, частенько там и ночуя, и служа ему всем, чем мог...

Все три мои жены оставили мою фамилию, так что если не в детях, так хотя бы в женах я ее увековечил. У Гали, кроме интересной внешности, светлых волос и неопишуемого словами зада, была еще раскладушка и чемодан. В паспорте у нее значилось: «Национальность неизвестна». В отделении милиции долго ругались:

— Идиоты! Неужели нельзя маленькой девочке присвоить какую-нибудь национальность?

Трудовой книжки у нее не было, зато на спине красовался глубокий шрам от финки. Может, она была из блатных, но утверждать не берусь, — любому простому русскому человеку присущ блатной дух.

— Чего ты меня бьешь, падло, — говорила моя женушка. Или: — запомни, сукой я никогда не была.

Но это меня не томило — такая домовитая, рукодельница, портниха, на все руки мастерица. При ней я на последние мамины деньги купил японский транзистор «Сильвер». Прошлого ее я не знаю до сих пор, весь ее жизненный опыт останется при ней — к душевным стриптизам она не склонна. Впрочем, раз, будучи сильно пьяна, она сказала странную фразу (дело было на загородном пикнике, далеко от Москвы. Места я не помню, лишь обратил внимание, что там похоронен когда-то известный писатель Боборыкин):

— Уезжайте все! А я останусь одна с природой! Найду себе клиента-дядечку... Что ты думаешь? Такого же одинокого, как я. (В смысле

душевного тепла «батюшка-барин» к ней был не весьма щедр...)

Ей приходилось работать на заводе, официанткой в столовой, кассиршей в магазине. В первый же вечер нашего сожительства, ссылаясь на слова заводского парторга, она мне поведала, что «есть евреи, которые пишут неправду и отправляют ее за границу. В Киеве живут одни евреи. У, жида проклятые! Они всегда готовы родину продать! Как я их ненавижу!»

Я тактично промолчал. И в дальнейшем тоже никогда на нее не давил. Сама того не замечая, она сдружилась со всеми моими приятелями-евреями, даже с Карлом Шнейдерманом, наитипичнейшим евреем, нежно обнималась и приговаривала:

— Это мой папочка...

От нее я узнал, что Штепсель и Тарапунька поют дуэтом. Галя включила радио, и они пели втроем. Подпевала она и Шульженко, и Райкину, но чаще всего она пела такое, что по радио не исполняют. Знакома она была и с зарубежной культурой: имитировала Эдиту Пьеху, мурлыкала «Красную розочку», а однажды влетела ко мне в ванную с радостным воплем:

— Володя! Джоржи Марьянович приехал!

Привезла она с собой штук сто открыток с портретами артистов, а также и рыночных — с сердечками и целующимися голубками.

Много есть знакомых у тебя,
Среди которых есть и я.

Но верь, никто не любит так тебя,
Как я люблю тебя!

Через год от этой «цивилизации» не осталось и следа. Даже Мишеньку Кузнецова и Николая Тихонова перестала во сне видеть. А как-то рассказала такой сон:

— Приснилось мне, что у нас банда... Ну, шайка... Да нет — как сказать... Компания...

— Организация?

— Вот-вот! И мне дают записку, вернее, письмо. Женщина за мной следила, но я письмо все же передала, хотя она хотела меня склонить... Вот ведь — слушаешься вас — чёрт-те что приснится...

Запоем прочла «Новую книгу о супружестве» Нойберга.

— Я и не думала, что такие книги существуют.

Нужно признать, что десятью годами раньше никто у нас не думал и не подозревал, что «такая» книга существует и даже выдержала в братской республике ГДР пятнадцать изданий. За время нашего брака я убедился в справедливости поговорки: «Чем выше цивилизация, тем ниже поцелуй». Галя даже свет предпочитала выключать:

— Я стыдаюсь...

Вообще она считала, что лишние игры ни к чему. Ну, можно пошептаться, рассказать анекдот о Пушкине-Лермонтове (который я слышал в пионерском лагере лет тридцать тому...).

Барваризмы, вроде «кажный», «лабалатория» постепенно из языка ушли, долго оставалось лишь забавное соединение Пастера со стерилизацией: «пастеризованное молоко».

В отделении милиции, а затем в Кашенко ее не раз уговаривали «оставить Гусарова в покое, он больной человек, мы сами найдем ему опекуна». — «Больной? Я этого не замечала...» — «И не заметите — у него тонкая болезнь».

Рассказывая мне об этом, Галка энергично добавляла:

— Дурее себя ищут!

ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ КУЛЬТУРЫ

Конечно, институты марксизма-ленинизма и прочая агитация и пропаганда никакой прибыли не дают, хотя разного уровня «научные работники» исчисляются не сотнями и даже не тысячами. Что делать — государству нужно чем-то заполнить идеологическую пустоту и оно ее старательно заполняет...

Нужно, чтобы люди ни под каким видом не верили в Бога — содержится крупный штат, который монотонно доказывает, что Бога нет, поскольку вода кипит при 100° Цельсия, а прямой угол содержит 90°, и партия неустанно учит нас...

«Научными» разработками обслуживаются клубы, но клубов-то как таковых не существует — имеются помещения на сто, двести, даже

пятьсот мест, где проводятся партийные, производственные, профсоюзные и прочие собрания и слеты. В воинском клубе работа проводится, разумеется, в принудительном порядке, а все гражданские ведомства от малых до великих имеют свои собственные «научно-методические» кабинеты.

Что такое сельский клуб? Директор клуба не смеет послушаться ни председателя колхоза, ни директора совхоза, ни председателя исполкома. Кроме них существует еще кинопрокат, гастроль-бюро, филармония, общества по распространению политических и научных знаний — все эти «Знание» и «Научные атеизмы». У каждого свои планы, и каждая из этих организаций «лучше знает», что крестьянину нужно.

Клубным работникам остается отпирать, запирать, обновлять инвентарь, топить да организовывать танцы — иначе молодежь и ходить на «мероприятия» не станет.

Культпросветработа — одна из окаменелостей двадцатых годов, когда неграмотные крестьяне еще интересовались, отчего бывают гром и молния, если никакого Ильи-пророка и его колесницы нет. Клуб призван был явиться противовесом тогда живой еще церкви. Была даже такая повинность для грамотных — прочесть неграмотным столько-то страниц. К избачу или в клуб набивалось много народу. Но уже тогда Крупская заметила, что в рабочих общежитиях вечером непринужденнее и веселее, чем в клубе, где инициатива у трудящегося отобрана. Что уж го-

ворить о тридцатых, сороковых и прочих годах, когда все было «заорганизовано» до бесчувствия? Штаты громадные и все растут, но когда в Новосибирском Академгородке захотели организовать свой, не входящий в систему и утвержденную смету, клуб, инициаторы тотчас наткнулись на тысячи непреодолимых препятствий, хотя и не собирались брать у государства ни копейки. Оказалось, что они не имеют права ни на что: ни обменяться опытом, ни купить вскладчину инвентарь. Даже буфет — безалкогольный! — открыть невозможно. Член совета клуба — Макаренко — до сих пор отбывает тюремное заключение за организацию выставок, которые привели в ужас инстанции...

Итак, теперь, после «лечения», мне предстояло прозябать в этой богадельне — разрабатывать какие-то никому не нужные руководства к клубной деятельности. С удивлением я обнаружил, что в этой «отрасли знаний» имеются свои доценты, профессора, доктора наук. Возможно, в будущем появятся и академики — ведь уже мало стало всесоюзных, республиканских, областных и районных кабинетов — создали НИИ (Научно-исследовательский институт) Культуры. Грешен человек, к чему ни присосется... А там, глядишь, и Академию по клубному делу откроют.

Единственное, что меня утешает, что вне России маленькие или просто не очень великие нации более плодотворно используют «научно-методические кабинеты» и Дома народного творчества. В России такой дом был создан В. Д. Полено-

вым, великим русским художником, и поэтому он носит имя Крупской... Поленов лапти расписные собирал, туески, расшитые полотенца, самодельные иконы, образцы народного лубка. И во что это превратилось сейчас? Папки, папки, папки — как у нас в ЦНМКа, у нас, слава Богу, «праздник первой борозды» не относят к народному творчеству. Нового ничего во всех этих праздниках нет — все своровано у ненавистой религии. Торжественная регистрация ребенка — чем не крестины? Правда, водой не пользуются и политзанятием отдают...

В наш век транзисторов и джаза нельзя так судорожно внедрять балалайку и баян, это уже не народное, а какое-то этнографическое творчество. Я не однажды слышал доносившийся из крестьянской избы голос Высоцкого, а старики (там, где они есть) препираются на завалинках, кто лучше «клеветет» — В. Французов или А. М. Гольдберг.

В совхозе Рогочевском, на сельскохозяйственных работах, в бараке для министерских работников поставлен приемник и телевизор. Незаметно и ненавязчиво я приучил их слушать Би-Би-Си и даже «Свободу» — Дмитровский район за глушками не охвачен.

Чувствовалось, что чиновничья мелкота Министерства культуры «нерекомендованные передачи» слушает не впервые, один даже рассказал анекдот про отца Владимира: «Приезжает отец Владимир в Нью-Йорк, окружают его репортеры и спрашивают, как вы, дескать, относитесь к су-

ществованию публичных домов. Отец Владимир огорчился: «Разве они еще существуют?» На завтра в газетах появилось: «Едва сойдя с трапа самолета, отец Владимир поинтересовался, существуют ли в Нью-Йорке публичные дома». А парторг наш даже эрудицией блеснул: «Что это за комментатор? У них же Виктор Французов».

— Почему писатели свои рукописи за рубеж отправляют? Что мы, без ФРГ не могли бы прочесть автобиографию Евтушенко? Не понимаю...

Но вот починили телевизор, и все уставились на экран, не только футбол и хоккей, но и фильмы на самые тошнотворные историко-революционные темы смотрят, не отрываясь. И отец Владимир, и Гольдберг, позабыты...

На «Трех сестрах» у Эфроса скандал. Многие уходят сразу. Сережа Штейн, проворчав: «Начали выгребываться...» направляется к выходу. Женя Доронина досидела до конца, но лицо недоуменное. Треть зала примерно, в том числе и я, до неприличия демонстративно аплодирует. Желчный режиссер-мхатовец Еремеев громко вопрошает:

— А с Чеховым-то за что евреи счеты сводят?

У Сережи случайно сохранилось несколько страничек моих записей, избежавших Лубянки. Вот одна из них:

Впервые я эту историю услышал от актера-пропойцы Миши Воробьева. Большинство его рассказов начиналось словами: «Это же выблюдох, каких свет не видал...» Затем ее подтвердил человек, лично знакомый с Николаем Эрдманом, автором некогда нашумевшего «Мандата» и так и не увидевшей света рампы гениальной пьесы «Самоубийца».

В достославные ежовские годы Эрдман пьес уже не писал, однако, баловался четырехстрочными баснями, которые читал в узком кругу друзей. Заложил его милейший и интеллигентнейший Василий Иванович Качалов. На каком-то правительственном банкете, в присутствии Сталина, Ежова, Молотова и всех прочих, Качалов, будучи уже «подшофе», рассказал много забавных историй, связанных с эстрадой и цирком дореволюционных лет. Вспомнилась ему реприза Дурова — бросает Дуров монету, на которой изображен Николай II, и на вопрос: «Что делаешь?» отвечает: «Валяю дурака». А в Одессе тот же Дуров выехал на арену на зеленой свинье — в присутствии губернатора Зеленого.

Подвыпившие соратники Сталина требуют: «Еще что-нибудь!»

Ну, рассказал репризу Бима и Бома (уже после революции):

- Бим, почему у тебя хвост?
- Я бык.
- А где же твоя шкура?

— Сдал в Губшкуру.

— А мясо?

— Сдал в Губмясо.

— Что ж ты хвост не сдал?

— А Троцкий про хвост не говорил.

Кто-то спросил:

— Василий Иванович, неужели теперь такие остряки перевелись?

Интеллигентнейшей души человек замялся.

— Ну, почему же перевелись... Но...

Последовали заверения, что «в нашем кругу можно». Качалов рассказал несколько анекдотов, вроде: «Со Сталиным спорить невозможно — ты ему цитату, а он тебе ссылку», а потом прочел басни Эрдмана, да и автора назвал.

Вороне где-то Бог послал кусочек сыра...

— Но Бога нет!

— Читатель, ты придира!

Коль Бога нет, то нет и сыра.

Мог ли Качалов предположить, что следующей ночью за Эрдманом придут... Говорят, в следственной камере он сочинил свою последнюю басню:

Однажды ГПУ пришло к Эзопу

И хватъ его за жопу!

Смысл этой басни ясен:

Не надо басен!

1968 год.

Девятнадцатого августа по записке пришел в психдиспансер. Борис Сергеевич Евменов, участковый психиатр, говорит:

— Выбирайте сами — мы вас больше отстаивать не можем, если мы ответим: «Не нуждается в госпитализации», вас через Сербского упрячут в Ленинград года на два-три, а тут вы месяцем отделаетесь.

— Ладно. Дайте только жену проводить, она в среду вечером уплывает — провожу и приду...

— Куда уплывает?

— До Астрахани и обратно. Пароход «Клара Цеткин».

— Тогда в четверг приходите. К двум.

В среду проснулся в полседьмого, включил транзистор: «Советские войска, совместно с войсками сателлитов, вторглись в Чехословакию. Приказано не оказывать сопротивления...» Дальше пошли глушить, я на тринадцать, на шестнадцать, на девятнадцать — японский транзистор не берет!

От волнения забыл его выключить, только антенну убрал. Внес его в дом, хотел в диван-кровать спрятать, побоялся шума, забросил на сервант. Затем бумажки какие-то рвал, письмо к Ларисе Богораз — описывал, как со мной торгуются «лечением»...

Началась черная среда двадцать первого августа. Гришин:

— Мужайся, Володя!

— Я-то мужаюсь, но если опять вкюют чего... Теперь могут и в затылок...

— Да-да...

Насчет затылка я повторил и Евменову, когда пришел «ложиться». Он оживился.

— Разрешите, я эти ваши слова в сопровождение впишу?

— Вписывайте...

Видимость нужно создать, что не по распоряжению сверху «больного пора лечить», а по состоянию его здоровья.

Возле киосков кучи людей, но все пожилых. Старик разоряется:

— Что Чехословакия? Я и германскую прошел, и гражданскую!

— За что воевал в гражданскую? — спрашиваю его, стараясь подавить бешенство.

— За власть Советов! — чеканит старый дурак.

— А в германскую? Против своих же братьев-рабочих?

Но это уже, видимо, слишком сложно для их понимания.

— Русскому человеку прикажи — мать родную..., а потом задушит!

Никто мне ничего не ответил. Я поспешил уйти. Наконец, купил газету. Несколько раз прочел: «помочь чехословацкому народу. По просьбе руководителей партии... нарушали конституцию... верные союзническому долгу...» Вспомнился пьяный в метро — несколько недель назад:

— Опозорили нас чехи... опозорили... Если бы мы захотели... Рокоссовского хоронили правильно — этот заслужил...

А месяцем раньше к нашему директору Е. А. Владимирову пришел некто в штатском. Судя по тому, что шляпа его все время лежала на письменном столе, беседа была не слишком продолжительной. Вызвали молоденькую сотрудницу Людмилу Кириенкову.

— Что за отношения у вас с Гусаровым?

— Самые лучшие. Он помогает мне в учебе...

— Но как же так? У него жена, вы тоже замужем. Как же так?

Людмила заплакала и попросила не вмешиваться в ее личную жизнь. Когда моралист в штатском ушел, директор Евгений Алексеевич, в кабинете которого «побывали» почти все молодые сотрудницы — жена не раз писала жалобы в министерство, теперь они уже разошлись, при двух детях — посмотрел с прищуром на подружку своей очередной любовницы и процедил:

— Не там ищешь, Людмила... Чему он тебя может научить — в шахматы играть?..

Надо сказать, что хотя мы уже три года женаты, научить Людмилу играть в шахматы мне не удалось.

Первые августовские чехословацкие ночи мы провели вдвоем, не зажигая огня и не отвечая на звонки. Лежали, прижавшись друг к другу, но ни днем, ни ночью не получалось того, что обычно бывает между мужчиной и женщиной. А мы так ждали этих убегающих часов... Людмила совсем

не из тех женщин, которым важно лишь духовное общение, но я знал, почему я бессилён, и не испытывал стыда, «по-братски» прижимая к себе желанную женщину...

В Кашенко какой-то толстяк довел до белого каления — я ему такого наговорил — почище, чем радио «Свобода»: «Фашистская сволочь! Агрессоры!!» А спровоцировавший меня на скандал «куль голландский» вдруг, как ни в чём не бывало, спросил:

— А вы по-испански знаете?

Не чувствуют советские люди позора — от них ведь ничего не зависит, стало быть совесть у них чиста. Правда другой, постарше, степенный такой художник-любитель, сказал, когда мы остались наедине:

— Очень неприятный осадок оставили чехословацкие события... Глушат? Значит, народу своему не доверяют... Хотят, чтобы и в Чехословакии были такие же «демонстрации» и «выборы», как у нас. Камуфляж... Вы правы... Они в Чехословакии не социализм, а совсем иное защищают...

Но даже здесь, в сумасшедшем доме, здесь тоже боятся! Вообще, здесь, как везде. Несчастный, оборванный почтальон Шеломов, заезженный родственниками, увидел, что я что-то пишу, подошел и шёпотом:

— Помни, нашего брата-чекиста нигде не любят, это я точно говорю! — Стал со слезами рассказывать, как ему торты со стеклом попадались, а в булках окурки...

Двадцать восьмого вызвала врач Дина Яковлевна.

— Правда, что Лариса Даниэль арестована?

— Вы меня спрашиваете? Вы же на свободе, а не я.

Попросила рассказать ей «Раковый корпус».

СТРАНИЦЫ ДНЕВНИКА

13. XI. 68.

Случайно забрел к Туркинштейнам и услышал о смерти А. Е. Костерина. По этому поводу и направили меня в дом генерала Григоренко. В первый день самого хозяина не застал, говорил с женой, Зиной Михайловной.

— А кто хорошо живет в семье? Хорошо у Чернышевского...

Когда мне открыли на второй день, у телефона стоял белесый косолапый великан. Увидев меня, пробасил в телефонную трубку:

— Тут какой-то отщепенец пришел...

До самых похорон — траурного митинга — Григоренко ходил вялый, полураздетый, в майке-сетке, с болтающимися помочами. Одевался медленно. Ни тени ни страха, ни нервного напряжения. Старомодное пальто, мятая шляпа, запорожская физиономия.

Первый муж Зинаиды Михайловны, красный профессор Виссарион Колоколкин как-то нос к носу столкнулся со Сталиным в приемной Куйбышева.

— Иосиф Виссарионович, «Правду» стало неприятно в руки брать. Я уверен, что вам самому не нравятся славословия, которыми осыпает вас Мехлис.

Сталин ничего не сказал — только посмотрел. Сибиряку Колоколкину потом целый год снились глаза убийцы. Просыпаясь, он шептал:

— В его глазах я увидел свою смерть...

В тридцать восьмом году Виссарион Колоколкин был замучен в Лефортово.

Остался сын Алик, в детстве перенесший менингит. Сама Зина Михайловна вышла живой чудом — за нее просил любимый писатель Сталина П-ов. Теперь Алику скоро сорок, но развитие у него десятилетнего ребенка, говорит с трудом, целыми днями сидит перед телевизором, любит фильмы про войну, где взрывы и пулеметные трели. Приветлив. Всех помнит.

«Падение» Петра Григорьевича Григоренко началось с выступления на партконференции в Академии Фрунзе, где он был заведующим кафедрой кибернетики, и думается, уровнем развития, не говоря уж о нравственном уровне, превосходил любого маршала. Офицеры и генералы бурно аплодировали Григоренко, но когда начался «шухер», как по команде забыли к нему дорогу.

Сначала опального генерала отправили на Дальний Восток, где он попытался бойкотировать выборы при поддержке сыновей-офицеров, после чего был арестован и отправлен в ленинградский тюремный «Бедлам».

После падения Хрущева заключенного Григоренко вызвал врач.

— Петр Григорьевич! Как хотите: ждать реабилитации или по состоянию здоровья выйти?

— А как ближе к дому?

— Ну, по состоянию здоровья, конечно, ближе...

— Добро!

На воле предложили солдатскую пенсию — двадцать три рубля. Супруги отказались от такой чести, и инвалид войны год работал грузчиком, потом мастером на заводе.

Келейным решением наверху Петру Григоренко назначили, наконец, сто двадцать рублей. В райсобесе генерал поинтересовался:

— Меня в отставные капитаны произвели или в майоры?

— Это персональная пенсия, специальное решение.

— Но на основании чего?

На этот вопрос в райсобесе не ответили.

День рождения обоих 16 октября.

(В эту дневниковую запись шестьдесят восьмого года сделаны позднее вставки.)

11. XII. 68

Встретился в метро артист «Современника» Г. К.

— Главное, к ним в лапы не попадаться...

В два адреса отправил телеграмму: «Поздравляю пятидесятилетием великого писателя защитника Родины» — в Рязань с уведомлением, а в журнал — без.

23. I. 69.

Начались какие-то странные рвоты среди ночи, потом засыпаю снова. К вечеру болит грудь. Галя дает грелку. Даже если ем одну овсянку — вечером рвет. Галя кинулась к отцу. И в поликлинике рвало, и в Боткинской, а там карантин, кладут через месяц.

Отец засуетился, согласились принять завтра, а сегодня он приехал, предложил лечь в Кремлевку, только что открытую на Открытом шоссе против ТЭЦ.

Кунцевское благолепие и улыбки.

— Откуда вы знаете Сычева?

Отец умолял не высказываться, не позорить его седин.

— Ты думаешь, я только и делаю, что митингую?

5. II.

В одиннадцать вечера начались боли в груди, к двенадцати — рвота. Поставили грелку, горчичники, дали валидолу под язык, после двух заснул.

7. II.

Завтраки, обеды, ужины — все больной заказывает себе сам: пятьдесят больных и пятьдесят заказов — такого ни один московский ресторан не обеспечит.

Позавтракал, хочу отнести посуду в буфет, но сидят две девицы — такие насмешливые и ироничные... Чёрт его знает — дрогнул, не понес.

11. II.

Каждый вечер мучительное промывание желудка. По утрам ставят капельницу, в вену вводят глюкозу: кап, кап, кап...

Вечером по телевизору «Возвращение Максима». Отвратительный меньшевик — вертлявый семит в пенсне. Большевики грозятся расправой. И этот фильм мне так нравился в детстве! Полная армянка Тамара Самсонова спрашивает:

— Это Каутский?

14. II.

В подобных больницах лечатся те, кто больше других «предан коммунизму», однако внутри существует строгая градация — кому в какой палате болеть. На каждом этаже есть палаталюкс с ванной, туалетом, телевизором, приемником. Двухспальная кровать орехового дерева — можно болеть вместе с женой. Рассчитана минимум на министра, но министрам еще хватает Кунцева. В правительственных клиниках не то, что в простых — никакой уравниловки.

Ни одного врача-еврея (только консультанты). Даже среди больных — всего один, Матвей Абрамович Бродский. Никто не хочет общаться с ним, он все время в одиночестве, хотя высказывается точно так же, как прочие товарищи. Возмущается китайцами:

— Какой позор! Коммунисты против коммунистов!

16. II.

Начальник главка Министерства здравоохранения:

— Никита из-за Сталина поссорил нас с Китаем. Большой вред принес. Берию он правильно, а Сталина не нужно было. Такая великая страна, а правят какие-то м..., вроде Никиты...

Заместитель министра культуры:

— Я бы «Современник» разогнал. Пасквили ставят.

Я осторожно возражаю — «Большевики», де, хороший спектакль. Рассказываю, что опальный Хрущев посмотрел и пожалел, что не успел реабилитировать Бухарина.

— Кого?

— Бухарина.

Молчание. Не грозное, а так — пустое.

— А чёрт его знает — может, и невиновный...

Откуда я знаю.

17. II.

Играем в шахматы с начальником какого-то главка Никоновым. Играть он не умеет. Времена, когда в чемпионатах страны участвовал номенклатурный большевик Ильин-Женевский, родной брат Федора Раскольникова, маэстро международного класса, давно канули в вечность.

Никонов:

— Нужен закон! Твердый закон — больше какой-то суммы на рынке с покупателями не брать! Кто нарушит — в тюрьму!

19. II.

Завтра меня оперирует профессор Савельев, заведующий кафедрой хирургии 2-го Медицинского — первый скальпель федеративной социа-

листической республики. Был отец. Главный врач больницы изрек солидно:

— Савельеву можно довериться.

При последнем переливании крови случайно услышал, как сестра сказала кому-то радостно:

— Девочки! У Гусарова не рак!

25. II.

Двадцатого утром повезли в коляске на операцию, велели не шевелиться, однако выяснилось, что после операции я поступлю в другое отделение, стало быть, перейду в распоряжение другой сестры-хозяйки, так что нужно раздеться и одежду сдать.

Погружаясь в наркоз, слышал, как операционная сестра кричит надо мной:

— Василий Иванович! Как вы себя чувствуете?

Больных здесь полагается называть по имени-отчеству, а поскольку сестра видела меня первый раз в жизни, «В» она расшифровала как «Василий», а «И» вообще приняла за «И».

Последняя мысль: «Интересно, что мне вырежут?»

Очнулся уже в сумерках и попросил почесать мне спину, сам тоже чесал и массировал воображаемые пролежни. Просил, чтобы мне делали усыпляющие уколы, но они не помогали — задремал только на третьи сутки.

Врач-анестезиолог Валентина Гурьевна уступила мне на сутки журнал «Вопросы литературы».

— Вы едете в Японию? Купите мне транзистор.

— Что вы! Я на тряпки-то редко решаюсь.

В хирургическом меня опять положили в двойной палате без кислорода, хотя вряд ли в отделении был больной тяжелее меня. Но тут места распределяются не с учетом состояния здоровья, а исключительно в соответствии с табелем о рангах. Кто в терапевтическом лежит в общих палатах, в такие же попадает и в хирургии.

В субботу 22 февраля скончалась от рака кишечника Валентина Ивановна Усик. Последние две-три недели ей носили кислородные подушки, хотя есть сколько угодно палат с кислородным шлангом у постели — и на четвертом этаже, и на втором, Никонов, например, лежит в такой палате. По воскресеньям от него разит «лекарствами», которые привозят друзья на черных «Чайках», и, судя по тому, как он вяжется к сестрам, кислород ему не требуется.

Многие из этой больницы, пройдя курс лечения, перебираются в санаторий (бюллетень идет) — прообраз коммунистического будущего, пока что для избранных.

Персонал больницы знает, что случись что-нибудь с ними самими или с родными, они сюда не попадут. Здесь не купишь места ни за какие деньги — только за «преданность».

Ссылаясь на тяжелое состояние, я возмечтал уклониться от выборов. Однако какой-то энтузиаст из общей палаты, патриот красной и черной икры, попавший в больницу чьим-то, даже не родственным, благоволением, бодрым голосом объявил мне, что я тяну отделение с первого места. Вспомнив свое обещание не позо-

рить папиных седин, я кое-как сполз этажом ниже и бросил в избирательный ящик две разноцветные бумажки. Однако вернувшись в свою палату, я увидел там точно такой же ящик — для обслуживания тяжелобольных. Никакие мои уверения в том, что я уже исполнил свой гражданский долг, не возымели действия — не возвращать же неиспользованные бюллетени! Пришлось снова сунуть листочки в урну. А вечером ко мне пришла Галка и сообщила, что ее уговорили проголосовать за меня. Так, с намереньем вовсе уклониться от избирательной повинности, я «проголосовал» трижды.

Было несколько случаев в моей жизни, когда я не являлся на избирательный участок, но, надо полагать, картины всеобщего энтузиазма не испортил. Ю.Ким с женой как-то решили «не дразнить гусей» и пойти проголосовать. На избирательном участке их радостно заверили, что они уже проголосовали. Порой люди принимают участие в этой комедии не только опасаясь неприятностей, но и жалея агитаторов — ведь он, бедняга, из-за тебя будет сидеть на участке до поздней ночи. Мой добрый друг Е. Кокорин однажды взял открепительный талон — дескать, уезжает и вынужден будет голосовать в другом месте. Но, невзирая на это, агитатор явился к нему на дом. Он сослался на открепление. Агитатор заявил, что у них такой документации нет. Тогда Женя отправился на участок и рылся там больше часа, упрямо игнорируя совет: «Проголосуйте — и дело с концом!» Отыскав все же

нужную бумажку, он предъявил ее и поковылял домой с сознанием законно неисполненного долга.

7. III.

Немного очухавшись, позвонил не со своего этажа Григоренкам. К телефону подошла Зинаида Михайловна.

— Поздравляю вас с восьмым марта. Вы не догадываетесь, кто говорит? Володя-большой... (Володя-маленький был на полголовы выше меня, но моложе. После похорон Костерина он больше не появлялся, однако некоторое время я оставался «Володей-большим».)

— Володенька, дорогой, целую тебя, как сына!

— В макушку?

— Нет, в губы, в щечки!

А Петр Григорьевич сказал:

— Дерьмо у тебя друзья. Я звонил — точного адреса никто не дал. (Намек был понятен, но Григоренко не знал, что тот визит, после которого я попал в их дом, был случайным, мы так и не помирились окончательно.)

— Открытое шоссе. Против ТЭЦ.

— Это где?

— Щелковское или Преображенское. Шоссе открытое, а больница закрытая. (Рудаков рассказывал, что собственными глазами видел во дворе у Кировских ворот написанное от руки объявление: «Открытая столовая закрывается. Здесь будет открыта закрытая столовая».)

— Завтра я день посвящу жене — восьмое марта, а послезавтра приеду.

— Да я через неделю, наверное, выйду.

— Все равно приеду. Много новостей.

9. III. 20 ч. 15 м.

Час назад ушел от меня Петр Григорьевич.

Принес букетик цветов, два угольничка сливок, один сметаны, десяток яиц — думал, я лежу в обычной больнице.

— Что это за больница? — загремел он в холле.

— Я же говорил — шоссе открытое, больница закрытая.

Громадный, с палкой, он прошелся по коридору, и номенклатурные больные невольно отрывались от телевизора, хотя, казалось бы, кого здесь удивишь импозантным посетителем? Зайдя в палату, пробасил:

— Долго царствовать хотят — еще одну больницу построили!

Разглядывая всякие хитрые приспособления, позволяющие держать кровать в любом положении и, не отрываясь от койки, беседовать с обслуживающим персоналом, покачал головой.

— В мире чистогана, где все продается и покупается, лежать в комфортабельной больнице больших денег стоит, но ведь и у нас человек готов все отдать ради спасения близкого, только и денег-то таких не существует, чтобы сюда попасть, не говоря уж о Кунцеве...

Петр Григорьевич передал мне открыточку от Зинаиды Михайловны. Я так растрогался приветственными поцелуями и этой открыткой, что закурил, хотя до этого в палате не курил ни разу, выходил в коридор.

Григоренко был в черном костюме (единственном?), в том же самом, что и на похоронах Костерина. Вместе с ним пришел крымский татарин, молодой и славный (может, сопровождал, чтобы на пустынной улице не убили?). Просидели они у меня больше часа.

— Когда будет свобода, я посмотрю Европу, Средиземное море, Америку и вернусь домой — власти мне не нужно, посмотреть мир — это все, о чем я мечтаю в жизни...

10. III.

Петр Григорьевич рассказал, что восьмого был с Зинаидой Михайловной на Райкине, остался очень доволен.

Говорят, Райкин недавно был в Киеве и, выйдя на сцену, услышал, как в зале кто-то явственно произнес:

— Послушаем, что этот жидок нам расскажет. Райкин замер.

— Кто это сказал?

Молчание.

Артист еще раз повторил свой вопрос и, не получив ответа, крикнул:

— Занавес!

Прекратил киевские гастроли и уехал.

Один из больных, старичок-боровичок с карбункулом Александр Гаврилович Костромин, сегодня утром зашел зачем-то ко мне в палату (вообще-то он почти все свое время проводит перед телеэкраном) и засек, что я слушаю Иерусалим.

— Какой позор — четыре государства не могут справиться с жидами!

— Надеюсь, что в следующий раз эти четыре государства не успеют через ООН прекратить ими же начатую войну, и жида возьмут Каир, Дамаск, Багдад и Амман! Тогда вся эта история закончится!

Старичок-боровичок сжался, замолчал и больше со мной не заговаривает.

12. III.

Дама с прекрасно поставленным музыкальным голосом обличала по радио Каутского в полном невежестве. Очень изысканная, ученая дамочка, но и надежная — Ирина Викторовна Ильина. Произносит: «Каутский, рэнэгат, вызрэвает, использует». Заклеймила и левых, и правых. Ей немного подзаниматься, может стать прекрасной дикторшей областного, а то и всесоюзного радио.

15. III.

— Да...Дубчек оказался не тот, нужно выращивать новый, проглядели... — говорит молодой красивый узбек (или туркмен). Он дважды был за границей, все знает.

По телевизору осветили советско-китайский конфликт.

— Какой позор, какой подрыв — коммунисты на коммунистов!

Заведующий какой-то научной координацией Совета министров проворчал (не слишком громко):

— Китай — это позитив с нашего негатива. Впрочем, в другом случае он же изрек:

— Давить их всех, пока не поздно!

А Никонов сказал:

— Если мы братья, то нужно понять, что им тоже кусать хочется. Мы должны отдать им их исторические земли, они голодные... На фронте, бывало, мы американские консервы жрем, а штабные банкеты устраивают — обидно...

В буфете этой больницы очень трудно работать — одна крановщица пришла, поработала месяц и рассчиталась: тридцать-сорок больных, и у каждого свое заказано. Только от черной икры никто не отказывается, она и здесь вроде соловьиных язычков в маринаде. Бедная буфетчица не знает, что делать — то ли бумажки читать, то ли на стол накрывать, поди разберись, у кого шницель заказан, у кого судак по-польски, а у кого котлета по-киевски. Это тебе не то, что в обычной больнице, — отшлепал сорок порций манной каши, и будьте здоровы!

Я стал помогать буфетчице разбираться с заказами и уносить пустые тарелки. Номенклатурные больные были шокированы и сразу усмотрели в моем поведении какой-то враждебный вы-

пад, демагогию какую-то. Каждый должен быть на своем месте — один государственные вопросы решает, другой подает ему кушать. Несколько дней длилось враждебное молчание, но потом кого-то осенило:

— Это он ухаживает за буфетчицей!

Все заулыбались и принялись радостно судачить. Положение было спасено и честь тоже. Не знаю, что думала буфетчица по поводу моего «подозрительного поведения», но смотрела она на меня с благодарностью и даже с нежностью.

САНАТОРИЙ «КЛЯЗЬМА»

Та же картина: персонал и больные знают друг друга, обнимаются, целуются, передают приветы, справляются о домочадцах и знакомых.

В комнате пять старинных кроватей красного дерева, на столе два номера «Звезды», оба раскрыты на «Блокаде» Чаковского, свежие газеты, маленький транзистор-пудреница.

У одного из обитателей на тумбочке две затрепаннные книжки: «Со взведенным курком» и «След на дне» — детективы. Номер «Юность» раскрыт на мемуарах Конева «В битве за Москву».

В столовой на столах та же черная икра и прочие деликатесы, но мне подают омлет — строгая диета после резекции желудка.

Врач, красивая брюнетка лет тридцати пяти, уговаривала бросить курить и страшила импотенцией и мучительной смертью. Выслушал ее,

встревожился и побежал покурить «в последний раз».

Приборы на столах серебряные, именные. При экспроприации на всех не хватило, но самые достойные получили их в коллективную собственность. Одна из больных (или курортниц?) отозвалась о моем отце:

— Николай Иванович — прекрасный человек. У нас его все любят.

В корпусе остался, кроме меня, лишь один мужчина лет пятидесяти, с палочкой. В воскресенье его навестили жена с инфантильной дочкой лет двадцати. Потом сосед поведал мне историю: у одного подростка обнаружили гонорею, стали допытываться, от кого. «Не знаю, — говорит, — мы в звездочку играли». — «Это еще что?» — «Девочки ложатся головками друг к другу, звездочкой, а мальчики по ним путешествуют, кто первый кончит, бежит за вином». Пришлось всю «звездочку» проверять...

Незнакомый отдыхающий спросил:

— Вы транзистор захватили? Что передают? Я рассказал.

— Дал маху Сталин, что позволил Тито уйти живым, прозевал...

Дубчека прозевали, Тито прозевали, Чаушеску прозевали, одного Гомулку вовремя к рукам прибрали.

В палате появился сосед — Г. А. Давыдов, небольшого роста, аккуратный, выдержанный мужчина. Как все — полуобразованный. Спросил меня:

— Вы в Голицино не бывали? Вот там оборудовано!

Поскольку я нестерпимый дурак, я схлестнулся с ним в первый же вечер. Слушая воззвание Яхимовича, он все повторял:

— Вот сволочь! Вот враг! Вот гад!

— Но зачем же было приплетать ограбление банка? Обыскивайте, но к чему брехать, что за способ «сохранения законности»?

— Значит, рано было говорить об истинной цели обыска. Но видите, он же себя показал, гад!

И весь вечер я ругался с ним, после чего, естественно, аппаратчик стал смотреть на меня с чекистской подозрительностью.

— Наши... Чужие... — бормотал он огорченно. — Клевещут, подстрекают, антисоветчину изрыгают... Никита виноват... Африканцы еще заплатят... Ждать, когда ФРГ войска введет... Не хватает еще нового Дубчека... Это подстроенно... — В голосе его слышалась искренняя озабоченность. — Это спланировано...

Проходил знаменитый хоккейный матч с Чехословакией.

Пожилая дама в почтовом отделении:

— Все против нас. Это их американцы подзуживают, сволочи!

Я подошел к телевизору.

— Эйзенхауэр умер.

Откликнулась только старушка-уборщица:

— Чтоб они все передохли...

— Кто «все»?

— Все эти... которые против нас...

Давыдов (не без ехидства):

— Слышали голос народа?

Давыдов уехал, на его место поселился студент философского факультета, здоровенный дедина двадцати одного года. Ввиду близящихся экзаменов он набрал с собой книг по марксизму и прочей диалектике, но читал все больше детективы. За столом рядом со мной сидела молодая, кокетливая и капризная дамочка. Вечером она отвела меня в сторону и назидательно сказала:

— Мы знаем, что вы все время слушаете «Голос Америки».

— Ну что вы!

— Да-да! И пожалуйста не развращайте мальчика, не смейте слушать при нем, иначе мы будем вынуждены вмешаться!

— Уверяю вас, это ошибка... Кстати, он слушает только музыку, когда начинается текст, он читает книжку. Поверьте, ему ничего не грозит.

— Учтите, что я вам сказала.

Позднее я встретил этого «мальчика» в троллейбусе, спросил, слышал ли он о побеге Анатолия Кузнецова и стал живописать событие в подробностях (я даже в телеспектакле умудрился пригласить героиню Андриану на заграничный фильм «Шляпа пана Анатоля», и кое-кто из зрителей намек понял, например, Володя Паулус). Философа обстоятельства побега не интересовали.

— А, что о нем говорить — отрезанный ломоть!

ПОСЛЕДНИЕ СТРОКИ ИЗЪЯТОГО ДНЕВНИКА

Из беседки пропала дореволюционная большевистская брошюра: «Демагогия и провокация», описывавшая методы, которыми пользуется черная сотня для дискредитации интеллигенции, инородцев, студентов и прочих «внутренних врагов». Позднее, при обыске была изъята другая большевистская брошюра, издательства «Искра», «Кто такие враги народа» — на эту же тему. Убедившись, что брошюра подлинная, а не переизданная где-нибудь «там», мне ее через два года вернули.

С Петром Григорьевичем устроили перепалку из-за Евтушенко и Китая. Я говорил, что разрыв отношений с Китаем — благо, это приблизит кризис тоталитаризма, а конформистские стишки тоже могут пригодиться.

— Вы не марксист-ленинец!

— Откуда мне им быть! Впервые такого вижу! Вот смеху-то будет, если китайцы придут сюда с «братской рукой помощи»! Не дай Бог! Желтая опасность...

— Я всю жизнь выдавливал из себя шовиниста — шовинизм питается внушением, что у тебя что-то еще можно отнять, а тебе ничего не принадлежит!

В комнату заглянула Зина Михайловна.

— На той стороне улицы ваш «разговор» слышно!

Был отец. Сидел, молчал. Я опять без работы — в подписанты попал.

— Хо Ши Мин умер...

— Знаю...

— Знаешь?! Опять Би-Би-Си слушаешь?

— Нет... Сегодня в семь утра «Опять двадцать пять» не передавали, я и догадался...

— Что ты подписываешь? Что вы там можете написать? Григоренко арестован? Так вы думаете, что поможете ему своими петициями? Не морочь мне голову — меня еще пока невменяемым не признали. Вам бы только советскую власть порочить. Я буду читать то, что одобрено.

Ю. Ш. задал вопрос преподавателю марксизма:

— Как же быть с народами, которые выселили и распылили, как им сохранить национальную культуру?

Педагог побледнел, глаза забегали.

— Я имею в виду индейцев Америки, — добавил Юра.

Преподаватель вздохнул облегченно и радостно объяснил:

— Так это противоречия капиталистической системы!

«Если друзья Натальи Горбаневской не оставят в покое ее детей, мы их отдадим в детский дом».

Говорят, Мстислав Ростропович позвонил Фурцевой:

— Екатерина Алексеевна, чтобы не было лишних сплетен, докладываю вам лично: Солженицын живет сейчас у меня.

— Да как же так?! Вы же за границу ездите!

— Ну что ж... Могу и не ездить...

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ И ПЕТЬКА

оказались необычайно плодоносной жилой. Сейчас к ним и Анку подключили, и даже Фурманова, хотя в народе последний не котируется.

— Василий Иванович, Фантомаса поймали!

— Да что вы, ребята... Отпустите, это же Котовский.

— Кто вчера напился? Два шага вперед!

Все стоят, хотя пьяны, конечно, были все, в том числе и чекист Мишка Вихман. Петька пил с «самим», так что ему смысла нет отпираться — он один и делает два шага вперед.

— Так, пойдешь со мной опохмеляться. Остальные — нале-во! На политзанятия к Фурманову — шагом арш!

— Василий Иванович, ты на рояле играть можешь?

— Могу, Петька, но не люблю — карты со-скальзывают.

— Василий Иванович! А ты нашу, разудалую, «русскую» мог бы?

— Конечно, Петька!

— А «венгерку»?

— И венгерку!

— А «польку»?

— И польку!

— А «летку-енку»?

— Да что я с двумя делать-то буду?

— Понимаешь, Петька, спрашивают меня на экзаменах в академии: «Изобразите нам квадратный трехчлен», а я не то что изобразить, я представить себе такого не могу!

Теперь, пять лет спустя, появились совсем уж шизофренические анекдоты:

Идут Василий Иванович со Штирлицем по Берлину, навстречу — Фидель Кастро.

— Салют, комбайнерос!

Чапаев спрашивает:

— А это кто такой?

— Солженицын.

— Надо же... Как очернили человека!

Рассказывают анекдоты про Веронику Маврикиевну и Авдотью Никитичну (которых создали популярные эстрадники Владимиров и Тонков) и про Хазанова (его сценическая маска — советский идиот).

— Пан Гусаров, пойдете, — сказал он, столкнувшись со мной возле своего подъезда.

Сели в автобус, тут же сошли на Автозаводской, купили бутылку «Старки» и Алжирского, обследовали легковые машины, такси.

— Странно, по воскресеньям нет хвостов...

У лифта вдруг изрек:

— Ты тайно влюблен в мою дочь!

Дома объявил во всеуслышанье:

— Господин Гусаров сказал: «Нужны мне эти жида — я из-за Ирочки сюда хожу!» А что, нет? Тогда скажи: «Я не люблю вашу дочь!»

Опять гуляли, и опять в воскресенье. Я видел собственными глазами, как за автобусом, в который мы сели, двинулись две машины — полностью укомплектованные.

— Смотри, — сказал Якир. — Сейчас мы проедем место, где легковым проезд запрещен, а они проедут, и на одной из остановок будет подсадка.

Мы сошли у Автозаводского моста, когда головная машина нашего эскорта уже въехала на мост.

— Смотри — сейчас она развернется на мосту, это строжайше запрещено, а им это начхать.

Действительно, развернулась.

Мы пересаживались с трамвая на трамвай, маршрут меняли и как будто от «хвоста» оторвались, но у Павелецкого, где мы собирались сойти, эскорт был на месте.

— Да что они — рацию мне в ж... засунули?

Какие-то типы выглядывали из-под арок, из подъездов и тут же прятались. Круглосуточное дежурство. Каждый из этих лбов получает вдвое больше нашего — какой-то всесоюзный онанизм.

Когда мы вышли из подъезда моего приятеля, мимо прошел мужчина с независимым видом — засекли!

(Теперь, спустя годы, я невольно задумываюсь: зачем Петеньке было нужно мотать нервы себе и мне, ведь в этом визите не было никакого смысла, да и непричастный приятель напугался — человек он с положением и с партбилетом, но тогда я не рассуждал, а любовался отвагой Якира, сравнивал его со Стенькой Разиным и Емелькой-помазанником, да еще полагал, что этим делаю им честь.)

На нашей улочке, где все всех знают, стали появляться странные типы — одного из них я несколько раз обошел, пристально при этом на него глядя. Если бы человек находился не на «работе», то непременно спросил бы: «Чего уставился?» Но этот, даже когда я громко сказал ему в спину: «Работать надо!», не услышал. Якир предупредил — если их злить — много плутать, бесцельно ездить туда-сюда, да еще и задирать-ся, то могут в укромном уголке набить морду. «Ты тунеядец, а они на работе».

Всю жизнь несчастным советским людям показывают фильмы про шпионов, а теперь появились еще и «идеологические диверсанты», пытаются протащить ползучую контрреволюцию.

Какая-то противная баба лет сорока целыми днями до глубокой ночи ходит спортивным шагом по нашей глухой улочке, я ее два раза просил поменять маршрут, первый раз она промолчала, а второй взвизгнула:

— Хулиган! Я милицию позову!

Как-то я сказал:

— Хоть головной убор меняйте!

Не ответила...

Я был в то время одинок, и если бы КГБ расшедрилось на хорошенькую комсомолочку, она бы узнавала все «секреты» прямо под одеялом, не надо было бы бедной тете мерзнуть под окнами.

— Вот будет так ходить по моей прекрасной улице, пока меня не заберут, — сказал я Якиру.

— А тебя-то за что? — удивился он.

— Кто это в такую рань? — старческим голосом спрашивает Сарра Лазаревна Якир. — Гусаров? Из какого вытрезвителя?

— Теодоракиса жалко? — набрасывается на нее сын. — Старая дура! Мужа замучили и расстреляли, восемнадцать лет отсидела, сын семнадцать лет загорал — а ей Теодоракиса жалко! А наших тебе не жалко? Габая не жалко? Буковского не жалко? Как дам сейчас! Ничего не будет с твоим Теодоракисом!

Но старенькой матери жалко не только Теодоракиса — полуслепыми, а потом уже слепыми глазами смотрит она в сторону лифта.

— Что-то Пети давно нет...

(Это писалось более пяти лет назад, когда я

смотрел на Петра, как на слепящее солнце, правда, я и тогда недоумевал, зачем он ходит к коррам, если Ваня, брошенный женой, и без того днюет и ночует у них. Сопровождать его приходилось мне, Лапину, верной Валентине Ивановне, но всегда ли этот риск был оправдан?)

Перед его арестом провели два больших шмона и сильно почистили «читальный зал имени Якира», после ареста умудрились забрать даже транзисторный приемник, наверно, сгоряча приняли за передатчик. Затем начались повальные обыски — у Якира нашли «Примерную программу террористической группы», написанную моей рукой. На этот раз «первоапрельская шутка» могла кончиться совсем печально. Это я столь не вовремя пытался оживить полемические страсти. Когда-то я проделал этот номер, принеся в «Хронику» шовинистскую брошюру «Слово нации».

При обыске у меня нашли дневник, а там выраженьица, вроде: «грозная фаворитка Якира». Валя Якир в пылу гнева обвинила меня в доносах в виде дневниковых записей. И верно, многие недоумевают: как это в нашей стране можно вести дневник? Я стал бывать на Автозаводской все реже и реже. А дневник веду по-прежнему — в ожидании следующего обыска.

Когда в Рязани я по ковровой дорожке проследовал на второй этаж к «месту ссылки Якира», он указал мне на лежавшее на письменном столе письмо Твердохлебова. Твердохлебов заявлял,

что осудит Якира лишь тогда, когда сам перенесет подобные испытания.

Радости эта встреча нам не доставила — прошло две недели, как похоронили Илюшу Габая, к Якиру никто не наведывался. Он был раздражен, предсказывал, что и Солженицын с Сахаровым плохо кончат, подберут и к ним ключи.

— Я тоже думал, что моим прыжкам не будет конца, а я допрыгался.

Солженицына он назвал сволочью.

— На шарашку не стукач не попадет!

Я не мог согласиться — именно на шарашке нужны люди дельные, со знаниями и опытом, стукачи попадают на склад и в каптерку.

Сейчас появились другие люди, не искалеченные с отроческих лет лагерем, надо надеяться, они покажут себя по-иному. Но ведь было время, когда Петр Якир почти в полном одиночестве тянул лямку сопротивления и нес знамя борьбы. Памятник себе он разрушил собственными руками, но до Азефа все же не дотянул.

Последний раз я видел его на проводах Красина, шел долгий нудный разговор о том, что можно пронести через таможню, а чего нельзя, и что стоит сдать на комиссию в антикварный, и сколько можно получить. На вокзал Красин просил никого не приходить, да я бы и не пошел.

Если мне случится пережить Петра, на его похороны я приду непременно, а строгим моралистам скажу: «А где вы были, когда жалкая кучка людей металась и задавала работы целому департаменту?»

Не знаю, правда ли, будто Якир хвалился кому-то из корров:

— Когда меня арестуют, вы узнаете другого Якира!

Когда его арестовали, едва переступив порог следовательского кабинета, он сказал:

— Только не забирайте дочь — она беременна!

Следователь, надо полагать, стал потирать ручки.

А что означал арест Красина, явно и открыто от всего отошедшего, реабилитированного в качестве «тунеядца»?

В это смутное время Красин любил рассказывать анекдот о бедняге, попавшем в аду — вместе с другими грешниками — по горло в жидкое дерьмо. «За что?! Меня-то за что?» На него шикают: «Не колебай волну!»

ЭПИЛОГ

Перед праздником стоюбилея, мая, победы чуть ли не каждый день навещают психиатры.

— Предпринимать ничего не собираетесь?

— Что вы, я сам всех боюсь.

Пришел Евменов.

— Вы знаете, что вас будут брать? Может быть, сегодня. Зайдите на комиссию, кроме пользы ничего не будет.

Зашел в подпитии, пошумел, поулыбался, ушел.

В первый день Пасхи выпил крепко — проснулся в отделении милиции у Автозаводской.

— За что?

— Шатался. Обозвал полицейскими.

Протокола о задержании не показали. Следователь сказал:

— Вы плохо выглядите, вам надо полечиться.

Видел он меня впервые, откуда ему знать, как я обычно выгляжу? Надо полагать, стукнули по височку, вывернули карманы, а там лишь записная книжка да пятерка, пропавшая при невыясненных обстоятельствах — было бы что-нибудь «интересное», тогда бы немедля — лечиться, а так:

— М-да... Выглядите неважно...

Еще о многом хотелось бы написать, но лишнюю неделю держать машинку — слишком большая роскошь для меня. Особенно неприятно терять одолженную, а это может случиться в любую минуту.

Видел фото Валерии Новодворской, оно стояло на Автозаводской рядом с фотографиями Алтуняна, Буковского, Хаустова. Милое, одухотворенное, скорбное лицо. У нее есть стихотворение «Реквием», начинается так:

Идут не образуясь,
Не скрасив гнева речи,
Наверное — безумцы,
А может быть, предтечи...

Что там, в небесной сини,
Над рамкою рассвета?

Наверное, Россия,
А не страна Советов...

Этими словами я и закончу.

5 мая 1970 года.

СОДЕРЖАНИЕ

Часть первая

Пролог	5
О Гомере	7
Об отце	8
До семнадцатого года	9
О маме	11
Детство	12
Идеология	15
Первый уклон	17
Папины друзья	18
Жалость	20
Вся страна	23
Всехсвятское и Сокол	24
Раздумья	27
Мальчик с крантиком	28
Свердловск	32
Черный кот Кабакова	34
Пермь, она же Молотов	38
Он и она	40
Театр	42
Другая бабушка	46
Соратники	47
Неуч	51
22 июня 1941 года	53
Эвакуированные	55
Комиссар Завирохин	63
Друг боевой	65
Анцелович	69
На фронт	72
Фронт	73
Немецкие листовки	77

Не будь белой вороной	80
Мои университеты	83
Положение	85
Проход всюду	90
Ошибки	95
Опять театр	96
Кризис	101
Ноябрьские праздники	104
МОПР	110
Кризис развивается	112
Не товарищ Сталин, а Ёсиф Виссарионович!	116
Сережа Штейн	118
Пыль, пыль, пыль...	122
Роль Ленина	129
Верховский	132
Интернационал	140

Часть вторая

КПЗ	145
Пятница	147
Один	151
Мученический венец российской интеллигенции	157
Сумеречное состояние души	169
Комиссия	182
Этажом выше	185
Таганка — все ночи полные огня	190
Балашихинское дело	195
Столыпин	201
Казань	203
Русский националист Солдатов	205
Гимн Советского Союза	207
Умер, умер, умер...	213
Дело врачей	218
Императоры и президенты	220

Берия — враг народа	233
На виселицу большевиков!	240
Британский подданный	246
Сторонники партии	250
Кинорежиссер Капчинский	257
Интеллиженс сервис	261
Эсер Лапшов	266
Диктатор	271
Бутырка	277
С вещами	286

Часть третья

Как мне жилось на свободе	289
Дела амурные	298
Слухи	305
Американская выставка	306
Еще два года	309
Белая голубушка	311
Из дневника	313
Смерть и похороны	315
Иван Денисович	323
Трудовые будни	329
Чапаевский переулок	339
Безработный	343
Томск	345
Баба Феня	351
Николя-дурачок	353
Телевидение	360
ЗНУИ	363
Кашенко	368
На родине великого писателя	385
Люблю тебя	391
При Министерстве культуры	395
ГПУ и Эзоп	400

Страница дневника	402
Страницы дневника	406
В Кремлевской больнице	409
Санаторий «Клязьма»	420
Последние строки изъятого дневника	424
Василий Иванович и Петька	426
Якир	428
Эпилог	433



Владимир Николаевич Гусаров родился 15 сентября 1925 года. Отец его, крупный партийный работник, был «хозяином» (первым секретарем) Пермской области со времени ее основания и до конца войны, затем инспектором ЦК («личным представителем Сталина»), а затем — с 1947 до 1950 года — первым секретарем ЦК КП Бело-

руссии. В годы его «правления» в Минске был убит известный драматург Михоэлс, что и побудило автора дать такое название книге, хотя о степени вины в этом убийстве его отца он ничего не знает. Сам Гусаров в те годы с отцом уже не жил и в Минске не бывал, но отца винить может, ибо считает и себя причастным...

С середины 50-ых годов Владимир Гусаров порывает последние связи с родительским домом и переходит в стан критиков режима. Начинается нажим со стороны властей, завершающийся даже помещением в сумасшедший дом. Но, в общем, к нему относятся мягче, чем к другим в том же положении. По-видимому сказывается, что он для партийного руководства — свой. При несдержанности, остроте ума (и... языка) Владимира Гусарова, другого, наверное, сломали бы, но он продолжает сопротивляться и сравнительно легко переносит сваливающиеся на него напасти.

Именно это и делает его мемуары книгой исключительно интересной. Это — никак не плач пострадавшего, а бойкое, живое описание жизни. Пожалуй, самая увлекательная часть книги это — описание «золотой» советской молодежи, жизнь которой Гусаров вел и сам перед тем, как от нее отвернуться. Но интересны и его остроумные и точные описания людей, с которыми сталкивала его судьба. Многие из них известны нам уже по истории, например, бывший министр иностранных дел, которого Гусаров называет «человеком с самым длинным именем» — «и примкнувший к ним Шепилов»